Айрис Мёрдок

сочинения
в 3-х томах

Под сетью
Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мёрдок. Под сетью
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20

Аннотация

Одиночества встречаются, сталкиваются, схлестываются. Пытаются вырваться из накрывшей их цепи случайностей, нелепостей, совпадений. Но сеть возможно разорвать лишь ценой собственной, в осколки разлетевшейся жизни, потому что сеть — это и есть жизнь…

«Под сетью» — первая книга Айрис Мёрдок, благодаря которой писательница сразу завоевала себе особое место в английской литературе.

Перевод с английского Марии Лорие.

Айрис Мёрдок
Под сетью

Все сплошь до конца — потери:
Погоня твоя — за зверем!
В любви изменили все,
Никто не остался верен.
И войны твои — впустую.
Одно хорошо — все минует
И старому веку на смену
Увидим пору иную.

Драйден, «Светская маска»

Глава 1

Финн ждал меня на углу, и при виде его я сразу понял, что дело неладно. Обычно Финн ждет меня в постели или прислонившись к дверному косяку и закрыв глаза. К тому же меня задержала забастовка. Я и всегда-то ненавижу обратный путь в Англию и бываю безутешен до тех пор, пока мне не удается уйти с головой в любимый Лондон и я уже не помню, что уезжал. А тут можете себе представить, как мне было весело, когда пришлось болтаться без дела в Ньюхейвене, дожидаясь, пока опять пойдут поезда, а из ноздрей у меня еще не выветрился запах Франции. В довершение всего коньяк, который я всегда провожу благополучно, отобрали на таможне, так что, когда закрылись рестораны, я оказался целиком во власти мучительного болезненного самоанализа. Бодрящей объективности отрешенного созерцания человек моего склада не способен достигнуть в незнакомом английском городе, даже когда ему не нужно вдобавок тревожиться о поездах. Поезда вообще не полезны для нервов. Про что людям снились кошмары, когда еще не было поездов?

По всем этим причинам, вместе взятым, мне не понравилось, что Финн ждет меня на улице.

Увидев Финна, я сейчас же остановился и поставил чемоданы на землю. Они были набиты французскими книгами и очень тяжелые. Я крикнул: «Эй!» — и Финн медленно двинулся ко мне. Финн никогда не торопится. Мне трудно бывает объяснить наши с ним отношения. Нельзя сказать, чтобы он был мой слуга. Зачастую его скорее можно назвать моим импресарио. Иногда я его содержу, иногда он меня — смотря по обстоятельствам. В общем, всякому ясно, что он мне не ровня. Его имя — Питер О'Финни, но это не страшно, все зовут его просто Финн, и он приходится мне каким-то дальним родственником — так по крайней мере он утверждает, а мне лень проверять. Но у людей всегда создается впечатление, что он мой слуга, у меня и у самого бывает такое впечатление, хотя объяснить, почему это так, я бы не взялся. Иногда я приписываю это тому, что Финн — смиренное существо, что он как-то невольно остается в тени и играет вторую скрипку. Если нам не хватает кроватей, на полу всегда спит Финн, и это кажется вполне в порядке вещей. Правда, я вечно даю Финну распоряжения, но только оттого, что сам он, по-моему, не умеет

придумывать, чем заняться. Некоторые мои знакомые считают, что у Финна не все дома, но это неверно: он отлично соображает, что к чему.

Когда Финн подошел наконец ко мне, я указал ему на один из чемоданов, но он его не поднял. Вместо этого он сел на него и обратил на меня взгляд, полный печали. Я сел на второй чемодан, и некоторое время мы сидели молча. Я устал, мне не хотелось расспрашивать Финна — подожду, пока сам расскажет. Он обожает неприятности, все равно, свои или чужие, и особенное удовольствие ему доставляет сообщать дурные вести. Финн довольно красив долговязой, меланхолической красотой; у него длинные прямые темные волосы и костлявое ирландское лицо. Он на голову выше меня (я невысок ростом), но немного сутулится. От его скорбного взгляда у меня упало сердце.

— Что случилось? — спросил я наконец.

— Она нас гонит с квартиры, — отвечал Финн.

Принять это всерьез было невозможно.

— Перестань, — сказал я ласково. — Кроме шуток, что это значит?

— Велит нам выметаться, — сказал Финн. — Обоим. Сегодня. Сейчас же.

Финн любит каркать, но он никогда не лжет, даже не преувеличивает. Однако я все еще отка-

зывался верить.

— Но почему? Что мы такого сделали?

— Мы-то ничего не сделали, а вот она хочет кое-что сделать. Решила выйти замуж.

Это был удар. Я дрогнул, но тут же сказал себе: а почему бы и нет? Я справедлив и терпим. И в следующую минуту я уже прикидывал, куда нам податься.

— Но она мне ничего не говорила, — сказал я.

— Ты не спрашивал.

Это была правда. За последнее время личная жизнь Магдален перестала меня интересовать. Если она вздумала обручиться с другим мужчиной, винить в этом я мог только себя.

— Кто он? — спросил я.

— Какой-то букмекер.

— Богатый?

— Да, у него своя машина.

Это был критерий Финна, а в то время, пожалуй, и мой тоже.

— От этих женщин можно заболеть, — сказал Финн. Съезжать с квартиры улыбалось ему не больше, чем мне.

Я опять помолчал, ощущая тупую физическую боль, в которой ревность и уязвленное самолюбие мешались с горьким чувством бездомности.

Вот мы пыльным, жарким июльским утром сидим на Эрлс-Корт-роуд на двух чемоданах, и куда нам теперь деваться? Так бывало всегда. Стоило мне с великим трудом навести порядок в своей вселенной и начать в ней жить, как она взрывалась, снова рассыпаясь вдребезги, и мы с Финном повисали в воздухе. Я говорю «моя вселенная», а не «наша», потому что порой мне кажется, что внутренняя жизнь у Финна очень небогатая. Сказано это отнюдь не в обиду ему — у одних она богатая, у других нет. Я это связываю с его правдивостью. Люди с тонкой душевной организацией, вроде меня, слишком многое видят и потому никогда не могут дать прямой ответ. Разные стороны вопроса — вот что всегда меня терзало. И еще я связываю это с его умением объективно констатировать факты, когда тебе это меньше всего нужно — как яркий свет при головной боли. Возможно, впрочем, что Финн тоскует без внутренней жизни и потому прилепился ко мне — у меня-то внутренняя жизнь очень сложная и многогранная. Как бы там ни было, я считаю Финна обитателем моей вселенной и не могу вообразить, что у него есть своя, где обитаю я; такое положение, видимо, вполне приемлемо для нас обоих.

До открытия ресторанов оставалось еще больше двух часов, а сразу встретиться с Магдален мне было страшновато. Она, конечно, ждала, что я устрою сцену, я же не чувствовал в себе для этого достаточно энергии, да и не представлял себе, какую сцену следовало устроить. Это еще нужно было обдумать. Выставить человека за дверь — лучший способ заставить его поразмыслить над тем, что́ осталось по ту сторону двери. Мне нужно было время, чтобы попытаться определить свой статус.

— Хочешь, выпьем кофе у Лайонса? — с надеждой спросил я Финна.

— Не хочу, — ответил Финн. — Хватит с меня того, что я тебя ждал, а она надо мной измывалась. Ступай поговори с ней. — И он пошел вперед. Финн обозначает людей не иначе как местоимениями или окликами. Я поплелся за ним, стараясь выяснить, что же я собой представляю.

Магдален жила на Эрлс-Корт-роуд, в одном из этих отвратных домов-тяжеловесов. Она занимала верхнюю половину дома; там прожил и я больше полутора лет, и Финн тоже. Мы с Финном жили на четвертом этаже, в лабиринте мансард, а Магдален — на третьем (это, впрочем, не значит, что мы не виделись часто и подолгу, особенно

вначале). Я уже стал привыкать к тому, что здесь я у себя дома. К Магдален иногда приходили знакомые мужчины, я ничего не имел против и ни о чем не расспрашивал. Мне это даже нравилось, потому что у меня тогда оставалось больше времени для работы, или, вернее, для туманных и бесприбыльных размышлений, которые я люблю больше всего на свете. Мы жили уютно, как две половинки грецкого ореха в одной скорлупе. Мало того, я почти ничего не платил за квартиру, а это тоже плюс. Ничто меня так не раздражает, как платить за квартиру.

Нужно пояснить, что Магдален — машинистка в Сити, или, вернее, была, когда началась рассказанная здесь история. Однако это не самая характерная ее черта. Главное ее занятие — быть самой собой, и на это она тратит бездну времени и ухищрений. Свои усилия она направляет по линии, подсказанной дамскими журналами и кино, и если ей, несмотря на прилежное изучение самых модных канонов обольстительности, не удалось окончательно себя обезличить, то объясняется это лишь каким-то не иссякающим в ней ключом врожденной живучести. Красивой ее назвать нельзя — это определение я употребляю скупо; но она миловидна и привлекательна.

Ее миловидность это правильные черты и превосходный цвет лица, который она прикрывает маской персикового грима, так что все лицо становится гладким и невыразительным, как алебастр. Ее завитые волосы всегда уложены по той моде, какая на данный день объявлена самой последней. Они выкрашены в цвет золота. Женщины воображают, что красота — это наибольшее приближение к некой гармоничной норме. Они не делают себя неразличимо похожими только потому, что у них нет на это времени, денег и технических возможностей. Кинозвезд, у которых все это есть, и в самом деле не отличишь одну от другой. Привлекательность Магдален — в ее глазах и в живости выражения и повадки. Глаза — единственное в лице, чего никак не скроешь; во всяком случае, такого средства еще не изобрели. Глаза, как известно, зеркало души; их нельзя закрасить или хотя бы побрызгать золотой пылью. У Магдален глаза большие, серые, миндалевидные и блестят, как камушки под дождем. Время от времени она зарабатывает уйму денег — не машинкой, а позируя фотографам; она вполне соответствует ходячему представлению о хорошенькой молодой женщине.

Когда мы явились, Магдален принимала

ванну. Мы прошли в ее гостиную, которой электрический камин, кучки нейлоновых чулок и шелкового белья и запах пудры придавали необыкновенный уют. Финн плюхнулся на неубранную тахту, что строго запрещалось. Я подошел к двери ванной и крикнул:

— Мэдж!

Плеск прекратился, она сказала:

— Это ты, Джейк?

Бачок гудел как проклятый.

— Ну конечно я. Послушай, в чем дело?

— Я не слышу, — сказала Магдален. — Подожди минутку.

— В чем дело? — снова прокричал я. — Ты что, правда выходишь за какого-то букмекера? Как ты могла не посоветоваться со мной?

Я чувствовал, что устроил вполне сносную сцену. Я даже ударил в дверь ванной кулаком.

— Ничего не слышу, — сказала Мэдж. Это была ложь — она хотела выиграть время. — Джейк, миленький, поставь чайник, мы попьем кофе. Я сию минуту выйду.

Из ванной Магдален выплыла на волне теплого, надушенного воздуха, как раз когда я заваривал кофе, и сейчас же юркнула к себе — одеваться. Финн поспешно встал с тахты. Мы закурили и

стали ждать. Прошло еще немало времени, и вот Магдален появилась во всей красе и стала передо мной. Я смотрел на нее изумленный. Во всем ее облике произошла разительная перемена. На ней было облегающее шелковое платье дорогого и затейливого фасона и много драгоценностей, по виду не дешевых. Даже выражение ее лица как будто стало другим. Только тут я до конца понял, что сообщил мне Финн. Пока мы шли к дому, я был слишком поглощен собой, чтобы задуматься о том, как глупа и нелепа затея Мэдж. Теперь эта затея явилась мне в денежном выражении. Да, такого я не ожидал. Раньше Мэдж общалась со скучными, но гуманными дельцами, либо со служащими, тяготеющими к богеме, либо, на худой конец, с литературными поденщиками вроде меня. Какой же диковинный изъян в процессе расслоения общества свел ее с мужчиной, который мог вдохновить ее на такие туалеты? Я медленно обошел вокруг нее, внимательно приглядываясь.

— По-твоему, я что, памятник Альберту? — сказала Магдален.

— Ну что ты, с такими-то глазами! — И я заглянул в их крапчатую глубину.

Тут меня пронзила непривычная боль, и я от-

вернулся. Нужно было лучше за ней следить. Метаморфоза, конечно же, подготовлялась уже давно, только я-то по своей тупости ничего не заметил. Такую женщину, как Магдален, не переделаешь за одни сутки. Кто-то тут поработал на совесть.

Мэдж с любопытством на меня посматривала.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты болен?

Я вслух повторил свою мысль:

— Мэдж, я плохо о тебе заботился.

— Ты совсем обо мне не заботился, — сказала Магдален. — Теперь этим займется другой.

Смех ее звучал язвительно, но глаза были смущенные, и я уже готов был даже сейчас, на такой поздней стадии, сделать ей опрометчивое предложение. В странном свете, внезапно озарившем нашу прошлую дружбу, я увидел что-то, не замеченное раньше, и попытался мгновенно постичь, почему Магдален мне нужна. Но я тут же перевел дух и последовал своему давнишнему правилу никогда не говорить с женщиной откровенно в минуты волнения. Ничего хорошего из этого не получается. Не в моей натуре брать на себя ответственность за других. Мне и со своими-то затруднениями дай бог справиться. Опасная минута миновала, сигнал выключили, блеск в

глазах Магдален погас, и она сказала:

— Налей мне кофе.

Я налил.

— Так вот, Джейки, — сказала она, — теперь ты понимаешь. Я прошу тебя забрать отсюда свое добро как можно скорее, хорошо бы сегодня. Все твои вещи я снесла к тебе в комнату.

И верно. Разнообразное мое имущество, обычно украшавшее гостиную, исчезло. Я почувствовал, что уже не живу здесь.

— Нет, не понимаю, — сказал я, — и очень прошу тебя, объясни.

— Увози все, — сказала Магдален. — За такси я могу заплатить. — Теперь она была совершенно спокойна.

— Будь человеком, Мэдж. — Я уже снова тревожился о себе, и от этого мне стало много легче. — Почему я не могу по-прежнему жить наверху? Я ведь не помешаю. — Но я и сам понимал, что это не годится.

— Ох, Джейк! — сказала Мэдж. — Ты просто болван.

Это были самые ласковые слова, которые я пока от нее услышал. Мы оба немного оттаяли.

Все это время Финн стоял, прислонившись к косяку и разглядывая какую-то точку в простран-

стве. Слушает он или нет, было непонятно.

— Ушли его куда-нибудь, — сказала Магдален. — От него дрожь пробирает.

— Куда я могу его услать? Куда нам с ним идти? Ты же знаешь, что у меня нет денег.

Это было не совсем так, но из осторожности я всегда притворяюсь, будто у меня нет ни гроша — такое впечатление обо мне может когда-нибудь и пригодиться.

— Вы взрослые люди, — сказала Магдален. — По крайней мере числитесь взрослыми. Можете решить сами.

Я глянул в сонные глаза Финна.

— Что будем делать?

Финна иногда осеняют удачные идеи, да и подумать у него было больше времени, чем у меня.

— Поедем к Дэйву, — сказал он.

Я не нашел что возразить, поэтому сказал: «Ладно» — и тут же заорал ему вслед: «Возьми чемоданы!», потому что он стрелой ринулся к двери. Иногда мне кажется, что Финн недолюбливает Магдален. Он вернулся, взял один из чемоданов и исчез.

Мы с Магдален посмотрели друг на друга, как боксеры перед началом второго раунда.

— Послушай, Мэдж, — сказал я, — не можешь

ты меня выселить вот так, ни с того ни с сего.

— Ты и вселился ни с того ни с сего, — сказала Мэдж.

Это была правда. Я вздохнул.

— Поди сюда, — и я протянул ей руку. Она дала мне свою, но рука была неподатливая и безответная, как вилка, и очень скоро я ее выпустил.

— Не устраивай сцен, Джейки, — сказала Мэдж.

В ту минуту я не мог бы устроить никакой, даже малюсенькой сцены. Я почувствовал слабость и прилег на тахту.

— Так-так, — сказал я мягко. — Значит, ты меня выгоняешь, и притом ради человека, который наживается на чужих пороках.

— Все мы наживаемся на чужих пороках, — сказала Мэдж, напустив на себя ультрасовременный цинизм, что ей очень не шло. — И я и ты, а ты еще используешь даже худшие пороки, чем он. — Это относилось к тому разряду книг, какие я время от времени переводил.

— Кто хоть он есть? — спросил я.

Мэдж заранее пыталась прочесть на моем лице, какое впечатление произведет ее ответ.

— Его фамилия Старфилд, — сказала она. — Возможно, ты о нем слышал. — В глазах ее сверкнуло

бесстыдное торжество.

Я напряг мускулы лица, чтобы лишить его всякого выражения. Вот оно что — Старфилд, Сэмюел Старфилд, Святой Сэмми, король букмекеров. Сказать про него «какой-то букмекер» было со стороны Финна некоторой натяжкой, хотя у него и до сих пор еще была контора вблизи Пикадилли и над дверью — его фамилия из электрических лампочек. Сейчас Старфилд занимался всем понемножку в тех сферах, какие доступны его вкусам и средствам: дамские туалеты, ночные клубы, кино, рестораны.

— Понятно, — сказал я. Я не намерен был осчастливить Мэдж бурной демонстрацией. — Где же вы познакомились? Меня это интересует с чисто социологической точки зрения.

— Не знаю, что ты имеешь в виду, — сказала Мэдж. — Но если тебе так уж интересно, мы познакомились в одиннадцатом автобусе.

Это была явная ложь. Я покачал головой.

— Ты избрала карьеру манекенщицы, — сказал я. — Тебе предстоит проводить все время в том, чтобы олицетворять кричащее богатство. — И тут же у меня мелькнула мысль, что такая жизнь, может быть, и не самая скверная.

— Джейк, уезжай, пожалуйста, — сказала Маг-

дален.

— Как бы то ни было, — сказал я, — не здесь же ты будешь жить со Святым Сэмми?

— Эта квартира будет нам нужна, и я хочу, чтобы тебя здесь не было.

Ее ответ показался мне уклончивым.

— Ты сказала, что *выходишь замуж?* — спросил я. Меня снова кольнуло сознание ответственности. У нее не было отца, и я почувствовал себя in loco parentis.[1] Другого locus'a у меня, в сущности, и не осталось. И теперь я сообразил, что Старфилд едва ли захочет жениться на такой девушке, как Магдален. Вешать на нее меховые манто можно было с таким же успехом, как на всякую другую живую вешалку. Но эффектна она не была, как не была ни богата, ни знаменита. Славная, здоровая молодая англичанка, простая и милая, как майский праздник в деревне. У Старфилда, надо полагать, вкусы куда более экзотические и менее матримониальные.

— Вот именно, — сказала Мэдж подчеркнуто и все так же невозмутимо. — А теперь иди укладываться. — Но по тому, как она избегала встречаться со мной взглядом, было ясно, что

---

[1] Примечания: 1
В роли отца *(лат.).*

совесть у нее неспокойна.

Она подошла к книжной полке.

— Тут, кажется, есть твои книги. — И она достала «Мэрфи» и «Pierrot mon ami».

— Освобождаем место для господина Старфилда, — сказал я. — А он читать умеет? И кстати говоря, он знает о моем существовании?

— Допустим, что знает, — увильнула Магдален, — но я не хочу, чтобы вы встречались. Поэтому я и посылаю тебя укладываться. С завтрашнего дня Сэмми будет проводить здесь много времени.

— Ясно одно, — сказал я. — Все зараз я перевезти не могу. Часть вещей я заберу сегодня, а за остальным приеду завтра. — Я не выношу, когда меня торопят. — И не забудь, — добавил я пылко, — что радиола моя. — Мысли мои неотступно возвращались к банку Ллойда.

— Хорошо, милый, — сказала Мэдж, — но если захочешь прийти завтра или позже, сначала позвони, и если ответит мужской голос, клади трубку.

— Какая гадость, — сказал я.

— Да, милый. Такси вызвать?

— Нет! — крикнул я, выходя из комнаты.

— Если Сэмми увидит тебя здесь, — прокричала

Магдален мне вслед, когда я уже поднимался по лестнице, — он свернет тебе шею!

* * *

Я взял второй чемодан, завернул и связал свои рукописи и вышел на улицу. Нужно было подумать, а в такси я не могу думать, потому что все время смотрю на счетчик. Я сел в 73-й автобус и поехал к миссис Тинкхем. Миссис Тинкхем держит газетную лавочку в районе Шарлот-стрит. Это пыльная, грязная, невзрачная угловая лавчонка, снаружи у двери висит доска с объявлениями, а внутри продаются газеты на разных языках, дамские журналы, ковбойские и научно-фантастические романы и «Поразительные повести». Во всяком случае, все это разложено для продажи, вернее, кое-как свалено в стопки, хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь купил у миссис Тинкхем, кроме мороженого, которым она тоже торгует, и еще «Ивнинг ньюс». Прочая литература годами лежит неподвижно, выцветая на солнце, разве что сама миссис Тинкхем вздумает почитать — такое на нее порой находит — и вытянет из кучи какой-нибудь пожелтевший от времени ковбойский роман, а дочитав до половины, скажет, что, оказывается, уже читала

его, только все забыла. Вероятно, она прочла уже весь свой товар — его немного, и пополняется он медленно. Несколько раз я видел у нее в руках французскую газету, хотя она и говорит, что не знает французского, но, может быть, она просто разглядывает иллюстрации. Кроме контейнера с мороженым в лавке стоит железный столик и два стула, а на полке — бутылки с красными и зелеными безалкогольными напитками. Здесь я провел немало мирных часов.

Лавка миссис Тинкхем отличается также тем, что она полна кошек. Неуклонно растущее кошачье семейство, происшедшее от одной огромной прародительницы, располагается на прилавке и на пустых полках в сонливом созерцании: янтарные глаза сужены и помаргивают на солнце — ленивые влажные щелки среди изобилия прогретой шерсти. Когда я прихожу, какая-нибудь кошка соскакивает ко мне на колени и, посидев сколько полагается, солидно и бесстрастно, ускользает затем на улицу любоваться витринами. Но ни одной из них я ни разу не встречал дальше, чем за десять шагов от лавки. Посреди этого великолепия восседает сама миссис Тинкхем и курит сигарету. Я не знаю другого человека, который курил бы, как она, буквально не пере-

ставая. Она закуривает одну сигарету от остатка другой; как она утром закуривает первую — это для меня тайна, потому что если попросить у нее спичек, их в доме никогда не оказывается. Однажды я застал ее в великом смятении и горе — очередная сигарета упала в чашку с кофе, а зажечь новую было нечем. Может быть, она курит всю ночь, а может быть, в спальне у нее горит вечный огонь — какая-нибудь неугасимая сигарета. Эмалированный тазик у нее в ногах обычно до краев полон окурков; а рядом с ней, на прилавке, стоит маленький радиоприемник, который всегда включен, но самую малость, так что миссис Тинкхем проводит время среди своих кошек, окутанная табачным дымом, под непрестанный аккомпанемент чуть слышного музыкального бормотанья.

Я вошел, сел, как обычно, за железный столик и снял одну из кошек с ближайшей полки к себе на колени. Она тут же замурлыкала, как пущенная в ход машина. Я улыбнулся миссис Тинкхем — в тот день это была моя первая натуральная улыбка. На языке Финна миссис Тинкхем — занятная реликвия, но ко мне она была очень добра, а я никогда не забываю доброе отношение.

— Вот и вернулись домой, — сказала миссис

Тинкхем, откладывая томик «Поразительных повестей», и еще немного приглушила радио, так что остался только невнятный шепот где-то на заднем плане.

— Да, к сожалению, — отвечал я. — Миссис Тинк, как бы стаканчик чего-нибудь?

Я уже давно храню у миссис Тинкхем запас виски на случай, если оно мне понадобится в медицинских целях, в спокойной обстановке, в центре Лондона, в неурочное время. Сейчас время было урочное, но мне нужна была успокоительная тишина лавчонки миссис Тинкхем, с мурлычущей кошкой, шепчущим радио и самой миссис Тинк — языческой богиней, окутанной фимиамом. Когда я завел эту систему, я вначале после каждого раза делал на бутылке пометку, но в то время я еще плохо знал миссис Тинкхем. По надежности ее можно приравнять к закону природы. И она умеет молчать. Однажды я случайно услышал, как один из ее странных клиентов после тщетных попыток что-то у нее выведать громко воскликнул: «Вы просто патологически деликатны!» И это истинная правда. Я подозреваю, что этим и объясняется успех миссис Тинкхем. Ее лавка служит так называемым «передаточным пунктом» и местом встречи для

людей, которые любят вести свои дела под шумок. Интересно бы знать, в какой мере миссис Тинкхем осведомлена о делах своих клиентов. Когда я далеко от нее, я убежден, что она не так наивна, чтобы не представлять себе, что происходит у нее под носом. Когда же она рядом, она выглядит такой толстой и расплывчатой и моргает так похоже на своих кошек, что меня берет сомнение. Порой мне случается краем глаза подметить на ее лице выражение острой проницательности; но как бы я быстро ни обернулся, я ни разу не успел прочесть на этом лице ничего, кроме безмятежной материнской озабоченности и более или менее рассеянного участия. Какова бы ни была истина, верно одно: никто никогда этого не узнает. Полиция давно махнула рукой на миссис Тинкхем: допрашивать ее значило даром терять время. Мало она знает или много, но ни разу на моей памяти ни ради выгоды, ни ради сенсации она не показала своей осведомленности о том, что творится в тесном мирке, окружающем ее лавку. Неболтливая женщина — это жемчужина на черном бархате. Я глубоко уважаю и люблю миссис Тинкхем.

Она налила виски в картонный стаканчик и передала мне через прилавок. Сама она при мне

не выпила ни капли спиртного.

— Коньяку не привезли, голубчик? — спросила она.

— На таможне отобрали, — сказал я и, отхлебнув виски, добавил: — Чтоб им пусто было! — сопроводив эти слова жестом, который охватывал таможню, Мэдж, Старфилда и мой банк.

— Что случилось, голубчик? Опять настало трудное время? — спросила миссис Тинкхем, и, склонясь над стаканом, я успел заметить, что в ее глазах мерцает прозорливый огонек. — Ох уж эти люди, сплошные от них неприятности, верно? — добавила она тем масляным голосом, который, надо полагать, вынудил не одно признание.

Я уверен, что с миссис Тинкхем откровенничают почем зря. Бывало, что, входя в лавку, я безошибочно это чувствовал. Я и сам с ней откровенничал и думаю, что для многих своих клиентов она единственный человек, которому вполне можно довериться. Трудно предположить, чтобы такая роль не приносила известных материальных выгод, и деньги у миссис Тинкхем, безусловно, водятся — однажды она без единого слова дала мне взаймы десять фунтов, — но я уверен, что деньги для нее не главное. Ей просто доставляет наслаждение быть в курсе чужих дел,

вернее, жизней, потому что слово «дела» предполагает интерес более узкий и менее человечный, нежели тот, который в эту минуту был сосредоточен на мне, если только я этого не вообразил. В самом деле, возможно, что истина относительно ее наивности или отсутствия таковой лежит где-то посередине, что она пребывает в мире чужих жизненных драм, где факты и вымысел почти неотделимы друг от друга.

Что-то тихо звучало у меня в ушах, может быть, радио, а может, это миссис Тинкхем колдовала, чтобы вызвать меня на откровенность; точно кто-то осторожно сматывал тонкую леску, на которой повисла, вот-вот готовая сорваться, редкостная рыбина. Но я крепился и молчал. Я хотел подождать, пока не смогу изложить свою историю более драматично. Тут намечались кое-какие возможности, но ничего еще не оформилось. Заговорив сейчас, я мог невзначай сказать правду; когда меня застигают врасплох, я обычно говорю правду, а что может быть скучнее? Я встретил взгляд миссис Тинкхем и, хотя глаза ее ничего не сказали, не сомневался, что она прочла мои мысли.

— Люди и деньги, миссис Тинк, — сказал я. — Не будь их, как хорошо было бы жить на свете.

— И еще зов пола, — сказала миссис Тинкхем; мы оба вздохнули.

— Котята за последнее время были? — спросил я.

— Нет, но Мэгги опять в интересном положении. Да, скоро, скоро будут у тебя детки! — обратилась она к раскормленной пестрой кошке, разлегшейся на прилавке.

— Думаете, на этот раз получилось?

Миссис Тинкхем уже давно убеждала своих кошек гулять с сиамским красавцем, проживавшим неподалеку. Правда, все ее уговоры сводились к тому, что она время от времени подносила какую-нибудь из кошек к двери и указывала ей на этого интересного мужчину со словами: «Погляди, какой там миленький котик!» — и пока что ничего из этого не выходило. Если вы когда-нибудь пытались привлечь внимание кошки к определенному предмету, то знаете, как это трудно. Она будет смотреть куда угодно, только не туда, куда вы указываете.

— Как бы не так, — сердито отвечала миссис Тинкхем. — У них у всех только и на уме что черно-белый кот из конинной лавки. Верно говорю, моя красавица, да? — снова обратилась она к будущей мамаше, а та в ответ вытянула

вперед тяжелую лапу и вонзила когти в стопку «Nouvelles littéraires»[2].

Я стал развертывать свой пакет. Кошка соскочила с моих колен и бочком выскользнула за дверь. Миссис Тинкхем сказала: «Так-то» и потянулась к «Поразительным повестям».

Я быстро перебрал свои рукописи. Когда-то Магдален, обозлившись, разорвала первые шестьдесят строф эпической поэмы «А мистер Оппенгейм наследует землю». Поэма писалась в те времена, когда у меня были идеалы. В те времена мне еще не стало ясно, что писать эпические поэмы в наш век невозможно. В те времена я наивно воображал, что нет оснований не пробовать свои силы в любом жанре, к которому тебя тянет. Ничто не действует так парализующе, как чувство исторической перспективы, особенно в литературе. Вероятно, в какой-то момент нужно просто отбросить всякие теоретические соображения. Я, например, сумел их отбросить чуть пораньше того момента, когда мне стало бы ясно, что в наш век невозможно писать романы. Однако вернемся к «Мистеру Оппенгейму». Мои друзья не одобрили это заглавие, усмотрев в нем

---

[2] Примечания: 2
«Новости литературы» *(франц.)*.

антисемитский душок, хотя мистер Оппенгейм, разумеется, просто символизирует большой бизнес; но Мэдж разорвала поэму не за это, а со злости: я не пошел с ней завтракать, как условился, потому что должен был встретиться с одной писательницей. Встреча эта ничего мне не дала, а дома меня ждал «Мистер Оппенгейм», разорванный в клочья. Это было давно, но я опасался повторения. Кто знает, какие мысли бродили в голове у этой женщины, когда она принимала решение вышвырнуть меня на улицу? Если женщина наносит вам обиду, то обычно вы же и вызываете ее ярость. Я по себе знаю, как выводит из себя человек, которого бываешь вынужден обидеть. Поэтому я перебрал рукописи очень внимательно.

Все как будто было в порядке, если не считать одной недостачи. Не хватало написанного на машинке перевода «Le rossignol de bois». Этот «Деревянный соловей» был третьим с конца романом Жан-Пьера Бретейля. Я делал его прямо на машинке. Я уже столько переводил Жан-Пьера, что теперь дело только за тем, чтобы как можно быстрее стучать по клавишам. Копирку я не выношу — руки у меня неловкие, а что такое листы копирки, вам известно, — поэтому у меня был

всего один экземпляр. Но за него я не опасался, я знал, что если бы Магдален вздумала что-нибудь уничтожить, то выбрала бы не перевод, а одну из моих собственных вещей. Я решил забрать перевод в следующий раз — вероятно, он остался в бюро на третьем этаже. «Le rossignol» будет хорошо раскупаться, а значит, у меня будут деньги. Это роман о молодом композиторе, который лечится психоанализом и в результате творчески иссякает. Переводил я его с удовольствием, хотя это не более чем расхожее чтиво, как и все, что пишет Жан-Пьер.

Дэйв Гелман уверяет, что я специализировался на Бретейле потому, что сам хотел бы писать такие книги, но это неверно. Я потому перевожу Бретейля, что это легко, и еще потому, что книги его на любом языке идут нарасхват. А потом, мне, как это ни противоестественно, просто нравится переводить: как будто ты открываешь рот, а говорит кто-то другой. Предпоследнему роману Жан-Пьера «Les pierres de l'amour»,[3] который я только что прочел в Париже, тоже был обеспечен успех. А совсем недавно вышел еще один, «Nous

[3] Примечания: 3
«Камни любви» *(франц.)*.

les vainqueurs»,[4] его я еще не успел прочесть. Я решил повидаться со своим издателем и получить аванс под «Деревянного соловья», а заодно продать ему идею, которая возникла у меня в Париже, — сборник французских рассказов в моем переводе и с моим предисловием. Ими-то и были набиты мои чемоданы. Это даст мне кое-какие средства к существованию. Что бы ни писать, лишь бы не свое, как говорит Дэйв. В банке у меня, по моим расчетам, оставалось фунтов семьдесят. Но теперь, когда на Эрлс-Корт-роуд мне больше не было ходу, первая и самая насущная задача состояла в том, чтобы найти дешевое и надежное пристанище, где можно жить и работать.

Вы можете подумать, что Магдален поступила жестоко, так бесцеремонно меня выгнав, а я со своей стороны проявил бесхарактерность, приняв это так покорно. Но Магдален вовсе не бандит. Это жизнерадостная, земная женщина, простая и сердечная, готовая услужить кому угодно, если только это не доставляет ей хлопот; о многих ли из нас можно сказать больше? У меня же в отношении Мэдж совесть была нечиста. Раньше я сказал, что почти ничего не платил за кварти-

---

[4] Примечания: 4
«Мы победители» *(франц.)*.

ру. Так вот, это не совсем верно, я не платил за квартиру ничего. Эта мысль меня слегка беспокоила. Принимать подачки от женщины вредит locus stand.[5] К тому же я знал, что Мэдж хочется выйти замуж. Она не раз давала мне это понять, и думаю, она вышла бы замуж даже за меня. Только я-то хотел другого. По обеим этим причинам я понимал, что на Эрлс-Корт-роуд у меня нет ни малейших прав и что, если Мэдж ищет прочного существования, винить в этом я могу только себя; впрочем, я, кажется, был вполне объективен, считая, что Святой Сэмми — дело не верное, а, напротив, очень даже проблематичное.

Здесь, пожалуй, не лишним будет сказать несколько слов о себе. Зовут меня Джеймс Донагью, но пусть ирландская фамилия вас не смущает — в Дублине я был всего один раз, по пьяной лавочке, и в себя пришел всего два раза — когда меня выпускали из полицейского участка на Стор-стрит и когда Финн сажал меня на пароход, возвращавшийся в Англию. Это было в те дни, когда я много пил. Мне чуть больше тридцати лет, и я талантлив, но ленив. Живу я всякими литературными поделками и кое-что пишу все-

---

[5] Примечания: 5
Здесь: самоуважение *(лат.)*.

рьез, очень мало, как можно меньше. В наши дни литературной работой можно жить, только если работаешь с утра до ночи и согласен писать все, на что есть спрос. Я уже упоминал, что ростом я невысок, но точнее будет сказать, что я худощав и изящно сложен. У меня светлые волосы и резкие, как у фавна, черты лица. Я силен в дзюдо, а бокс не люблю. Важнее для этой повести то, что у меня истрепаны нервы. Как это случилось, неважно. Это другая история, а я вам рассказываю не всю историю моей жизни. Так или иначе, они истрепались, и выражается это, между прочим, в том, что я не могу подолгу оставаться один. Вот почему мне так нужно общество Финна. Мы часами сидим с ним вдвоем, иногда в полном молчании. Я, скажем, думаю о боге, о свободе, о бессмертии. О чем может думать Финн, понятия не имею. Но более того, я терпеть не могу жить в чужих домах, мне нужна защита. Следовательно, я паразит и обычно живу у кого-нибудь из знакомых. Это удобно и с финансовой точки зрения. Принимают меня охотно, потому что жилец я спокойный, а Финн может быть полезен по дому.

Предстояло решить нелегкую задачу — куда нам податься. Приютит ли нас Дэйв Гелман, было неясно. Я тешил себя этой мыслью, но не очень-то

надеялся. Дэйв — старый друг, но он философ — не из тех, что толкуют про гороскопы и звериное число, а настоящий, как Платон или Кант, а значит, у него нет денег. Я чувствовал, что предъявлять Дэйву какие-либо требования не совсем этично. К тому же он еврей, настоящий стопроцентный еврей, который соблюдает посты, верит, что грех неискупим, и считает неприличным рассказ о женщине, разбившей алебастровый сосуд с драгоценным елеем, и многие другие истории в Новом завете. Но это бы еще ничего, хуже то, что он без конца спорит с Финном по поводу святой Троицы, бесполезности чувств и понятия милосердия. Дэйв ничего не ненавидит так, как понятие милосердия, которое он приравнивает к своего рода духовному обману. Послушать Дэйва, так милосердие попросту порождает двуличие и представление, будто человеку что угодно может сойти с рук. Он говорит, что люди должны руководствоваться четкими практическими правилами, а не туманным светом высоких понятий, которыми, по его мнению, прикрывают всевозможные излишества. Дэйв — один из немногих, с кем Финн ведет долгие беседы. Стоит, пожалуй, разъяснить, что Финн когда-то был католиком, хотя по темпераменту он методист — так мне

по крайней мере кажется, — и с Дэйвом он проявляет красноречие. Финн вечно твердит, что вернется в Ирландию, чтобы жить в стране, где религия действительно что-то значит, но все не уезжает. Так что я решил, что у Дэйва будет не особенно спокойно. Я предпочитаю, чтобы Финн не говорил слишком много. Раньше я сам любил поговорить с Дэйвом о всяких отвлеченных материях. Когда мы познакомились, мне было приятно, что он философ, и я надеялся, что он откроет мне какие-нибудь важные истины. Я в то время читал Гегеля и Спинозу, хотя, признаюсь, мало что в них понимал, и все хотел обсудить их с Дэйвом. Но почему-то у нас ничего не выходило, и все наши диспуты сводились к тому, что я что-нибудь говорил, а Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать, и я повторял все сначала, а Дэйв сердился. Я не сразу сообразил, что, когда Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать, это значило, что я, по его мнению, сболтнул глупость. Гегель говорит, что Истина великое слово и еще более великая вещь. С Дэйвом у нас дальше слова дело не двигалось, и я наконец отступился. Но все-таки я Дэйва очень люблю, у нас есть и еще много тем для разговора, так что я не отказался от идеи вселиться к нему. Других

идей у меня, впрочем, и не было. Придя к такому заключению, я достал из чемодана часть своих книг и вместе с пакетом рукописей оставил под прилавком у миссис Тинкхем. Потом я простился с ней и пошел закусить.

Глава 2

Некоторые части Лондона органичны, другие случайны. К западу от Эрлс-Корт-роуд все случайно, кроме нескольких мест у реки. Я терпеть не могу ничего случайного. Я хочу, чтобы на все в моей жизни имелись причины. Дэйв жил к западу от Эрлс-Корт-роуд, и в моих глазах это тоже было его минусом. Он жил близ Голдхок-роуд, в одном из тех больших красновато-черных домов, которые я хорошо помнил еще с мрачных дней моего лондонского детства. Дэйв, мне кажется, не очень чувствителен к своему окружению. Его, как философа, интересует центральный узел бытия (он, правда, не простил бы мне этого выражения), а не те беспорядочно висящие концы, которыми большинство из нас вынуждены развлекаться. К тому же он, будучи евреем, чувствует себя частью истории, не прилагая к тому особых усилий. В этом я ему завидую. Мне лично поддерживать связь с историей год от года труднее. В общем, Дэйву доступна такая роскошь, как случайное местожительство. Для себя я на этот счет сомневался.

Дом, где живет Дэйв, многоэтажный, но кажется низким рядом с соседним зданием — огромной новой белостенной больницей. В ней все просто и все оправданно, и меня, когда я прохожу мимо, бросает в дрожь. По темной, с цветными стеклами лестнице я поднялся до квартиры Дэйва и услышал гул голосов. Это мне не понравилось. У Дэйва слишком много знакомых. Его жизнь — нескончаемый tour de force[6] дружеской близости. Я, например, считаю, что дружить одновременно больше чем с четырьмя людьми безнравственно. А у Дэйва, судя по всему, близких людей больше сотни. У него широкий и постоянный круг знакомств среди интеллигенции и людей искусства, а вдобавок он знает уйму левых политических деятелей, в том числе таких оригиналов, как Лефти Тодд, лидер Новой Независимой Социалистической партии, и других чудаков, еще почище. Кроме того, имеются его ученики, и их друзья, и неуклонно растущая орава его бывших учеников. Чуть ли не все, с кем Дэйв когда-либо занимался, сохраняют с ним связь. Для меня это загадка — ведь мне, как я уже упоминал, Дэйв не мог ничего преподать, когда мы беседовали на

[6] Примечания: 6
Фокус, трюк *(франц.)*.

философские темы. Может быть, это объясняется тем, что я неисправимый художник, как он сам однажды воскликнул. Тут кстати будет добавить, что Дэйв не одобряет моего образа жизни и вечно уговаривает меня поступить на работу.

Дэйв — преподаватель университета, но занятия ведет на дому, и вокруг него группируется немало юношей, посвящающих часть своего времени поискам Истины. Ученики обожают Дэйва, хотя он ведет с ними непрестанную борьбу. Они тянутся к нему, как подсолнухи к солнцу. Все они прирожденные метафизики, так по крайней мере утверждает не без отвращения сам Дэйв. Мне бы казалось, что быть метафизиком замечательно, но у Дэйва это вызывает страстный протест. Для учеников Дэйва мир — тайна, к которой они считают возможным подобрать ключ. Ключ этот, надо полагать, содержится в какой-то книге страниц этак на восемьсот. Найти его, может быть, и нелегко, но ученики Дэйва убеждены, что, уделяя поискам от четырех до десяти часов в неделю, за вычетом университетских каникул, они своего добьются. Им не приходит в голову, что задача эта либо много проще, либо много сложнее. В известных пределах они готовы менять свои взгляды. Многие из них приходят к Дэйву теософами, а ухо-

дят от него рационалистами или брэдлеанцами. Интересно, что критика Дэйва часто действует как катализатор. Он жжет их с разрушительной яростью солнца, но от этого их метафизические устремления не вянут и не сгорают, а лишь переходят из одной стадии в другую, не менее активную. Это любопытное обстоятельство наводит на мысль, что Дэйв, в сущности, хороший педагог, хотя в том и нет его заслуги. Время от времени ему удается приобщить какого-нибудь сверхвосприимчивого юношу к собственной философской школе лингвистического анализа, после чего означенный юноша, как правило, вообще перестает интересоваться философией. Наблюдать, как Дэйв обрабатывает этих молодых людей, все равно что следить за работой человека, подрезающего розовый куст. На удаление обречены все самые крепкие и пышные побеги. А позднее, возможно, появятся цветы; но цветы, как рассчитывает Дэйв, не философские. Конечная цель Дэйва отвратить молодежь от философии. Меня он отваживает от нее с сугубым усердием.

Я в нерешительности остановился у двери. Ненавижу входить в комнату, полную народу, и чувствовать, как к тебе оборачивается целая портретная галерея незнакомых лиц. Я уже готов

был повернуться и уйти, но потом, мысленно махнув рукой, все же вошел. Комната была битком набита молодыми людьми; они говорили все разом и пили чай, но относительно лиц я напрасно беспокоился — никто, кроме самого Дэйва, не обратил на меня внимания. Дэйв сидел в углу, немного в стороне от схватки, и, увидев меня, поднял руку важным жестом патриарха, приветствующего давно ожидаемое знамение. Я не хочу сказать, что по внешности Дэйв напоминает иудейского патриарха. Он уже начал понемножку толстеть и лысеть, у него веселые карие глаза и пухлые руки, говорит он чуть гортанным голосом и английским владеет не вполне свободно. Финн сидел рядом с ним на полу, прислонившись к стене и вытянув ноги вперед, как жертва уличной катастрофы.

Я пробрался между каких-то безусых юнцов, перешагнул через Финна и пожал Дэйву руку. Финна я дружески поддел ногой и уселся на край стола. Какой-то юноша машинально передал мне чашку чаю, не переставая говорить через плечо. Я расслышал: «*Должно быть* в конечном счете возвращает нас к *есть*». — «Да, но к какому *есть*?»

— Здесь, я вижу, все идет по-старому, — сказал я.

— Естественное проявление человеческой энергии, — ответил Дэйв, слегка нахмурясь. Потом он дружелюбно посмотрел на меня. — Я слышал, ты попал в переплет, — сказал он, немного возвышая голос над общим криком.

— В некотором роде — да, — осторожно сказал я, прихлебывая чай. С Дэйвом я никогда не раздуваю своих неприятностей — он относится к ним с насмешкой и без капли сочувствия.

— Я бы на твоем месте поступил на работу, — сказал Дэйв. Он кивнул на высокую белую стену больницы за окном, совсем близко. — Им там всегда нужны санитары. Ты мог бы стать даже братом милосердия. Или взять какую-нибудь работу на часть дня.

Дэйв вечно мне это советовал, почему — не знаю; казалось бы, меньше всего я мог последовать именно такому совету. Думаю, что он делал это отчасти для того, чтобы позлить меня. Для разнообразия он иногда расписывал мне, как привлекательна должность надзирателя при малолетних преступниках, или фабричного инспектора, или учителя начальной школы.

Я поглядел на стену больницы.

— Ради спасения души?

— Вовсе нет! — гневно возразил Дэйв. — Все ты

носишься со своей душой. Как раз для того, чтобы думать не о своей душе, а о других людях.

Я понимал, что Дэйв в чем-то прав (хотя не нуждался в его указаниях), но не представлял себе, что сейчас можно предпринять в этом смысле. Финн бросил мне сигарету. Он всегда старался как-нибудь незаметно защитить меня от Дэйва. Насущной задачей было найти подходящее жилье, и, пока этот вопрос не был решен, остальное не имело значения. Чтобы сводить концы с концами, мне нужно все время писать, а в бездомном состоянии я ничем не могу заняться.

Я допил чай и отправился потихоньку обследовать квартиру Дэйва. Гостиная, спальня, запасная комната, ванная и кухня. Запасную комнату я изучил подробно. Окно ее тоже смотрело на стену больницы, которая в этом месте подходила чуть ли не еще ближе. Комната выкрашена в художественный светло-коричневый цвет, обстановка спартанская. Сейчас здесь были свалены пожитки Финна. Ну что ж, бывает хуже. Я разглядывал гардероб, когда вошел Дэйв. Он отлично знал, что у меня на уме.

— Нет, Джейк, — сказал он. — Категорически нет.

— Почему?

— Нельзя двум таким неврастеникам жить вместе.

— Ах ты, старый удав! — сказал я. Дэйв никакой не неврастеник. У него вместо нервов канаты. Я, впрочем, не стал спорить, меня и самого этот проект не слишком увлекал — из-за Иеговы и Троицы. — Раз ты меня выселяешь, — сказал я, — тебе следует хотя бы выдвинуть какое-нибудь конструктивное предложение.

— Ты еще и не вселялся, Джейк, — сказал Дэйв, — но я подумаю.

Дэйв знает, что мне нужно. Мы вернулись в большую комнату и снова окунулись в шум голосов.

— Может, попытаться у дам, нет?

— Нет, — сказал я. — Это уже все было.

— Иногда ты мне противен, Джейк.

— Чем я виноват, что у меня такая психика? Ведь свобода — это в конце концов только идея.

— Это из третьей «Критики»! — прокричал Дэйв кому-то через всю комнату.

— Да и каких дам? — спросил я.

— Я твоих женщин не знаю, — сказал Дэйв, — но если ты навестишь одну-другую, кто-нибудь, возможно, подаст тебе хорошую мысль.

Я почувствовал, что мое общество будет при-

ятнее Дэйву после того, как я сумею где-нибудь обосноваться. Финн, который теперь лежал головой под столом, внезапно произнес:

— Попробуй у Анны Квентин. — Финн иногда проявляет просто сверхъестественную интуицию.

Это имя вонзилось в меня, как стрела.

— Не могу, — сказал я и добавил: — Что-что, а это невозможно.

— Значит, все еще так, — сказал Дэйв.

— Вовсе не так. К тому же я понятия не имею, где она живет. И я отвернулся к окну. Я не люблю, когда по моему лицу о чем-то догадываются.

— Ну, поехал! — сказал Дэйв. Он хорошо меня знает.

— Давай другую идею, — сказал я.

— Другая идея, что ты дурак, — сказал Дэйв. — Обществу следует взять тебя за шиворот, встряхнуть хорошенько и заставить выполнять какую-нибудь полезную работу. Тогда вечерами ты мог бы написать толковую книгу.

Было ясно, что Дэйв в плохом настроении. Шум в комнате усиливался. Я задвинул ногой свой чемодан под стол, рядом с Финном.

— Можно оставить его здесь?

Кто-то спросил: «А откуда вы знаете, какое ваше

„я“ настоящее?»

— Можешь оставить и чемодан и Финна, — сказал Дэйв.

— Я тебе позвоню, — сказал я и ушел.

* * *

Мне все еще было больно от имени, которое произнес Финн. Но сквозь эту боль теперь звучала причудливая мелодия; серебряная дудочка звала меня за собой. У меня, конечно, не было ни малейшего намерения разыскивать Анну, но хотелось остаться одному с мыслью о ней. Я смотрю на женщин без мистики. Мне нравятся женщины в романах Джеймса и Конрада — они похожи на цветы, про них пишут «безыскусственность, глубина, доверчивость, покой». Особенно здорово звучит «глубина»: порхающие белые руки и глубока, как море. Но в жизни я таких женщин не встречал. Я люблю про них читать, но ведь читать я люблю и про Пегаса и про Хрисаора. Женщины, которых я знавал, часто бывали неопытны, косноязычны, легковерны и простодушны; но я не вижу оснований называть их глубокими за те свойства, которые в мужчине мы бы определили как поглощенность собой. А когда они хитрые, то обманывают себя и других примерно так же,

как мужчины. Это тот же обман, в котором мы все участвуем; только женщину роль, которую ей приходится играть, иногда выводит из равновесия немножко больше, чем мужчину. Как туфли на высоких каблуках, из-за которых постепенно смещаются внутренние органы. Все эти воображаемые глубины мне противны до чрезвычайности.

А между тем в Анне я чувствовал глубину. Не знаю, чем объяснить это впечатление, но она всегда казалась мне существом бездонным. Дэйв как-то сказал, что назвать человека неисчерпаемым — значит попросту дать определение любви; если так, я, возможно, любил Анну. Говорит она чуть хрипловатым голосом, у нее нежно очерченное лицо, всегда освещенное изнутри теплым и ровным светом. Лицо, полное тоски, но без тени недовольства. Волосы у нее густые, темные, зачесаны кверху старомодными волнами — так, во всяком случае, было, когда я ее знал. А было это давно. Анна на шесть лет старше меня, и когда я ее впервые увидел, она исполняла вокальный номер со своей сестрой Сэди. Анна вкладывала в это предприятие голос, а Сэди — блеск. У Анны контральто, способное разбить человеку сердце даже по радио; а если вдобавок видишь легкие

жесты, которыми она сопровождает свое пение, то она совершенно неотразима. Она словно бросает песню прямо тебе в сердце; так по крайней мере она поступила со мной в первый раз, когда я ее слушал, и я уже не мог это забыть.

Анна похожа на свою сестру в такой же мере, как милый певчий дрозд похож на довольно-таки опасную тропическую рыбу, и со временем вокальный номер был отставлен. Случилось это, мне кажется, отчасти потому, что сестры не выносили друг друга, отчасти же потому, что устремления их были неодинаковы. Как вы, может быть, помните, английское кино в те дни переживало кризис. Только что была организована компания «Баунти Белфаундер», а старое акционерное общество «Фантазия-фильм» перешло в новые руки. Но ни той, ни другой компании все не удавалось открыть новых звезд; старые, правда, сияли по-прежнему, и время от времени какой-нибудь девочке доставались обычные фанфары прессы, после чего она, блеснув в одной картине, угасала шумно и быстро, как фейерверк. Заправилы «Фантазия-фильм», решив, очевидно, что на человеческом материале сборов не сделаешь, начали свою серию фильмов о животных и в животном царстве действительно обнаружили

несколько сокровищ: в первую очередь, конечно, это была овчарка Мистер Марс, чьи похождения с сентиментально счастливым концом, вероятно, и уберегли их от банкротства. У Белфаундера дело с самого начала пошло успешнее; этой компании Сэди вскоре и решила предложить на продажу свои таланты, и Сэди, как известно, вышла-таки в звезды.

Звезда — своеобразное явление. Это совсем не то же самое, что хорошая киноактриса; дело тут даже не в обаянии и не в красоте. Чтобы стать звездой, требуется некое чисто внешнее свойство, именуемое éclat. Éclat у Сэди был, так по крайней мере утверждала публика, я же предпочитаю слово «блеск». Вы, вероятно, уже поняли, что я не поклонник Сэди. Сэди вся лоснится и сверкает. Она моложе Анны, черты лица у нее такие же, только мельче и расположены теснее, как будто голову ей хотели сжать в кулачок, да так и не довели дело до конца. Голос ее в разговоре немного напоминает голос Анны, только вместо хрипотцы в нем слышен металл. Не хриплый шелест каштановой шелухи, а ржавое железо. Кое-кто и в этом находит очарование. Петь она не умеет.

Анна никогда не стремилась в кино. Не знаю почему — мне всегда казалось, что у нее для этого

больше данных, чем у Сэди. Но возможно, что на первый взгляд ее облику не хватает определенности. Чтобы проникнуть в мир кино, нужно быть кораблем с очень острым форштевнем. Когда сестры расстались, Анна перешла на более серьезный репертуар; но чтобы продвинуться на этом пути, ей недоставало профессиональной подготовки. Когда я в последний раз о ней слышал, она исполняла народные песни в ночном клубе, и такое сочетание отлично выражало ее сущность.

Когда-то Анна жила в крошечной квартирке близ Бэйсуотер-роуд, зажатой со всех сторон другими домами, и там я часто у нее бывал. Я был очень к ней привязан, но даже тогда понимал, что характер у нее не идеальный. Анна — одна из тех женщин, которые не в силах сказать «нет», когда им предлагают любовь. И дело не в том, что это ей льстит. У нее талант к личным отношениям, и она жаждет любви, как поэт жаждет публики. Всякому, кто даст себе труд к ней привязаться, она сейчас же начинает уделять преданное, великодушное, сочувственное и начисто лишенное кокетства внимание, которое, однако, есть не что иное, как маневр с целью избежать капитуляции. Это, несомненно, тоже

одна из причин, почему Анна не подалась в кино: личная жизнь, вероятно, отнимает у нее почти все время. Это же привело еще к одному печальному последствию — вся ее жизнь превратилась в сплошную измену; когда я ее знал, она вечно секретничала и то и дело лгала, чтобы скрыть от каждого из своих друзей, как она близка с остальными. Иногда, впрочем, она пробовала и другую тактику — притупляла боль ревности мелкими, упорными ударами до тех пор, пока ее жертва, оставаясь в полной ее власти, не смирялась с широким диапазоном ее привязанностей. Это мне не по вкусу, и я очень быстро разгадал ее игру. Но такое понимание не лишало ее в моих глазах таинственности, и ее эмоциональная щедрость не будила во мне протеста. Может быть, потому, что я всегда ощущал силу ее непритворной нежности — как теплый ветер, что веет с желанного острова и доносит до мореплавателя запах цветов и плодов. Я понимал, что, по всей вероятности, она точно так же обольщает и держит и других своих поклонников. Но это было мне безразлично.

Вам, может быть, хочется знать, не думал ли я о том, чтобы жениться на Анне. Да, я об этом подумывал. Но брак для меня — категория рассудочная, концепция, которая может упорядочить

мою жизнь, но не заполнить ее. Думая о женщине, я невольно привлекаю возможность брака как полезную гипотезу, не применимую в какомлибо серьезном смысле к практической жизни. Однако в отношении Анны я был очень близок к тому, чтобы задуматься над этим всерьез; и хотя я уверен, что она бы не согласилась, все же именно поэтому я, возможно, в конце концов от нее и отдалился. Я ненавижу одиночество, но слишком большая близость меня страшит. Суть моей жизни — тайная беседа с самим собой, и превратить ее в диалог было бы равносильно самоубийству. Мне нужно общество, но такое, какое поставляет пивная или кафе. Я никогда не мечтал об общении душ. И себе-то самому говорить правду достаточно трудно. Анна же специализировалась на общении душ. К тому же Анну тянет на трагическое, и меня это нервировало. Она во всем готова была усмотреть тяжелую драму. Жизнь принимала остро и трудно. Я же считаю, что принимать так жизнь неумно, точно дразнить опасного зверя, который в конечном счете все равно переломает тебе кости. И вот, прощаясь с Анной, когда она уезжала во Францию петь французские народные песни в французских ночных клубах, я промямлил, что загляну к ней, когда она

вернется, но она знала, что я не приду, и я знал, что она это знает. С тех пор прошло несколько лет, и я прожил это время тихо и мирно, особенно на Эрлс-Корт-роуд.

Выйдя от Дэйва, я дошел до Шепердс-Буш и там сел в 88-й автобус. Я занял переднее место наверху, и по дороге некоторые из тех мыслей, что я здесь записал, пронеслись у меня в голове. Нелегко найти женщину, которую обронил в Лондоне несколько лет назад, тем более если она принадлежит к тому кругу, к какому принадлежала Анна; но ясно, что первым делом нужно посмотреть телефонную книгу. Поэтому я сошел с автобуса на Оксфорд-Сэркус и спустился в метро. Уходя от Дэйва, я не собирался разыскивать Анну, но к тому времени, как мы проехали Бонд-стрит, мне уже казалось, что ничем иным на свете вообще не стоит заниматься. Более того, я уже не понимал, как мне удалось столько времени просуществовать без нее.

Такой уж я человек. Я на долгие периоды оседаю и успокаиваюсь, и в такие периоды я пальцем не пошевелю, чтобы поднять с земли золотой. Когда я прикреплен, я неподвижен. Но открепленный, я летуч, и летаю с места на место, как волан или как электрон Гейзенберга, пока снова не осяду в

каком-нибудь другом безопасном месте. И странным образом я верил в интуицию Финна. Не раз оказывалось, что, последовав его неожиданному совету, я делал как раз то, что нужно. Я понимал, что фаза моей жизни, связанная с Эрлс-Корт-роуд, окончена и что *этого* душевного покоя мне не вернуть. Мэдж навязала мне внутренний перелом; что ж, я готов исследовать его до дна и даже извлечь из него все возможное. Кто скажет, какой именно день открывает новую эру? Я взял телефонную книгу Лондона, том от А до Л.

Телефонная книга ничего мне не сказала; этому я не удивился. Я позвонил в два театральных агентства, где не знали о местонахождении Анны, и в Би-би-си, где знали, но не пожелали сообщить. Я думал было толкнуться в Белфаундеровскую студию и, может быть, найти там Сэди, но мне не хотелось, чтобы Сэди знала, что я ищу Анну. Я подозревал, что Сэди одно время была ко мне не совсем равнодушна; во всяком случае, она в прежние дни откровенно не одобряла моей привязанности к Анне — правда, некоторые женщины в каждом мужчине видят свою личную собственность, — и я допускал, что она не скажет мне, где Анна, даже если и знает. Да я и не видел Сэди с тех пор, как она стала знаменитой, и не

ожидал, что она благосклонно встретит мою попытку возобновить знакомство, в особенности если в прошлом она догадалась, что я догадался о ее чувствах или хотя бы вообразил их.

Рестораны только еще начали открываться. В такой час не было смысла обзванивать ночные клубы. Значит, не оставалось ничего другого, как прочесать Сохо. В Сохо всегда есть человек, знающий то, что тебе нужно узнать, все дело в том, чтобы найти его. И был шанс просто встретить там Анну. Со мной всегда так бывает: стоит мне чем-нибудь заинтересоваться, как происходят десятки случайностей, имеющих к этому прямое отношение. Но я надеялся, что для начала не встречу Анну в общественном месте: моя фантазия уже много чего наплела вокруг этой встречи.

Обычно я стараюсь держаться подальше от Сохо: во-первых, этот район вреден для нервов, во-вторых, он очень дорог. А дорог он не столько потому, что из-за нервного напряжения приходится все время пить, сколько потому, что всякие люди отнимают у тебя деньги. Я не умею отказывать людям, которые просят у меня денег. Никогда не могу придумать, почему бы не отдать тем, у кого меньше наличных денег, чем у меня, хотя бы часть того, что при мне имеется. Я даю

без охоты, но и без колебаний. К тому времени, как я прошел Брюэр-стрит и Олд-Комтон-стрит, а потом по Грик-стрит до «Геркулесовых столпов», разные знакомые успели выудить из моего кармана почти всю наличность. И я уже сильно нервничал — не только из-за Сохо, но и оттого, что, входя в очередной бар, всякий раз воображал, что увижу там Анну. За последние годы я бывал в этих местах сотни раз, и такая мысль даже не приходила мне в голову; но теперь Лондон внезапно превратился в пустую раму. Везде не хватало Анны, везде ее ждали. Я стал успокаивать себя спиртным.

Когда деньги кончились, я перешел улицу, чтобы разменять чек в одном из питейных заведений, где меня знали, и тут-то я наконец напал на след. Я спросил у бармена, не знает ли он, где можно найти Анну. Он сказал, да, у нее, кажется, какой-то театрик в Хэммерсмите. Он порылся под стойкой и извлек карточку, на которой были напечатаны слова «Речной театр» и номер дома по Хэммерсмитской набережной. Бармен сказал, что не знает, там ли она еще, но несколько месяцев назад была там. Карточку она ему оставила для какого-то джентльмена, который так и не явился. Теперь он может отдать ее мне. Я взял карточку и

с бьющимся сердцем вышел на улицу. Только серьезные размышления на тему о моих финансах помешали мне взять такси. Но до станции метро на Лестер-сквер я всю дорогу бежал бегом.

Глава 3

Дом, указанный в карточке, находился на том отрезке набережной, что тянется от харчевни «Горлицы» до «Черного льва». В Чизике дома смотрят на Темзу, но в той части Хэммерсмитской набережной, которая имеет отношение к моему рассказу, они стоят к реке спиной и притворяются обыкновенной улицей. Чизикская набережная — это ленивая вереница домов и садов, сонно глядящих в воду, а Хэммерсмитская — лабиринт водопроводных сооружений и прачечных, среди которых вкраплены кабаки да кое-где — дома начала прошлого века, повернутые к реке то лицом, то спиной. Под нужным мне номером значился дом, стоявший особняком, спиной к реке, а фасадом на тихий участок улицы; рядом с ним был проход, и несколько ступенек вели к воде.

Теперь я уже не так торопился. Я оглядел дом с недоверчивым любопытством, и он словно ответил мне тем же. Это был задумчивый дом, сосредоточенный в самом себе, отделенный от тротуара запущенным палисадником и каменной стенкой. Дом был квадратный, с высокими

окнами, еще хранивший следы былой изысканности. Я подошел к железной калитке в стене и тут только заметил плакат, прикрепленный с другой стороны калитки. Плакат был написан от руки, краски слегка растеклись, и это придавало ему какой-то унылый вид. Текст гласил:

РЕЧНОЙ ТЕАТР ПАНТОМИМЫ
Вновь открывается 1 августа
знаменитым фарсом Ивана Лазебникова «Маришка»
в роскошной оригинальной постановке.
Вход только для членов.
Просьба к публике не смеяться громко и не аплодировать.

Я долго смотрел на этот плакат. Почему-то он показался мне странным. Наконец, чувствуя, как в сердце что-то медленно нарастает, я толкнул калитку — она слегка заржавела — и пошел к дому. Окна черно поблескивали, как глаза за темными очками. Дверь была только что выкрашена. Я не стал искать звонок, а сразу взялся за ручку. Дверь бесшумно отворилась, и я на цыпочках вступил в холл. Гнетущая тишина окутала меня, как облако. Я притворил за собой дверь, выключив все

мелкие шумы улицы. Теперь не осталось ничего, кроме тишины.

Я постоял неподвижно, пока дыхание не стало ровнее и зрение не приспособилось к темноте холла. Все это время я недоумевал, почему веду себя так несуразно, но чувство, что Анна где-то рядом, сбивало меня с толку, и я не мог думать, а мог только совершать одно за другим те или иные действия, словно подсказанные необходимостью. Я медленно двинулся в глубь холла; осторожно ставя ноги на длинный черный ковер, поглощавший звук. Дойдя до лестницы, я заскользил вверх; вероятно, ноги мои касались ступеней, но я ничего не слышал.

Я очутился на широкой верхней площадке, позади меня тянулась деревянная балюстрада, передо мной — несколько дверей. Здесь было чисто, аккуратно прибрано. Ковры толстые, столбики балюстрады протерты до блеска. Я огляделся. Мне не приходило в голову усомниться в том, что Анна здесь, но не приходило в голову и позвать ее или вообще произнести хоть слово. Я подошел к ближайшей двери, распахнул ее настежь. И окаменел.

На меня смотрело семь или восемь пар внимательных глаз, расположенных, казалось, в

нескольких футах от моего лица. Я невольно попятился, и дверь снова затворилась, едва слышно щелкнув, — это был первый звук, который я услышал с тех пор, как вошел в дом. Минуту я стоял, ничего не понимая, боясь дохнуть. Потом решительно взялся за ручку, снова отворил дверь и шагнул вперед. Те лица передвинулись, но по-прежнему были обращены ко мне; и тут я внезапно все понял. Я находился на балконе крошечного театра. Балкон был с покатым полом, и в ракурсе казалось, что он упирается прямо в сцену; а по сцене беззвучно двигались взад и вперед актеры в масках, повернутых к зрительному залу. Маски были больше чем в натуральную величину, поэтому, когда я в первый раз открыл дверь, мне и показалось, что они рядом. Теперь, осознав расстояние и перспективу, я с интересом стал разглядывать это удивительное зрелище.

Маски были не надеты на лица, а нацеплены на палки, которые актеры держали в правой руке; актер ловко сохранял свою маску в положении, параллельном рампе, так что лицо его оставалось невидимым. Почти все маски были сделаны в фас, только две — те, что носили единственные две актрисы, — в профиль. Они были выполнены гротескно, стилизованно, но отмечены своеоб-

разной красотой. Особенно мне запомнились обе женские маски, одна чувственная, безмятежно-спокойная, другая — нервная, настороженная, лживая. У этих были сделаны и глаза, на мужских же масках глаза были прорезаны, и сквозь отверстия таинственно поблескивали глаза актеров. Все актеры были в белом, мужчины — в белых крестьянских рубахах и штанах, женщины — в простых белых платьях почти до пола, перехваченных в талии. Возможно, это и был знаменитый фарс Лазебникова «Маришка»: ни название это, ни фамилия автора ничего мне не говорили.

Тем временем актеры продолжали выполнять свои эволюции в той необыкновенной тишине, которая, казалось, околдовала весь дом. Я разглядел, что на них мягкие, облегающие ногу туфли, а пол на сцене затянут ковром. Они двигались, то плавно скользя, то неуклюже приседая, поворачивая скрытые масками головы из стороны в сторону, и я мысленно отметил выразительность шеи и плеч, в которой достигают такого совершенства индийские танцовщики. Левой рукой они делали разнообразные, но простые условные жесты. Такой пантомимы я никогда еще не видел. Она действовала завораживающе. Содержания

я не понимал, но как будто получалось, что центральная фигура — огромного роста дородный мужчина, чья маска выражала смиренную и тоскливую глупость, — служит мишенью для насмешек остальных действующих лиц. Я внимательно разглядел обеих актрис может быть, одна из них Анна? Но нет. Ее я узнал бы сразу. Потом мое внимание привлек дородный простак. Некоторое время я смотрел на его маску, за гротескной неподвижностью которой сверкали живые глаза. Словно какая-то сила исходила от этих глаз и мягко, но упорно проникала в меня. Я все смотрел и смотрел. Что-то в этой грузной фигуре казалось мне смутно знакомым.

Но вот от одного движения скрипнули подмостки и колыхнулся задник. Я пришел в себя как от толчка и внезапно с тревогой сообразил, что актеры могут меня увидеть. На цыпочках я выбрался обратно на площадку и притворил дверь. Тишина накрыла меня, как колокол, но все кругом бесшумно вибрировало, и я не сразу понял, что это просто стучит мое сердце. Я оглядел остальные двери. На самой дальней белела записка. Крупными буквами было написано *«Реквизит»*, а ниже, шрифтом помельче — *«Мисс Квентин»*. На секунду я закрыл глаза и затаил

дыхание. Потом постучал.

Стук эхом отдался в тишине. Хрипловатый голос сказал: «Войдите».

Я вошел в комнату. Комната была длинная, узкая, окнами на реку, и в ней царил многоцветный хаос, который я поначалу никак не воспринял. Посреди него, спиной ко мне, сидела за столиком Анна и что-то писала. Она медленно обернулась, и я закрыл за собою дверь. Долгую минуту мы молча смотрели друг на друга. Как вода наполняет стакан, так поднялась к глазам моя душа; и в щемящем спокойствии этой встречи мы оба пережили миг почти отрешенного созерцания. Анна встала, сказала: «Джейк!» И тут я ее увидел.

Она пополнела и не смогла или не захотела защититься от времени. Было в ней что-то увядшее, бесконечно трогательное. Лицо, которое запомнилось мне округлым и мягким, как абрикос, стало чуть усталым, напряженным, шея выдавала ее возраст. Большие карие глаза, когда-то глядевшие на мир так прямо, теперь словно сузились, и у наружных их уголков, там, где Анна раньше продлевала их кверху темным карандашом, годы нарисовали крошечный сноп морщинок. Пряди волос, выбившиеся из замысловатой короны прически, вились у нее на шее,

и я заметил в них седые нити. Я смотрел на это лицо, когда-то такое знакомое, и, впервые поняв, что красота его смертна, чувствовал, что никогда еще не любил его так сильно. Анна поймала мой взгляд и быстро, словно спасаясь от опасности, закрыла лицо руками.

— Ты здесь зачем, Джейк? — сказала она.

Чары были нарушены.

— Хотел тебя повидать, — ответил я и тут же постарался не смотреть на нее и собраться с мыслями. Я окинул взглядом комнату. В ней громоздились кучи всевозможных предметов, местами доходившие до потолка, Все содержимое этой комнаты было в каком-то смысле однородно и слитно, оно, казалось, липло к стенам, как варенье в начатой банке. А между тем чего тут только не было! Точно огромный игрушечный магазин, в который попала бомба. На первый раз я успел заметить валторну, лошадь-качалку, набор жестяных дудок в красную полоску, шелковый китайский халат, несколько ружей, яркие шали, плюшевых мишек, стеклянные шары, связки бус и других украшений, вогнутое зеркало, чучело змеи, множество игрушечных зверей и несколько железных сундуков, из которых выглядывали и свисали костюмы всевозможных

цветов и оттенков. Изящные, дорогие игрушки лежали вперемешку с хламом из рождественских хлопушек. Я опустился на ближайшее сиденье — им оказалась спина лошади-качалки — и продолжал осмотр.

— Что это за диковинное место? — спросил я. — Чем ты теперь занимаешься, Анна?

— Да всем понемножку, — сказала Анна. Она всегда так говорила, если хотела что-нибудь от меня утаить. Я видел, что она нервничает: говоря, она все время брала в руки то ленту, то шарик, то длинный кусок брюссельских кружев. — Как ты разыскал меня? — спросила она.

Я сказал.

— Зачем ты пришел?

Мне не хотелось пускаться в банальный диалог из вопросов и ответов. Не все ли равно, зачем я пришел? Я и сам не знал зачем.

— Меня выгнали с квартиры. — Это было не очень вразумительно, но ничего, кроме правды, как-то не пришло мне на ум.

— Вот как? — сказала Анна. Потом спросила: — Что ты поделывал все эти годы?

Я пожалел, что мне нечем ее удивить, но опять на ум мне пришла только правда.

— Немножко переводил, — сказал я. — Немнож-

ко работал на радио. В общем, просуществовал.

Но я видел, что Анна не слушает моих ответов. Она взяла со стола пару красных перчаток, надела одну из них и, не глядя на меня, натягивала и разглаживала пальцы.

— Встречал за последнее время кого-нибудь из общих знакомых? — спросила она.

Я почувствовал, что на такой вопрос ответить не в силах.

— Какое кому дело до общих знакомых?

Что может быть мучительнее встречи после долгой разлуки, когда все слова падают на землю, как мертвые, а дух, который должен бы их оживлять, парит в воздухе, лишенный плоти? Мы оба ощущали его присутствие.

— Ты совсем не изменился, Джейк, — сказала Анна.

И верно, я выглядел почти так же, как в двадцать пять лет.

Она добавила:

— Жаль, что не могу сказать того же о себе.

— Ты выглядишь очаровательно.

Анна засмеялась и взяла в руки венок из искусственных цветов.

— Бог знает, на что похожа эта комната, — сказала она. — Я все собираюсь навести здесь

порядок.

— И комната очаровательная.

— Ну, если ты *это* называешь очаровательным…

Она упорно не смотрела на меня. Еще минута — и мы будем беседовать спокойно, как двое старых знакомых. Этого я не намерен был допустить. Я посмотрел на нее. Среди упоительного хаоса шелков, зверей и всяких невообразимых предметов, достигавших ей чуть не до пояса, она казалась очень умной русалкой, выходящей из многоцветного моря; но через минуту она ускользнет от меня. Внезапно и мгновенно я осознал необычность всего этого дня; и тут же меня осенило. В прежние времена в гостиную Анны в Бэйсуотере смотрело столько чужих окон, что укрыться от них можно было лишь в одном уголке и притом на полу. Когда мне хотелось целовать Анну, я мог делать это только там. Тогда же я, не вполне бескорыстно, преподал Анне основы дзюдо, и так у нас повелось, что, приходя, я хватал ее за руку, бросал в тот угол и целовал. Сейчас память об этом возникла во мне подобно вдохновению, и я двинулся к Анне. Я взял ее за запястье, на миг увидел совсем близко ее распахнутые тревогой глаза, а в следующую минуту я уже бросил ее,

очень осторожно, на груду бархатных костюмов в углу комнаты. Колено мое ушло глубоко в бархат рядом с ней, и на нас дождем посыпались шарфы, кружева, жестяные дудки, мохнатые собаки, маскарадные шляпы и еще невесть что. Я поцеловал Анну.

Глаза ее все еще были распахнуты, губы полураскрыты, с минуту она лежала в моих объятиях жесткая, как большая кукла. Потом она засмеялась, я тоже засмеялся, и оба мы долго смеялись от облегчения и радости. Я почувствовал, как она вздохнула и обмякла, тело ее стало округлым и податливым, и мы поглядели друг другу в лицо и улыбнулись долгой улыбкой доверия и узнавания.

— Анна, родная моя! — сказал я. — И как я только мог без тебя жить! — Я нащупал какой-то сверток расшитого шелка и подсунул ей под голову вместо подушки. Она откинулась на него, долго смотрела на меня, а потом притянула к себе.

— Я много чего хочу рассказать тебе, Джейк, только сейчас, кажется, не могу. Я страшно рада тебя видеть. Ты ведь и сам это видишь, да? — Она заглянула мне в глаза, и я почувствовал знакомое дуновение теплого, пряного ветра. Конечно же, я в этом не сомневался.

— Жулик ты! — сказал я.

Анна подсмеивалась надо мной — так бывало всегда.

— Значит, какая-то женщина дала тебе отставку? — Она всегда наносила ответные удары.

— Ты же знаешь, что могла бы сохранить меня навсегда, если бы захотела. — Я не собирался ей это спустить, да и слова мои были более или менее правдой. — Я тебя любил, — добавил я.

— Ах, любовь, любовь! — сказала Анна. — Как мне надоело это слово. Что значила в моей жизни любовь, кроме скрипа лестниц в чужих домах? Что мне дала вся эта любовь, которую мне навязывают мужчины? Любовь — это преследование. А я хочу одного — чтобы меня оставили в покое, дали немножко полюбить самой.

Я хладнокровно глядел на нее, окружив ее голову руками, как рамкой.

— Если б ты хоть раз ощутила отсутствие любви, ты не стала бы от нее так отмахиваться.

Теперь она не отводила глаз, и во взгляде ее было что-то бесстрастное и оценивающее, чего я раньше не замечал.

— Нет, в самом деле, Джейк, — сказала она. — Все эти разговоры о любви так мало значат. Любовь — не чувство. Ее можно проверить. Лю-

бовь — это поступки, это молчание, тишина. Это вовсе не эмоциональные уловки и борьба за обладание, как тебе когда-то казалось.

Я нашел, что это глупые слова.

— Но любовь и означает обладание, — сказал я. — Ты бы это знала, если б имела понятие о неудовлетворенной любви.

— Нет, — неожиданно сказала Анна. — Неудовлетворенная любовь означает понимание. Только если есть полное, полное понимание, любовь, даже неудовлетворенная, остается любовью.

Я не слушал эту серьезную тираду — мое внимание задело слово «тишина».

— Что это за театр, Анна?

— Вот это как раз одна из тех вещей, Джейки, которые очень трудно объяснить. — Я почувствовал, как руки Анны сошлись у меня на пояснице. Она прижала меня к себе, а потом добавила: — Это маленький эксперимент.

Фраза эта меня резанула. Не похоже было, что ее произнесла Анна. Тут звучал чей-то другой голос. Я решил свернуть с этой дорожки.

— Как твое пение? — спросил я.

— О, с пением покончено. Я не буду больше петь. — Взгляд Анны улетел за мое плечо, и она

разняла руки.

— Бог с тобой, Анна, почему?

— В общем, — сказала Анна, и опять я почувствовал в ее тоне что-то искусственное, — мне не по душе зарабатывать деньги таким способом. Петь, как я, — это очень уж… — она поискала слова, — неприкрыто. В этом нет правды. Попросту пускаешь в ход свое обаяние, чтобы соблазнять людей.

Я взял ее за плечи и встряхнул.

— Ты сама не веришь в то, что говоришь! — воскликнул я.

— Верю, Джейк! — Анна бросила на меня чуть ли не умоляющий взгляд.

— А театр? — спросил я. — При чем тогда театр?

— Это чистое искусство. Очень простое и очень чистое.

— Анна, кто тебя обработал?

— Джейк, ты всегда был такой. Стоило мне сказать что-нибудь, что тебя удивляло, и ты говорил, что кто-то меня обработал.

К концу нашего разговора она положила руку мне на плечо, так что ей были видны ее часы, и я заметил, что время от времени она скользит по ним взглядом. Это меня взбесило.

— Перестань смотреть на часы! — сказал я. — Ты меня не видела несколько лет. Неужели ты не можешь уделить мне немного времени?

Я догадался, что очень скоро Анна намерена прервать наш tête-à-tête. Встреча наша шла по расписанию, о котором она ни на секунду не забывала. Вся жизнь Анны шла по расписанию; без часов она пропала бы, как монахиня. Я схватил запястье с часами и сжимал, пока она не стала морщиться от боли. Теперь она смотрела на меня пристально, тем ясным, вызывающим взглядом, который я помнил и любил с давних пор. Так мы с минуту глядели друг на друга. Мы хорошо друг друга знали. Я не выпустил ее рук, но ослабил хватку и поцеловал ее. Тело ее опять затвердело, но теперь было так, словно от меня ему передалась какая-то сила, и оно, как жесткая ракета, за которую я цеплялся, стремительно неслось в пространстве. Я целовал ее напрягшуюся шею и плечо.

— Джейк, мне больно, — сказала Анна.

Я отпустил ее и без сил лежал у нее на груди. Она гладила меня по волосам. Мы долго лежали молча. Вселенная отдыхала, как большая птица.

— Сейчас ты скажешь, что мне надо уходить, — сказал я.

— Да. Вернее, мне самой надо уходить. Встань, пожалуйста.

Я поднялся с таким чувством, точно восстал от сна, и посмотрел на Анну. Она лежала среди пестрого хлама, как сказочная принцесса, свалившаяся с трона. Грудь и бедра тонули в шелках. Длинные волосы растрепались. Минуту она лежала неподвижно, и даже по выгнувшейся в подъеме ноге было видно, что она ощущает мой взгляд.

— Где твоя корона? — спросил я.

Анна порылась в груде шелков и извлекла золоченую корону. Мы рассмеялись. Я помог ей встать, и мы смахнули с ее платья крошки мишуры, золотую пыль и блестки.

Пока Анна причесывалась, я бродил по комнате и все разглядывал. Мне сразу стало легко. Я знал, что еще увижусь с Анной.

— Объясни мне, что это за театр, — сказал я. — Кто здесь играет?

— Главным образом любители. Все мои знакомые. Но тут нужна совсем особая техника.

— Да, я это понял.

Анна быстро оглянулась на меня.

— Так ты входил в театр?

— Да, на одну минуту. А разве нельзя? Зрелище

очень внушительное. Это что-то индийское?

— Связь с Индией есть, но по существу это нечто самостоятельное. — Я видел, что Анна думает о другом.

— Вот этот предмет бутафории вам едва ли понадобится, — сказал я, указывая на «гром».

На всякий случай поясню, что «гром» — это тонкий металлический лист величиной в два-три квадратных ярда; если его тряхнуть, он и правда громыхает, как далекие раскаты грома. Я подошел к нему.

— Не трогай! — сказала Анна. — Да, мы его продадим.

— Анна, ты не шутила насчет своего пения?

— Нет, — сказала она. — Это безнравственно. — И опять у меня появилось странное чувство, что я вижу человека в плену у какой-то теории.

— Только очень простые вещи можно выразить без фальши, — добавила она.

— То, что я видел в театре, было не просто.

Анна развела руками.

— Зачем я тебе понадобилась?

Вопрос этот вернул меня на землю. Я ответил осторожно:

— Я хотел тебя видеть. Это ты знаешь. Но, кроме того, я должен решить, где мне жить. Может, ты

мне посоветуешь. Здесь, наверно, мне нельзя поселиться? Где-нибудь на чердаке, например?

Анна поежилась.

— Нет, это невозможно.

Мы глядели друг на друга, быстро соображая.

— Когда я опять тебя увижу? — спросил я.

Лицо Анны стало жестким и отчужденным.

— Джейк, оставь меня на некоторое время в покое. Мне много о чем нужно подумать.

— Мне тоже. Могли бы подумать вместе.

Она улыбнулась бледной улыбкой.

— Если ты мне понадобишься, я тебя позову. Вполне вероятно, что так и будет.

— Надеюсь, — сказал я и записал ей на клочке бумаги адрес Дэйва. — Предупреждаю, что если я не понадоблюсь долго, то явлюсь и без зова.

Анна опять смотрела на часы.

— Можно тебе написать? — спросил я. Опыт говорил мне, что если женщина сколько-нибудь заинтересована в том, чтобы сохранить свою власть над вами, то в этом она не откажет. Это связывает, не компрометируя. Анна, знавшая мое мнение на этот счет, как, впрочем, и насчет почти всех других предметов, внимательно поглядела на меня, и оба мы улыбнулись.

— Ну что ж, — сказала она. — Можешь писать

на адрес театра.

Теперь она, легонько хмурясь, собирала свои вещи. Мне пришло в голову, что она озабочена тем, как бы незаметно выпроводить меня отсюда.

— Мне и сегодня негде спать, — сказал я (первая ложь). — Можно, я переночую здесь?

Анна опять бросила на меня внимательный взгляд, прикидывая, в какой мере я разгадал ее мысли. Помолчав, она сказала:

— Хорошо. И не провожай меня вниз. Только дай мне слово, что не будешь тут рыскать и завтра уйдешь рано утром.

Я дал слово.

— Посоветуй, где мне жить. Анна.

Я подумал, что раз она позволила мне переночевать в театре, то, может быть, смягчится и насчет чердака. Анна прибрала на столе и заперла ящики.

— Вот что, — сказала она. — Толкнись к Сэди. Она уезжает в Штаты, ей нужен кто-нибудь, кто бы мог сторожить квартиру. Может, ты ей подойдешь. Она быстро написала мне адрес.

Я взял его без восторга.

— Сейчас вы с ней в дружбе? — спросил я.

Анна рассмеялась чуть раздраженно.

— Она моя сестра. Мы терпим друг друга. Поче-

му бы тебе вообще ее не навестить, может, что и получится. — И она с сомнением поглядела на меня.

— Ну что ж, давай встретимся завтра и еще обсудим это дело.

Тогда Анна решилась.

— Нет. Сходи повидай Сэди. А сюда не возвращайся, пока я не позову.

Она направилась к двери. Я взял ее за руку и обнял очень нежно. Она тоже крепко меня обняла. Мы расстались.

После того как затворилась дверь, я не услышал ни звука и несколько минут стоял как завороженный. В комнате уже совсем стемнело, а за окнами еще синел летний вечер, в деревьях и на реке дрожа переливались краски. Потом я услышал, как трогается с места машина. Я подошел к окну. Если немного высунуться, виден кусок переулка. Из-за угла мурлыча выплыл роскошный черный «альвис» и пополз к улице. Я подумал, сидит в нем Анна или нет. Сейчас это было мне почти безразлично. Что касается того, как неловко она от меня отделалась, то это было мне не внове. Почти все мои знакомые женщины так поступают, и я уже привык не задавать вопросов ни вслух, ни даже мысленно. Все мы знаем только

кусочки чужих жизней и очень бы удивились, если б могли увидеть все. Я не сомневался, что тут замешан мужчина — с Анной всегда так бывало. Но думать об этом не к спеху.

Хорошо было побыть одному. Я прожил невыносимо насыщенный день и теперь тихо сидел, положив локти на подоконник и глядя в сторону Хэммерсмитского моста. Река, едва слышно журча, уносила последние остатки дневного света и наконец обратилась в черное, невидимое движение. Я перебрал в памяти свидание с Анной. Некоторые ее слова показались мне странными, но не об этом я думал. Я вспоминал ее жесты, и как она нервно брала в руки то шарик, то ожерелье, вспоминал изгиб ее бедра, когда она лежала на полу, седые нити в волосах, усталую шею. Все это вызывало как будто новую любовь, в сто раз более глубокую, чем прежняя. Я был взволнован. И в то же время я думал об этом не без иронии. Я не раз и в прошлом бывал взволнован, и мало что из этого получалось. Твердо я знал одно: что-то осталось неприкосновенным из того, что между нами было; и, конечно же, оттого, что с тех пор прошло много времени, эти остатки сделались тем более драгоценными. Я с известным удовлетворением вспоминал нашу встречу и то, как замечательно

Анна откликалась на прежние знаки.

Теперь на мосту зажглись фонари, и черная река вдалеке впадала в дробящуюся полосу света. Я отвернулся от окна и спотыкаясь добрел до двери. Выключатель щелкнул, и где-то в углу загорелась лампа, прикрытая во много слоев легкими платками. Анна не велела мне рыскать, но запрет был выражен туманно, и я решил, что немного порыскать можно. Мне очень хотелось снова побывать в крошечном зрительном зале, отчасти поэтому я и рискнул попросить у Анны позволения остаться. При тусклом свете я отыскал выключатель на площадке и, закрыв за собой дверь бутафорской, пошел к двери в зал. Я бы не удивился, если бы оказалось, что пантомима продолжается в темноте. Я взялся за ручку, но дверь оказалась заперта. Попробовал остальные двери на площадке, а потом все двери внизу, в холле. К великой моей досаде, все они были заперты. И тогда тишина этого дома стала душить меня, как туман, и внезапно меня объял страх, что сейчас я вернусь наверх и комната с реквизитом тоже окажется запертой. Я бесшумно взбежал по лестнице и ворвался в комнату. Лампа тускло горела, все было как прежде. Я подумал было выйти на улицу и попробовать проникнуть в зал через

боковой вход, но какой-то дух запретил мне покидать пределы дома. Сняв с лампы два-три слоя материи, я оглядел комнату. Сейчас она выглядела еще более неправдоподобно. Я побродил из угла в угол, касаясь тех вещей, которые держала в руках Анна. Взгляд мой упорно тянулся к «грому», меня так и подмывало с разбега ударить по нему кулаком. Я думал о том, какой великолепный шум в нем таится и как я мог бы заполнить им все здание. Я вообразил это так явственно, что чуть не вспотел. Но что-то принуждало меня хранить тишину, я даже ходил на цыпочках.

Спустя какое-то время у меня возникло противное чувство, что на меня смотрят. Я очень остро ощущаю чужой взгляд, и чувство это часто возникает у меня не только среди людей, но и в присутствии мелких животных. Однажды причиной его даже оказался большущий паук, устремивший на меня свои загадочные глаза. По моим наблюдениям, паук — самая мелкая тварь, чей взгляд можно почувствовать. Теперь я стал искать, что же это на меня смотрит. Ничего живого я не обнаружил, но в конце концов набрел на комплект масок, похожих на те, что видел на сцене; раскосые их глаза были скорбно обращены в мою сторону. Я, очевидно, бессозна-

тельно заметил их во время своих странствий по комнате. Теперь я как следует их рассмотрел, и меня поразила пугающая красота рисунка и безмятежность, которую выражали даже самые неприятные из них. Они были вырезаны из легкого дерева — одни в фас, другие в профиль — и слегка подкрашены. Было что-то чуть восточное в их выражении, таившееся, пожалуй, не столько в разрезе глаз, сколько в тонком изгибе рта. Некоторые определенно напомнили мне индийские статуи Будды, когда-то виденные. Все были чуть больше натуральной величины. Смотреть на них было неприятно, и скоро я, нервно поеживаясь, водворил их на место. Они глухо стукнули, когда я выпустил их из рук, и от этого я вздрогнул и заново ощутил тишину. И тут я стал замечать, что комната полным-полна глаз — большие пустые глаза лошади-качалки, глаза-бусинки плюшевых мишек, красные глаза чучела змеи, глаза кукол, уродцев, бибабо. Мне стало жутко. Я снял с лампы остальные платки, но она давала мало света. В дальнем углу что-то мягко соскользнуло вниз. Я сел на пол посреди комнаты, скрестил ноги и постарался подумать о чем-нибудь осязаемом.

Я достал из кармана клочок бумаги, который дала мне Анна. Адрес был Уэлбек-стрит. Я глядел

на него и гадал, намерен ли я постучаться в дверь Сэди, а вернее, суждено ли мне это. По уже упомянутым причинам мне этого не хотелось. Но, с другой стороны, теперь, когда повидаться с ней мне предложила Анна, все выглядело по-иному. Если Анна и Сэди в дружбе, значит, общение с Сэди — один из способов не терять связи с Анной. Кроме того, мне уже становилось любопытно, как Сэди меня примет. И наконец, мало кто так свободен от земного тщеславия, чтобы, при прочих равных условиях, отказаться от дружеской встречи с женщиной, чье лицо красуется по всему Лондону на афишах в двенадцать футов высотой. Потом я подумал, как было бы здорово, если бы Сэди в самом деле уехала и оставила меня хозяином роскошной бесплатной квартиры на центральной улице. Перспектива была так заманчива, что ради нее стоило рискнуть нарваться на отказ. Я уже начинал верить, что хотя бы расследую положение на Уэлбек-стрит.

Когда я чисто индуктивным путем достиг такого вывода относительно своих ближайших шагов, мне стало легче и сразу захотелось спать. Пол был так загромождeн, что пришлось расчищать себе место. Вскоре показался кусок закапанного белого ковра. Тогда я стал искать, что бы упо-

требить вместо одеяла. В тканях недостатка не было. В конце концов я остановил свой выбор на шкуре медведя, с мордой и когтями. Свет я не стал выключать, но опять накинул на лампу тонкие платки, так что она еле светилась. Мне не улыбалось проснуться среди ночи и оказаться в такой комнате одному в кромешной тьме. Потом я сунул руки и ноги в медвежьи лапы, а огромную оскаленную морду опустил себе на голову. Получился уютный спальный мешок. Я еще немножко подумал об Анне и о том, что она, черт возьми, затеяла. Нетрудно было поверить, что этот театр — ее идея; но тут явно поработала и еще чья-то мысль, и временами Анна, несомненно, говорила с чужих слов. И еще я подивился, откуда у нее взялись деньги. Наконец я зевнул и разлегся поудобнее. Подушкой мне служила восточная шаль. Какие-то мягкие предметы упали мне на ноги. Потом наступила тишина. Сон никогда мне не изменяет и, если позвать его, не заставляет себя долго ждать. Я уснул почти мгновенно.

Глава 4

На следующее утро, часов в десять, я шел по Уэлбек-стрит. Настроение у меня было скверное. При свете дня затея казалась куда менее привлекательной. Я чувствовал, что, получив щелчок от кинозвезды, надолго потеряю душевное равновесие. Но поскольку решение было принято, не выполнить его было нельзя. Этим методом я уже часто разрешал трудные проблемы. На первой стадии я рассматриваю тот или иной шаг как чистую гипотезу, а на второй уже считаю первую стадию твердым решением, от которого нельзя отступаться. Рекомендую эту технику всем, кому решения даются с известным трудом. Меня соблазняло вернуться в театр и попробовать еще раз увидеть Анну, но я боялся ее обидеть. Таким образом, оставалось одно — повидать Сэди и покончить с этим.

Квартира Сэди была на четвертом этаже, дверь стояла открытой. Появилась уборщица и сказала, что мисс Квентин нет дома. Затем эта простая душа сообщила мне, что мисс Квентин у парикмахера, и назвала модное заведение в Мэйфэре.

(Из предосторожности я помянул, что прихожусь мисс Квентин родней.) Я поблагодарил ее и зашагал обратно к Оксфорд-стрит. Мне уже приходилось навещать женщин в парикмахерских, и идея эта меня не страшила. Более того, женщины, по моим наблюдениям, особенно восприимчивы и милосердны, когда навещаешь их в парикмахерской, может быть потому, что им приятно демонстрировать плененного представителя мужской половины рода человеческого стольким другим женщинам в минуту, когда те, бедняжки, не имеют своих поклонников при себе. Однако, чтобы играть эту роль, нужно выглядеть прилично, и я первым делом пошел побриться. Затем я купил себе на Оксфорд-стрит новый галстук, а старый выбросил. Поднимаясь по благоухающей парфюмерией лестнице парикмахерской, я мельком увидел себя в зеркале и решил, что вполне сойду за интересного мужчину.

Дамские парикмахерские подчинены некоему неисповедимому закону природы, гласящему, что в этой сфере в отличие от других чем дороже фирма, тем больше клиентки должны быть на виду. Какой-нибудь продавщице в Патни могут сделать прическу в уединении закрытой портьерами кабинки, но богатые женщины в

Мэйфэре вынуждены сидеть рядами и подвергаться преображению на глазах друг у друга. Я очутился в огромной комнате, где множество изящных головок находились в различных стадиях сборки. Передо мной тянулся ряд нарядно одетых спин, и, оглядывая их в поисках Сэди, я чувствовал, что за мной наблюдают из десятка зеркал, разделенных лампами под розовыми колпачками. Сперва я ее не нашел. Я двинулся вдоль ряда, заглядывая в каждое зеркало, и то молодые, то старые лица встречали мой взгляд из-под завитых и туго уложенных волос. В каждой паре глаз читалось любопытство, так что я почувствовал себя принцем из сказки. Я был рад, что догадался потратиться на новый галстук. В конце ряда несколько голов было прикрыто урчащими электрическими сушилками. И здесь-то наконец я увидел в зеркале глаза, которые могли принадлежать только Сэди.

Я остановился и положил руки на спинку стула. Так я постоял, серьезно глядя в эти глаза, пока в ответном взгляде их обладательницы равнодушие не сменилось сначала враждебностью, а затем проблеском узнавания.

Сэди чуть взвизгнула, потом крикнула: «Джейк!»

Я чувствовал, что на нас смотрят. Я уже не жалел, что пришел сюда.

— Хэлло, Сэди! — сказал я, и в моей радостной улыбке не было ни капли притворства.

— Золото мое! — сказала Сэди. — Я тебя сто лет не видела. Вот хорошо-то! Ты меня искал?

Я сказал, что да, принес себе стул и уселся у нее за плечом. Мы улыбались друг другу в зеркале. Я решил, что мы интересная пара. Сэди выглядела прелестно, хотя волосы у нее и были стянуты сеткой; она ничуть не постарела, скорее наоборот. Даже с поправкой на розовые абажуры цвет лица у нее был безупречный, а карие глаза так и сверкали. Я невольно положил руку на ее плечо.

— Дуся ты мой! — сказала Сэди. — Что за проделки у тебя на уме? Расскажи мне все!

В ее голосе и манере была аффектация — это было что-то мне новое. И говорила она во весь голос и как-то необычайно звонко, так что каждое слово эхом отдавалось по всей комнате. Через минуту я нашел этому объяснение: оглушенная урчанием сушилки, она сама не понимала, как громко говорит.

Я ответил, тоже повысив голос:

— Да что, занимаюсь своей писаниной. Все книги, книги. Сейчас у меня их начато штуки три. От

издателей просто отбою нет.

— Ты всегда был такой умный, Джейк! — восхищенно прокричала Сэди.

Если не считать шепота мастеров, в огромной комнате царило молчание, и я чувствовал, как все уши жадно впитывают наш разговор. Кто такая Сэди, было известно здесь всем, в этом я не сомневался, и решил насладиться нашей беседой в полной мере.

— Ну как тебе живется? — спросил я.

— Скука смертная, — отвечала Сэди. — Работа просто выматывает. Вздохнуть некогда — с раннего утра до поздней ночи. Еле вырвалась сюда, чтобы хоть причесаться спокойно. С нашим студийным парикмахером я поругалась. Я так устала, что ругаюсь со всеми подряд. — И она одарила меня обольстительной улыбкой.

— Когда ты могла бы со мной пообедать, Сэди?

— Ох, миленький, я законтрактована на много дней вперед. Даже сюда за мной приедут. Ты как-нибудь заходи выпить ко мне домой.

Я быстро кое-что прикинул. Очевидно, дни у Сэди заполнены до отказа, и, возможно, другого случая поговорить о деле не представится. Так что если уж поднимать щекотливый вопрос, то лучше не медлить.

— Сэди, послушай, — сказал я, понизив голос.

— Что, миленький? — прокричала Сэди из-под сушилки.

— Послушай! — прокричал и я. — Говорят, ты хочешь на время отъезда сдать свою квартиру!

Перед столь многочисленной публикой я не решился задать вопрос менее деликатно. Я надеялся, что у Сэди хватит такта ответить как нужно.

Ответная реплика Сэди превзошла все мои ожидания.

— И не подумаю, — сказала она. — Мне нужен кто-нибудь стеречь квартиру, и даже более того — мне нужен телохранитель, так что можешь приступать хоть сегодня.

— Что ж, с удовольствием. У меня как раз истек срок аренды, и я, можно сказать, бездомный бродяга.

— Тогда переезжай немедленно! — заорала Сэди. — Ты меня страшно выручишь, если просто побудешь у меня немножко. Понимаешь, меня сейчас преследует совершенно немыслимый человек.

Это звучало интригующе. Чувствовалось, что окружавшие нас уши навострились. Я засмеялся, как истый мужчина.

— Ну, кулаки-то у меня крепкие. Я сумею навести в этом деле порядок. Только с условием, чтобы я мог и поработать. — Мне уже мерещилось что-то даже лучшее, чем Эрлс-Корт-роуд.

— Дорогой мой, квартира необъятная. Можешь занять хоть четыре комнаты. Просто мне будет спокойнее, если ты поживешь там до моего отъезда. Этот тип влюблен в меня до безумия. Он врывается во всякое время дня и ночи, а не то звонит по телефону. Просто никакие нервы не выдерживают.

— Меня ты, надеюсь, не будешь бояться? — спросил я, двусмысленно ухмыляясь ей в зеркало.

Сэди хохотала долго и звонко.

— Ну что ты, Джейк, золотко, ты же вполне безобидный! — выкрикнула она.

Такой поворот мне не понравился. Краешком глаза я заметил, что несколько нарядных женщин вытянули шею, стараясь меня разглядеть. Я решил, что пора переменить тему.

— И кто же эта невыносимая личность? — спросил я.

— В том-то и ужас, что это сам шеф, Белфаундер. Так что представляешь, как это все неудобно. Я просто сама не своя.

При звуке этого имени я чуть не свалился со

стула. Комната пошла кругами, и Сэди я различал как сквозь туман. Это в корне меняло дело. Отчаянным усилием я сохранил спокойное выражение лица, но желудок мой бунтовал, как бешеная кошка. Мне хотелось одного — уйти и обдумать эту поразительную новость.

— А ты уверена? — спросил я Сэди.

— Ну сам посуди, неужели я не знаю, у кого работаю?

— Я не о том. Ты уверена, что он в тебя влюблен?

— Влюблен до потери сознания, — сказала Сэди. — А кстати, как ты узнал, что мне нужен сторож?

— Анна сказала, — ответил я. Теперь мне было не до уверток.

Глаза Сэди в зеркале холодно блеснули.

— Ты опять видаешься с Анной?

Я терпеть не могу такие намеки.

— Ты ведь знаешь, мы с Анной старые друзья.

— Да, но ты же не видел ее бог знает сколько времени, разве не так? — спросила Сэди громче прежнего.

Разговор наш стал мне решительно неприятен. Я не чаял, как уйти.

— Я довольно долго прожил во Франции.

Сэди едва ли была подробно осведомлена о жизни своей сестры. Сейчас лицо ее стало сосредоточенно-злобным. Она сделалась похожа на красивую змею; и у меня мелькнула странная фантазия, что, вздумай я заглянуть под сушилку, не на отражение, а на самое лицо, я увидел бы страшную старую ведьму.

— Ну что ж, приходи во вторник пораньше, — сказала Сэди. — Я введу тебя во владение. А насчет обязанностей телохранителя — это я серьезно.

— С восторгом, моя дорогая, — произнес я, как автомат. — Приду непременно. — И я поднялся. — А сейчас мне нужно повидаться с издателем.

Мы обменялись улыбками, и я зашагал к двери, провожаемый множеством восхищенных женских глаз.

* * *

Я еще не упоминал о том, что знаком с Белфаундером. Поскольку мои отношения с Хьюго — главная тема этой книги, не было смысла забегать вперед. Вы еще услышите об этом более чем достаточно. Для начала я, пожалуй, сообщу вам кое-что о самом Хьюго, а потом расскажу, при каких обстоятельствах мы познакомились, и немножко — о ранней поре нашей дружбы.

Белфаундер — не настоящая его фамилия. Родители его были немцы, и фамилию Белфаундер его отец принял, когда переселился в Англию. Он вычитал ее как будто бы на надгробном камне сельского кладбища в Глостершире и решил, что она подойдет для деловой карьеры. Так оно, видимо, и было, потому что, когда пришло время, Хьюго получил в наследство процветающий военный завод и фирму «Белфаундер и Берман» по производству стрелкового оружия. К несчастью для фирмы, Хьюго был в то время заядлым пацифистом, и в результате различных пертурбаций Берман вышел из дела, а у Хьюго осталось небольшое предприятие, получившее впоследствии вывеску — «Акц. о-во Белфаундер — Ракеты и фейерверки». Он ухитрился превратить военный завод в пиротехнический и несколько лет занимался производством ракет, сигнальных патронов Вери, динамита для бытовых нужд и всевозможных фейерверков.

Как я уже сказал, поначалу предприятие было скромное. Но деньги как-то всегда липли к Хьюго, он просто не мог их не наживать; и вскоре он уже был очень богат и процветал почти так же, как в свое время его отец. (Процветать *совсем* так же, как фабрикант оружия, не дано никому). Однако

жил он всегда просто и в ту пору, когда я с ним познакомился, периодически работал художником на собственной фабрике. Специальностью его были композиции. Как вы, вероятно, знаете, создание фейерверка-композиции — работа чрезвычайно искусная, требующая и физической сноровки, и творческой изобретательности. Своеобразные тонкости этого ремесла увлекали и вдохновляли Хьюго: точнейшее соотношение частей, контрастные эффекты взрыва и цвета, слияние пиротехнических стилей, методы сочетания силы блеска и продолжительности, извечный вопрос концовки. Хьюго смотрел на свои композиции как на симфонию; фейерверки-картины он считая вульгарными и от души презирал. «Фейерверк — это нечто sui generis,[7] — сказал он мне однажды. — Если уж сравнивать его с другим искусством, так разве что с музыкой».

Фейерверки таили в себе для Хьюго неизъяснимую прелесть. Мне кажется, его больше всего пленяла их недолговечность. Помню, он пытался внушить мне, что фейерверк — это что-то очень *честное*. Всякому ясно, что это всего лишь ми-

[7] Примечания: 7
Своего рода, стоящее особняком *(лат.)*.

молетная вспышка красоты, от которой через минуту ничего не останется. «В сущности, таково же всякое искусство, — говорил Хьюго, только мы не любим признавать это. Леонардо это понимал. Он нарочно создал свою „Тайную вечерю“ такой непрочной». По теории Хьюго, человек, наслаждаясь фейерверками, учится наслаждаться любым земным великолепием. «Получаешь за свои деньги удовольствие и в точности знаешь, когда оно кончится, — говорил Хьюго. — О фейерверках никто не болтает профессиональной чепухи».

К сожалению, он ошибался, и его теории оказались гибельны для его же мастерства. На композиции Хьюго появился огромный спрос. Без них не обходился ни один шикарный вечер в загородном доме, ни одно общественное празднество. Их даже вывозили в Америку. А потом за дело взялись газеты стали называть их произведениями искусства и делить на стили. Отвращение, которое испытывал от этого Хьюго, не давало ему работать. Вскоре он прямо-таки возненавидел свои композиции, а еще через некоторое время совсем их забросил.

Своим знакомством с Хьюго я обязан насморку. У меня это был период острого безденежья, и

мне приходилось очень и очень туго, пока я не обнаружил некое до смешного великодушное учреждение, где я мог получить бесплатную квартиру и стол в обмен на то, что предоставлял себя в качестве морской свинки для опыта по лечению насморка. Опыт проводился в прелестном загородном доме, где можно было оставаться сколько угодно времени, подвергаясь различным видам заражения и лечения. Насморк я не люблю, а из способов лечения, которые на мне пробовали, ни один как будто не дал хороших результатов; но, с другой стороны, я жил на всем готовом и работать с насморком вполне можно привыкнуть. Это даже неплохая тренировка для жизни в более нормальных условиях. В общем, я там писал довольно много, во всяком случае до того, как появился Хьюго.

Руководители этого благотворительного учреждения рекомендовали своим жертвам селиться парами, поскольку, как было указано в проспекте, лишь немногие люди способны переносить полное одиночество. Я и сам, как вы знаете, не люблю одиночества, но после нескольких попыток пришел к выводу, что общество болтливых дураков еще хуже, и, возвратившись под эту отрадную сень на второй срок, попросил дать

мне отдельную комнату. В самом деле, такая изоляция, комфортабельная и не слишком строгая, как нельзя лучше меня устраивала. Мне пошли навстречу; но только что я втянулся в работу, а заодно и в борьбу с особенно жестоким насморком, как мне объявили, что в доме не хватает мест и придется мне все-таки принять к себе сожителя. Выбора не было, я согласился и, надо сказать, очень неласково посмотрел на огромного лохматого субъекта, который ввалился в комнату, положил вещи на кровать и уселся за второй стол. Я что-то сердито промычал в знак приветствия, ясно давая понять, что с болтунами не знаюсь. Еще больше меня обозлило то обстоятельство, что меня только заразили, а сосед получил и насморк, и лечение, так что, пока я чихал, задыхался и дюжинами изводил бумажные носовые платки, он полностью сохранял человеческое достоинство и казался воплощением здоровья. Я так и не уяснил себе, по какому принципу проводился опыт, но насморков мне, сколько помнится, всегда доставалось больше нормы.

Я боялся, что мой сосед окажется болтуном, но вскоре выяснилось, что опасения мои напрасны. В первые два дня мы не обменялись ни единым словом. Казалось, он вообще не замечает моего

присутствия. Он не писал и не читал, а проводил почти все время, сидя у стола и глядя на зеленые кусты и лужайки за окном. Иногда он что-то бормотал про себя или вполголоса произносил какую-нибудь фразу. У него была привычка кусать ногти, а однажды он достал перочинный нож и до тех пор ковырял им мебель, пока один из служителей не отобрал у него это орудие. Сперва я заподозрил, что он слегка помешан. На второй день я даже стал его побаиваться. Он был рослый и толстый, с широченными плечами и огромными ручищами. Массивная голова была обычно втянута в плечи, а задумчивый взгляд все прослеживал в комнате или за окном воображаемую линию, не соединявшую, казалось, никаких предметов, попадавших в его поле зрения. У него были темные спутанные волосы. Большой бесформенный рот время от времени раскрывался, чтобы выпустить какие-то нечленораздельные звуки. Изредка он начинал что-то напевать себе под нос, но тотчас умолкал — это был единственный признак того, что он ощущает мое присутствие.

К концу второго дня я почувствовал, что работать больше не в силах. Снедаемый одновременно раздражением и любопытством, я тоже стал смотреть в окно, сморкаясь и придумывая, как бы

установить человеческое общение, без которого просто невозможно было жить дальше. В конце концов я без всяких дипломатических уловок спросил, как его зовут. Когда он прибыл, нас представили друг другу, но я не слушал и не запомнил. Он обратил на меня взгляд очень добрых темных глаз и назвался: «Хьюго Белфаундер». Потом добавил: «Я думал, вам не хочется разговаривать». Я сказал, что, напротив, люблю поговорить, но в день его приезда был поглощен одним вопросом и прошу извинить меня, если вел себя грубо. Когда он заговорил, у меня создалось впечатление, что он не только вполне нормален, но и очень умен; и я почти машинально стал складывать свои бумаги. Мне уже было ясно, что работать я больше не буду, я оказался один на один с интереснейшим человеком.

С этой минуты у нас с Хьюго начался разговор, подобного которому я не мог себе и представить. Мы быстро рассказали друг другу свои биографии, причем я, во всяком случае, проявил несвойственную мне правдивость. А потом мы стали обмениваться мнениями об искусстве, политике, литературе, истории, религии, науке, обществе и вопросах пола. Мы говорили не смолкая весь день, часто до поздней ночи. Иногда мы

так орали и смеялись, что получали замечания от начальства, а один раз нас пригрозили расселить. В разгар нашей беседы очередной курс эксперимента закончился, но мы тут же завербовались на следующий. В конце концов у нас завязался спор, тема которого имеет отношение к настоящей повести.

Хьюго часто называют идеалистом. Я скорее назвал бы его теоретиком, хотя и очень своеобразным. У него не было ни практических интересов, ни нравственной серьезности, присущих тем, на кого обычно наклеивают ярлык «идеалист». Это был самый объективный и беспристрастный человек, какого я встречал, но объективность его была не столько добродетелью, сколько врожденным даром, и сам он совершенно ее не сознавал. Выражалась она даже в его голосе и манере держаться. Ясно помню его таким, каким часто видел во время наших бесед, когда он, наклонившись вперед и кусая ногти, возражал на какую-нибудь мою непродуманную сентенцию. Он был медлительный спорщик. Медленно раскрывал рот, опять закрывал его, опять раскрывал и наконец решался. «Вы хотите сказать…» — начинал он и пересказывал мои слова конкретно и просто, после чего моя мысль либо оказывалась много

понятнее и глубже, либо оборачивалась полнейшей чепухой. Я не хочу сказать, что Хьюго всегда был прав. Иногда он совершенно не понимал меня. Довольно скоро я обнаружил, что лучше него осведомлен почти обо всех предметах, которых мы касались. Но когда мы, с его точки зрения, заходили в тупик, он очень быстро замечал это и говорил: «На это я ничего не могу сказать» или «Боюсь, тут я вас совсем, совсем не понимаю», причем говорил так решительно, что тема отпадала. И направлял разговор с начала до конца не я, а Хьюго.

Его интересовало все на свете, интересовала теория всего на свете, но, как я уже сказал, очень своеобразно. У него были теории на все случаи, а одной, основной теории не было. Я не встречал человека, столь начисто лишенного того, что можно было бы назвать философским мировоззрением. Скорее, пожалуй, он старался докопаться до сути всего, что попадалось ему на пути, и всякий раз подходил к делу с абсолютно свежим восприятием. Следствия этого бывали поразительны. Помню один наш разговор — о переводе. Хьюго о переводе понятия не имел, но, узнав, что я переводчик, пожелал понять, что это такое. Посыпались вопросы: что значит:

вы обдумываете смысл по-французски? Откуда вы знаете, что думаете по-французски? Если вы представляете себе какую-то картину, откуда вы знаете, что она французская? Или вы мысленно произносите французские слова? Что вы видите, когда видите, что перевод верен? Может, вы воображаете, что́ подумал бы кто-нибудь другой, увидев его в первый раз? Или это просто такое ощущение? Какое именно? Вы не можете описать его подробно? И так далее, и так далее, с невообразимым терпением. Иногда это выводило меня из себя. Самая простая, на мой взгляд, фраза под упорным нажимом Хьюго с его вечными «Вы хотите сказать…» становилась темным, загадочным изречением, которого я уже и сам не понимал. Процесс перевода, раньше казавшийся мне яснее ясного, представлялся теперь столь сложным и необычайным, что оставалось только диву даваться, как кто-либо вообще может его осуществить. Но в то же время расспросы Хьюго почти всегда проливали новый свет на те предметы, которых он касался. Для Хьюго все было удивительно, чудесно, замысловато и таинственно. Во время наших разговоров я точно заново увидел весь мир.

Вначале я все пытался как-то «определить»

Хьюго. Раза два я прямо спросил его, придерживается ли он той или иной общей теории, но он всегда отрицал это с таким видом, словно обижен проявлением дурного вкуса. Позднее мне и самому стало казаться, что задавать Хьюго такие вопросы значит игнорировать его неповторимую умственную и нравственную сущность. Я понял, что никаких общих теорий у него нет. Все его теории, если можно их так назвать, были частные. И все же мне думалось, что при известном усилии я сумею проникнуть в средоточие его мыслей, так что я с особенной горячностью обсуждал с ним уже не политику, искусство или вопросы пола, а особенности его подхода к вопросам пола, искусству или политике. Наконец у нас состоялся-таки разговор, затронувший, как мне казалось, какую-то центральную мысль в сознании Хьюго, если применительно к сознанию Хьюго можно говорить о чем-то столь конкретном, как центр. Сам он, вероятно, стал бы это отрицать; вернее, он бы просто не понял, как мысли можно разделить на центральные и боковые. Все началось со спора о Прусте. От Пруста мы перешли к обсуждению того, что значит описать какое-то чувство или душевное состояние. Хьюго считал, что в этом нелегко разобраться (как, впрочем, и во всем

остальном).

— Описывать человеческие чувства как-то непорядочно, — сказал Хьюго. Все эти описания такие эффектные…

— А чем это плохо? — спросил я.

— Тем, что, значит: с самого начала допущена фальшь. Если я постфактум говорю, что я испытывал то-то и то-то, скажем, что мною владело предчувствие, это просто неправда.

— То есть как?

— Да я этого не испытывал. В то время я не чувствовал ничего подобного. Это я только потом говорю.

— Но если очень постараться быть точным?

— Это невозможно, — сказал Хьюго. — Единственный выход — молчать. Стоит мне начать что-то описывать, и я пропал. Вот попробуйте что-нибудь описать, хотя бы эту нашу беседу, и вы увидите, что невольно начнете…

— Приукрашивать ее? — подсказал я.

— Тут дело серьезнее. Самый язык не даст вам изобразить ее такой, какой она была.

— Ну а если описать ее тут же, одновременно?

— Как вы не понимаете, — сказал Хьюго, — тогда-то и обнаружится обман. Нельзя дать одновременное описание, не понимая, что оно

неверно. В то время можно было в лучшем случае сказать что-нибудь насчет того, что у вас билось сердце. Но сказать, что вами владело предчувствие, — это только попытка произвести впечатление, это погоня за эффектом, это ложь.

Тут и я призадумался. Я чувствовал в рассуждениях Хьюго какую-то ошибку, но в чем она, не мог понять. Мы еще немного поспорили, потом я сказал:

— Но тогда и все, что мы говорим, своего рода ложь, кроме разве таких вещей, как «Передайте мне джем» или «На крыше сидит кошка».

Хьюго ответил не сразу.

— Пожалуй, что и так, — произнес он серьезно.

— Значит, разговаривать не следует, — сказал я.

— Пожалуй, что и так, — отозвался Хьюго без тени улыбки. А потом я поймал его взгляд, и мы покатились со смеху, вспомнив, что много дней подряд только и делали, что разговаривали. — Это колоссально! — сказал Хьюго. — Конечно, разговаривать приходится. Но, — и он опять посерьезнел, — на потребность общения делают слишком много скидок.

— Это как же понимать?

— Когда я говорю с вами, даже сейчас, я все

время говорю не *в точности* то, что думаю, а то, что может вас заинтересовать и вызвать отклик. Даже между нами это так, а уж там, где для обмана есть более сильные побуждения, — и подавно. К этому так привыкаешь, что уже перестаешь замечать. Да что там, язык вообще машина для изготовления фальши.

— А что бы случилось, если бы все стали говорить правду? — спросил я. По-вашему, это возможно?

— Я по себе знаю, — сказал Хьюго, — что, когда я действительно говорю правду, слова слетают с моих губ мертвыми и на лице моего собеседника не отражается абсолютно ничего.

— Значит, мы никогда по-настоящему не общаемся?

— Как вам сказать. *Поступки*, по-моему, не лгут.

Чтобы достигнуть этой точки, нам потребовалось пять или шесть курсов лечения. Мы приспособились болеть насморком по очереди, чтобы ослабление умственной деятельности, буде он таковое вызывает, распределялось поровну. На этом настоял Хьюго; сам я охотно взял бы все насморки на себя — отчасти потому, что в мое отношение к Хьюго вкралось желание опекать

его, отчасти же потому, что Хьюго, когда у него насморк, производит невыносимый шум. Не знаю, почему нам не пришло в голову, что продолжать наши беседы мы можем и за стенами насморочного заведения. Возможно, мы боялись сделать перерыв. Трудно сказать, когда мы догадались бы выехать по собственному почину, но в один прекрасный день нам предложили освободить палату — начальство опасалось, как бы дальнейшие насморки вконец не подорвали наше здоровье.

К этому времени я совсем подпал под обаяние Хьюго. Сам он, видимо, и не замечал, насколько сильно его воздействие на меня. У него не было ни малейшего желания меня переспорить, и хотя он нередко припирал меня к стенке, но делал это как бы невзначай. Не то чтобы я всегда с ним соглашался. Его неспособность понять ту или иную мысль часто меня раздражала. Но самый его способ мышления показал мне, как безнадежно мое видение мира затемнено обобщениями. Я испытывал чувство человека, который, смутно представляя себе, что все цветы более или менее одинаковы, отправился на прогулку с ботаником. Впрочем, это сравнение тоже не подходит к Хьюго, потому что ботаник не только замечает

подробности, но и классифицирует. Хьюго только замечал подробности. Он никогда не классифицировал. Казалось, зрение его обострено до такой степени, что классификация уже немыслима, поскольку каждый предмет видится как единственный и неповторимый. Я чувствовал, что впервые в жизни встретил почти абсолютно правдивого человека, и это, естественно, меня тревожило. И я тем более был склонен ценить в Хьюго духовное благородство, что сам он и в мыслях не приписал бы себе этого свойства.

Когда нас выставили из опытного заведения, мне было негде жить. Хьюго предложил мне жить у него, но тут во мне заговорила жажда независимости. Я чувствовал, что индивидуальность Хьюго с легкостью может поглотить мою, а этого я не хотел, несмотря на все мое восхищение им. Так что от его предложения я отказался. К тому же мне как раз нужно было съездить во Францию повидать Жан-Пьера — он что-то разворчался по поводу одного из переводов, — так что наша беседа на время прервалась. Хьюго опять поступил на свой ракетный завод, погрузился в разработку новых композиций и вообще вернулся к своему лондонскому образу жизни. Его попытки нарушить этот образ жизни всегда

принимали какую-нибудь эксцентричную форму; неумение отдохнуть нормально, с комфортом и затратой больших денег, было единственной сколько-нибудь неврастенической чертой, какую я в нем обнаружил. Вернувшись из Парижа, я снял дешевую комнату в Бэттерси, и наши беседы возобновились. После работы Хьюго встречался со мной на Челсийском мосту, и мы бродили по набережной Челси или заглядывали подряд во все кабаки на Кингс-роуд и говорили, говорили до изнеможения.

Однако незадолго до этого я предпринял один шаг, оказавшийся роковым. Разговор, из которого я выше привел небольшой кусок, так заинтересовал меня, что я кое-что из него записал — просто для памяти. Когда я через некоторое время взглянул на эти заметки, они показались мне очень отрывочными и неполными, и я кое-что к ним добавил, чтобы не забыть. Еще через некоторое время я опять к ним вернулся, и мне показалось, что наш спор в том виде, как он закреплен на бумаге, лишен всякого смысла. Я добавил еще немного, чтобы он стал понятен, все по памяти. И тут, когда я перечел написанное, меня поразило, что это не так уж плохо. Ничего похожего я еще не читал. Я просмотрел текст заново и немножко

причесал его. Как-никак я по натуре писатель, и раз вещь написана, так почему не придать ей приличный вид. Я основательно ее подчистил, а потом начал записывать и предыдущий разговор. Оказалось, что его я помню не так хорошо, поэтому, воссоздавая его, я черпал материал из нескольких разных бесед.

Хьюго я, конечно, об этом не рассказал. К чему — ведь запись я делал только для себя. Правда, в глубине души я знал, что в некотором роде предаю все то, чему я, как мне казалось, научился от Хьюго. Но это меня не остановило. Более того, работа эта приобрела притягательную силу тайного порока. Я уже не расставался с ней. Я расширил ее, включив еще много наших разговоров, причем записывал их не всегда так, как помнил, а сообразуясь с планом всей вещи. Начала вырисовываться целая книга. Я писал ее по-прежнему в форме диалога между двумя лицами, которых назвал Тамарус и Аннандайн. Любопытнее всего, что мне было ясно: эта книга с начала до конца — объективное оправдание позиции Хьюго. Другими словами, она и в самом деле была фальсификацией наших бесед. По сравнению с ними это была претенциозная фальшь. Хотя я и писал ее только для себя, было ясно, что

она пишется ради эффекта, ради впечатления. Самые значительные моменты нашего разговора были те, которые, если бы записать их, прозвучали бы наиболее плоско. Я не мог заставить себя изобразить их с той откровенностью, какой они были отмечены в жизни. Я все время делал их более оформленными и связными. Но хоть я и видел, что получается фальшь, книга от этого нравилась мне не меньше.

А потом я не удержался от искушения и показал ее Дэйву. Я решил, что она должна его заинтересовать. Так и случилось. Он тут же выразил желание обсудить ее со мной. Однако из этого ничего не вышло — оказалось, что я совершенно не способен обсуждать мысли Хьюго с Дэйвом. Как ни волновали меня эти мысли, воспроизвести их в разговоре с другим человеком я не мог. Когда я пытался растолковать какую-нибудь идею Хьюго, она получалась мелкой и ребяческой, а то и просто идиотской, так что я скоро отступился. Тогда Дэйв потерял к книге всякий интерес: для Дэйва истинно и важно только то, что поддается устному обсуждению. Но тем временем он, несмотря на мой запрет, успел показать рукопись нескольким другим людям — он брал ее домой, чтобы дочитать, — и те тоже очень ею заинтересовались.

Зная, как неприятна будет вся эта затея Хьюго, я счел своим долгом умолчать о нем. Дэйву я сказал, что писал книгу как упражнение в диалогическом жанре, отчасти основанное на беседах, которые я в разное время вел с разными людьми. Но теперь в определенном кругу во мне вдруг увидели чуть ли не мудреца, и многие знакомые просили меня дать им рукопись для прочтения. Кое-кому я ее показал и понемногу стал свыкаться с мыслью, что она приобретает читателей. Я не переставал над ней работать и даже дополнял ее новым материалом из текущих разговоров с Хьюго. Дружбу с Хьюго я скрывал от всех моих знакомых. Вначале это объяснялось ревнивым желанием сохранить мою удивительную находку для себя, а позднее также и страхом, как бы Хьюго не обнаружил моего предательства.

Потом разные люди стали уверять меня, что мое сочинение нужно опубликовать. Я только смеялся, но идея эта все же меня привлекала. Сначала так, как может привлекать нечто явно неосуществимое. Поскольку о публикации не могло быть и речи, я чувствовал, что могу без всякого риска потешить свое воображение. Я думал о том, до чего замечательная получилась бы книга — такая оригинальная, такая необычная, такая

вдохновляющая! Забавы ради я придумывал для нее заглавия. Я подолгу сидел, держа рукопись в руках и воображая, что она размножена в тысячу раз. Я все время терзался от страха, как бы не потерять ее, и хотя у меня было напечатано три экземпляра, мне казалось вполне вероятным, что все они могут пропасть, и тогда мой труд погибнет безвозвратно. А это, думалось мне, было бы очень жаль. И вот настал день, когда один издатель прямо предложил мне выпустить книгу в свет.

Я был застигнут врасплох. Никогда еще ни один издатель не обращался ко мне первым, и такая любезность ударила мне в голову. Ведь если книга будет иметь успех — а в этом я не сомневался, — это значительно облегчит мне доступ в литературный мир. Легче сбыть макулатуру, когда тебя знают, чем гениальное произведение, когда твое имя никому не известно. Если мне удастся одним скачком достигнуть славы, моя писательская карьера будет обеспечена. Нет, сказал я себе, об этом даже думать нечего. Не мог я выдавать мысли Хьюго за свои собственные. А главное — не мог я использовать материал, почерпнутый из откровенных разговоров с Хьюго, чтобы предложить публике книгу, которая у са-

мого Хьюго вызвала бы предельное отвращение. Однако беспредметные мечты прежних дней теперь обернулись вполне реальным желанием. Я уже не мог отделаться от сознания, что книга увидит свет. Мне чудилось в этом веление рока. Выходило, что все мои прошлые поступки вели к этой цели. Я вспомнил один пьяный вечер, когда я мысленно пережил все этапы, которые пройдет мой диалог по пути к печатной машине. И теперь в моем воображении идея эта стала такой осязаемой и прочной, что для претворения ее в жизнь требовалось уже совсем немного. Я позвонил издателю домой.

Он знал, что я колеблюсь, и на следующий день с утра явился ко мне с договором, который я и подписал, присовокупив с отчаяния замысловатый росчерк и изнемогая от головной боли. Когда он ушел, я достал рукопись и долго смотрел на нее, как человек смотрит на женщину, ради которой он пожертвовал своей честью. Я озаглавил ее «Молчальник» и добавил авторское предисловие, оговорив в нем, что многими мыслями, содержащимися в книге, я обязан одному другу, чье имя останется неизвестным, так как не имею оснований полагать, что он одобрил бы форму, в которой эти мысли изложены. Потом я отослал

рукопись и предоставил ее своей судьбе.

Пока развертывались эти события, Хьюго начал вкладывать деньги в кино. Сперва им руководили смутные филантропические соображения — ему хотелось поддержать английскую кинематографию. Но потом новое дело затянуло его, и к тому времени, как была основана компания «Баунти — Белфаундер», Хьюго неплохо разбирался в вопросах кино. Надо сказать, что он был отличным дельцом. Он всем внушал доверие, обладал железной выдержкой. «Баунти Белфаундер» быстро пошла в гору. Как вы помните, она пережила экспериментальную стадию, на которую ее, вероятно, вдохновил сам Хьюго, выпустила несколько немых фильмов, из тех, что называли «экспрессионистскими», — однако скоро перешла к самым обычным картинам, лишь изредка отдавая дань модным исканиям. Мне Хьюго мало что рассказывал о своих кинематографических делах, хотя в это время мы виделись довольно часто. По-моему, он немного стыдился своего успеха, Меня же, напротив, такое многообразие его талантов наполняло гордостью, и когда я ходил в кино, то с особенным удовольствием видел на экране, еще до начальных титров, знакомые лондонские шпили и слушал нарастающий звон лондонских

колоколов, пока в кадре медленно возникали слова «Производство Баунти Белфаундер».

Поначалу моя тайная деятельность как будто совсем не отражалась на дружбе с Хьюго. Беседовали мы по-прежнему откровенно и непринужденно, темы наши были неисчерпаемы. Однако по мере того, как книга росла и набиралась сил, она каплю за каплей пила кровь из прежней близости. Она становилась соперницей. То, что сперва казалось невинным suppressio veri,[8] постепенно перерастало в очень злостное suggestio fals.[9] От сознания, что я обманываю Хьюго, мои возражения ему становились фальшивыми даже в вопросах, не связанных с этим частным обманом. Хьюго как будто ничего не замечал, а я по-прежнему наслаждался общением с ним. Но когда я наконец подписал договор и книга ушла к издателю, я почувствовал, что не могу больше смотреть Хьюго в глаза. Через день-другой я привык встречаться с ним даже в этих условиях, но над нашими встречами нависла огромная печаль. Я знал, что нашей дружбе пришел конец.

Я спрашивал себя, решусь ли я, хотя бы теперь,

---

[8] Примечания: 8
Замалчивание правды *(лат.)*.

[9] Примечания: 9
Утверждение лжи *(лат.)*.

открыть Хьюго правду. Несколько раз я был на грани исповеди. Но всякий раз отступал, убоявшись его презрения и гнева. Больше же всего удерживала меня мысль, что в конце концов еще не поздно все исправить. Я могу попросить издателя расторгнуть договор. Дав отступного, я, вероятно, и сейчас еще могу с ним разделаться. Но при этой мысли у меня больно сжималось сердце. Единственным моим утешением был унылый фатализм: сознание, что у меня все еще есть выбор, что преступления еще можно избежать, было слишком мучительно. Хьюго мог потребовать, чтобы я взял книгу обратно. При одной этой мысли мне становилось так больно, что не было сил хотя бы подготовиться к признанию, и теперь это уже не объяснялось желанием увидеть свой труд напечатанным. Радостное предвкушение этой минуты умерло — его убило горе предстоящей потери Хьюго. Просто меня не могло утешить ничего, кроме твердой уверенности (которую я укреплял в себе день ото дня), что жребий брошен.

Я впал в такую меланхолию, что мне стало страшно трудно разговаривать с Хьюго. Встречаясь с ним, я иногда часами молчал, только вставлял короткие реплики, чтобы он мог го-

ворить дальше. Хьюго заметил мое уныние и стал расспрашивать, в чем дело. Я отговорился недомоганием; и чем больше тревоги и заботы проявлял Хьюго, тем больше я терзался. Он стал присылать мне в подарок фрукты и книги, банки глюкозы и препараты железа, умолял меня показаться врачу; а я к этому времени довел себя до того, что и в самом деле занемог.

В тот день, когда книга должна была появиться в продаже, я не находил себе места. С Хьюго у нас была назначена встреча на вечер — как всегда, на мосту. К полудню я почувствовал, что воплощение моего предательства уже красуется во всех книжных витринах Лондона. Возможно, Хьюго еще не видел книги, но если и не видел, так скоро увидит — он часто заходил в книжные магазины. Наша встреча была назначена на половину шестого. До пяти часов я пил коньяк, а потом отправился в Бэттерси-парк. На меня снизошел покой теперь я знал, что не встречусь с Хьюго ни в этот день, ни когда бы то ни было. Влекомый какой-то трагической силой, я побрел к реке, откуда был виден мост. Хьюго пришел точно в назначенное время и стал ждать. Я сел на скамью и выкурил две сигареты. Хьюго долго ходил взад и вперед. Потом он двинулся по мосту на южный

берег, и я понял, что он пошел ко мне. Я закурил еще одну сигарету. Через полчаса я увидел, как он медленно прошел по мосту в обратную сторону и исчез.

Тогда я вернулся к себе, заявил, что съезжаю, упаковал вещи и тут же укатил в такси. Через неделю мне переслали письмо от Хьюго — он спрашивал, что со мной случилось, и просил ему позвонить. Я не ответил. Хьюго не мастер писать письма, ему вообще трудно выражать свои мысли на бумаге. Больше я писем не получал. Тем временем на «Молчальника» появилось несколько прохладных отзывов. Рецензенты, решив что-то сказать о книге, явно ничего в ней не поняли. Один назвал ее «претенциозной и обскурантистской». А в общем ее почти не заметили. Это был тихий провал. Мало того, что книга не проложила мне пути к литературной славе, — она сильно повредила моей репутации; во мне стали видеть сноба, лишенного юмора и умения заинтересовать, притом как раз в тех кругах, где я давно пытался создать о себе совсем иное представление.

Впрочем, это меня не волновало. Я жаждал одного — забыть обо всей этой истории и окончательно вытравить из себя отношения с Хьюго.

«Молчальник» выдержал всего одно издание, которое частью поступило в дешевую распродажу на Чаринг-Кросс-роуд, а затем, к великому моему облегчению, и вовсе исчезло с прилавков. Я не оставил себе ни одного экземпляра и от души жалел, что нельзя жить так, будто этой проклятой книги никогда и не было. Я перестал ходить в кино, избегал читать те падкие до сенсаций газеты, в которых рекламировалась деятельность Хьюго. В это время возник откуда-то Финн и привязался ко мне. Постепенно жизнь моя пошла по новым рельсам, и яркий образ Хьюго стал тускнеть. Ничто не нарушало этого процесса потускнения до той минуты, когда Сэди так неожиданно упомянула его фамилию в парикмахерской.

Глава 5

Я шел по улице, как в тумане. Потом купил пачку сигарет и завернул в кафе-молочную — обдумать положение. Само упоминание фамилии Хьюго расстроило меня чрезвычайно, и от душевной боли я сначала вообще не мог думать. Первое соображение, которое забрезжило в мозгу сколько-нибудь четко, было то, что, раз в деле замешан Хьюго, для меня отпала всякая возможность принять предложение Сэди и вообще поддерживать с ней какие бы то ни было отношения. Оставалось одно — бежать без оглядки. Но через некоторое время я успокоился настолько, что сложившаяся ситуация показалась мне не лишенной интереса; и чем больше я над ней размышлял, тем больше убеждался: то, что сказала Сэди, просто не могло быть правдой. Я помнил по прежним временам, что Сэди — отчаянная лгунья и всегда готова соврать, если это ей сулит хотя бы временную выгоду. Хьюго влюблен в Сэди? Нет, это и само по себе невероятно. С женщинами Хьюго был не особенно смел, а уж если и восхищался, то женщинами спокойными, домоседками. А чтобы он

вел себя так, как рассказала Сэди, этого я просто не мог себе представить. Что затевается какая-то интрига и Хьюго в ней замешан — это вполне возможно; но дело, скорее, в том, что Сэди добивается чего-то по профессиональной линии, а Хьюго хочет ее обойти. Мир кино был мне совершенно незнаком, но я представлял его себе как рассадник нескончаемых интриг. Возможно даже, что Сэди сама влюблена в Хьюго и пытается как-то его скомпрометировать. Эта гипотеза показалась мне весьма правдоподобной. По тому, как Сэди держалась со мной, я знал, что мужчине, которого она считает умным и образованным, нетрудно поразить ее воображение, и если Хьюго отнюдь не из тех мужчин, что способны влюбиться в Сэди, то Сэди как раз из тех женщин, что способны увлечься Хьюго.

Когда я пришел к этому выводу, мне стало легче. Почему-то мысль, что Хьюго влюблен в Сэди, мне претила. Однако собственный мой курс был мне по-прежнему неясен. Как поступить? Выходило, что принять предложение Сэди — значит примкнуть к вражескому стану в какой-то непонятной мне битве против Хьюго; а принять его с тем, чтобы по возможности помочь Хьюго и перехитрить Сэди, — это отдавало двурушни-

чеством. Лучше всего, конечно, было бы вовсе не ввязываться в эту историю: мне страшно было и подумать о том, с каким лицом я встречу Хьюго, если в том возникнет необходимость. Но, с другой стороны, я как будто уже связал себя обещанием, да и очень уж было удивительно, как все сошлось, и страшно интересно, что будет дальше. Какая-то судьба, с которой мне, в сущности, не хотелось бороться, вела меня обратно к Хьюго.

Я все утро обдумывал положение и так и этак, но ни к какому решению не пришел. Эта неопределенность вконец меня вымотала, и я решил, что, поскольку работать я в таком нервном и возбужденном состоянии все равно не могу, есть смысл сделать в этот день хоть одно нужное дело — взять на Эрлс-Корт-роуд мою радиолу. Тут я с грустью сообразил, что если на Уэлбек-стрит мне, возможно, свернет шею Хьюго, то на Эрлс-Корт-роуд то же, возможно, проделает Святой Сэмми. Я пошел звонить по телефону.

У Мэдж никто не ответил, из чего я заключил, что путь свободен, и поехал туда. Ключ от квартиры у меня еще был, и я вошел, соображая, где лучше поставить пока радиолу — у Дэйва или у миссис Тинкхем. Одним прыжком я влетел в гостиную и тут только увидел, что в дальнем ее

конце стоит мужчина и в руке у него бутылка. Я сразу понял, что передо мной Святой Сэмми. Он был в толстом твидовом костюме и выглядел как человек, выросший на свежем воздухе, но в последнее время слишком привыкший жить при свете электричества. У него было мясистое красное лицо и мощный нос. Волосы чуть начали седеть. Голову он держал высоко, а бутылку — за горлышко. Он окинул меня хладнокровным взглядом, в котором таилась опасность. Разумеется, он знал, кто я такой. Я заколебался. Сейчас у Сэмми шикарная контора, но когда-то он действительно был букмекером на скачках, и ясно, что сладить с ним нелегко. Я прикинул разделявшую нас дистанцию и сделал шаг назад. Потом снял пояс. Пояс был кожаный, крепкий, с тяжелой медной пряжкой. Это была всего лишь демонстрация. Я видел, что так поступают перед дракой гвардейцы — жест очень эффектный. Я не собирался применить пояс как оружие, но решил, что лучше не рисковать: Сэмми, возможно, не знает, что я силен в дзюдо, а мало ли что у него на уме. Я решил, что если он подойдет ко мне, то тут уж я вздую его без дураков, по старинке.

Пока я проделывал эти маневры, лицо Сэмми смягчилось и выразило притворное непонима-

ние.

— Вы что же это делаете, а? — спросил он.

Этого я не ждал и, несколько сбитый с толку, раздраженно ответил:

— А вы разве не хотите драться?

Сэмми уставился на меня, а потом оглушительно расхохотался.

— Ну и ну! — выговорил он наконец. — С чего это вы взяли? Вы, наверно, Донагью, так? Вот, подкрепитесь! — И он с молниеносной быстротой сунул мне в свободную руку стакан виски. Можете вообразить, каким я себя чувствовал болваном — со стаканом в одной руке и поясом в другой.

Немного очухавшись и уповая на то, что слова мои прозвучат не слишком по-идиотски, я сказал:

— Вы, очевидно, Старфилд? — Я совсем растерялся. Видимо, мне самому следовало решить, драться или нет. Мне драться совсем не хотелось, но теперь я, безусловно, предоставил инициативу Сэмми, а это тоже было нежелательно.

— Он самый, — отвечал Старфилд. — А вы — юный Донагью. Ну и кипяток! — И он опять покатился со смеху.

Я отхлебнул виски и надел пояс, притворяясь, наперекор видимости, будто я хозяин положения.

В кино нередко прибегают к таким полезным условностям. Я не спеша оглядел Сэмми с ног до головы. В своем роде он был довольно интересен. В нем чувствовалась грубая сила. Я попытался увидеть его глазами Мэдж. Это оказалось нетрудно. У него были лукавые треугольные голубые глаза, они с усмешкой приметили мой испытующий взгляд и ответили на него с притворной серьезностью.

— Совсем еще молодой! — сказал он. — Вы понимаете, у Мэдж я никак не мог ничего о вас выпытать. — Он долил мой стакан. — Обидно вам небось, что пришлось вытряхиваться, — добавил он без тени сарказма.

— Послушайте, Старфилд, — начал я, — есть вещи, которые джентльмен не может обсуждать спокойно. Хотите драться — пожалуйста. Не хотите — тогда прошу вас замолчать. Я сюда пришел не беседовать с вами, а только взять свои вещи.

Мне было приятно, что я его не боюсь, и я надеялся, что он это чувствует, но тирада моя прозвучала бы внушительнее, если бы я только что не пил его виски. Вдобавок мне пришло в голову, что Сэмми, чего доброго, не признает моих прав на радиолу.

— Гляди, какой недотрога, — сказал Сэмми. — А

вы не спешите. Я хочу на вас посмотреть. Не каждый день встречаешь писателя, да еще такого, чтобы выступал по радио.

Возможно, он надо мной издевался, но мысль, что Сэмми мог усмотреть во мне романтическую фигуру, была так забавна, что я рассмеялся, и Сэмми рассмеялся со мной за компанию. Казалось, он хочет мне понравиться. Я допивал второй стакан виски и уже склонялся к мнению, что в общем Сэмми неплохой малый.

— Где вы познакомились с Мэдж? — спросил я. Не все же ему направлять разговор!

— А она вам как сказала? — отпарировал Сэмми.

— В одиннадцатом автобусе.

Сэмми опять захохотал.

— Еще чего! Буду я ездить в автобусе. Нет, мы познакомились на вечеринке у одних киношников.

Я поднял брови.

— Да, мой милый, она тогда только-только начала там осваиваться. Сэмми погрозил мне пальцем. — Не спускать с них глаз, не то — пиши пропало!

От этой смеси торжества и заботливости мне стало тошно.

— Магдален вольна в своих поступках, — сказал я холодно.

— Кончилась ее воля! — сказал Сэмми.

Меня захлестнула слепая ненависть.

— Слушайте, вы! — сказал я. — Вы правда собираетесь жениться на Мэдж?

Сэмми воспринял это как дружеское недоверие доброжелателя.

— А почему бы и нет? Она что, нехороша собой? Не может составить мне рекламу? Может, у нее деревянная нога? — И он ткнул меня пальцем в ребра, да так, что виски расплескалось на ковер.

— Не в том дело, — сказал я. — Я спрашиваю, вы *намерены* на ней жениться?

— Ах, вас интересуют мои *намерения*? Вот это уже серьезно. Вы бы захватили с собой ружье! — Он снова захохотал. — Ну ладно, будем кончать бутылку.

Я уже успел влить в себя столько виски, что его ответ был мне, в сущности, безразличен.

— Дело ваше, — сказал я.

— А то чье же, — сказал Сэмми, и мы оставили эту тему.

Вдруг Сэмми стал рыться в карманах.

— Я вам хочу кое-что дать, молодой человек, — сказал он. Я настороженно наблюдал за ним. Он

размашистым жестом извлек чековую книжку и снял колпачок с авторучки.

— Как решим, сто фунтов, двести фунтов?

Я только рот раскрыл.

— Зачем?

— Ну, скажем, на расходы по переезду? — И Сэмми подмигнул.

Я оторопел. И вдруг все понял — от меня хотят откупиться! Как могла такая мысль прийти Сэмми в голову? В следующую минуту я решил, что ее вложила туда Магдален, и только ахнул, лишний раз убедившись, сколь извилист ее ум. Видимо, в таком странном обличье представилась ей возможность оказать мне услугу. Я был и оскорблен до глубины души, и до глубины души тронут. Я одарил Сэмми ласковой улыбкой.

— Нет, денег я взять не могу.

— Почему?

— Во-первых, потому, что никаких прав на Мэдж у меня нет. — Я решил, что это соображение будет ему понятнее, и потому с него начал. — А во-вторых, потому, что я не принадлежу к тому общественному кругу, где в такой ситуации берут деньги.

Сэмми поглядел на меня так, словно я был его оппонентом в научном диспуте.

— То вы говорили, что никакой ситуации нет, а теперь говорите, что в такой ситуации не берут денег. Бросьте, мы же взрослые люди. Условности я знаю не хуже вас. Но таким ребятам, как вы, плевать на ваш общественный круг. Такие ребята, как вы, всегда сидят без денег. Если не возьмете, завтра же пожалеете. — И он стал выписывать чек.

От сознания, что его пророчество сбудется, я вложил особенную страсть в свои выкрики: «Нет! Не возьму! Не нужны мне ваши деньги!»

Сэмми поглядел на меня с интересом и состраданием.

— Но я же нанес вам обиду, — попытался он объяснить. — У меня совесть будет нечиста, если вы ничего не возьмете.

Казалось, он серьезно озабочен моей судьбой, и мне стало интересно, что могла наговорить ему Мэдж.

— С чего это вы так уверены, что нанесли мне обиду? — спросил я.

— Ну как же, ведь вам до смерти хотелось жениться на Мэдж.

У меня даже дух захватило. Он поймал меня в ловушку. Не мог я подвести Мэдж, заявив, что и в мыслях не имел на ней жениться, тем более что,

как я теперь сообразил, Мэдж, весьма возможно, использовала мои воображаемые домогательства как рычаг, чтобы ускорить решение Сэмми. Да и все равно он не поверил бы никаким опровержениям.

— Что ж, пожалуй, я и в самом деле обижен, — нехотя допустил я.

— Вот умница! — воскликнул Сэмми в полном восторге. — Ну, значит, двести фунтов — и по рукам.

Что было делать? Своеобразный этический кодекс Сэмми требовал какого-то расчета. Деньги мне были нужны. Что же мешало этой сделке, привлекательной для обеих сторон? Мои принципы? Так неужели нет обходного пути? В подобных затруднениях мне обычно удавалось найти выход.

— Не перебивайте, Старфилд, — сказал я. — Дайте мне подумать. — И скоро меня осенило.

Дневной выпуск «Ивнинг стандард» лежал на полу у наших ног. Я просмотрел последнюю страницу, потом взглянул на часы. Было 2:35. Скачки в тот день проходили в Солсбери и в Ноттингеме.

— Вот что я предлагаю, — сказал я. — Вы скажете мне, какая лошадь придет в трехчасовом заезде, и от моего имени поставите на нее по

телефону через вашу контору или где вы там держите свой скачечный счет. Если выгорит, то на заезд в три тридцать мы поставим побольше и так будем продолжать до вечера. Попробуем выиграть пятьдесят фунтов, а убытки, если будут, вы покроете сами.

— Идет! — заорал Сэмми в полном восторге. — Вот это дело! Только мы выиграем не пятьдесят фунтов, а побольше. Сегодняшнюю программу я знаю как родную дочь. Это просто мечта.

Мы расстелили газету на ковре.

— Трехчасовой в Солсбери возьмет Маленькая Ферма, — сказал Сэмми. — Это верняк, но выдача будет плохая. Мы ее для пущего шика скомбинируем с Грачом Королевы в три тридцать.

Я немного встревожился: мне уже чудилось, что Сэмми рискует моими деньгами.

— А если Грач не придет? — сказал я. — Для меня это не забава, мне нужны деньги. Лучше поставим только на Ферму.

— Вздор. К чему осторожность, когда все ясно? Вы потерпите минутку, я сейчас звякну в контору. Алло! Алло! Это Энди? Говорит Сэм.

— Только не зарывайтесь! — твердил я.

— С моего личного счета, — говорил Сэмми в трубку. — Да, да, игра — это не по моей части. —

То был ответ на какую-то шутку Энди. — Я тут стараюсь для одного приятеля, он мне сослужил хорошую службу.

Сэмми подмигнул мне треугольным глазом и через минуту уже поставил сорок фунтов в дубле — на Маленькую Ферму и Грача Королевы. В ожидании результата мы переключились на Ноттингем. Там в три часа разыгрывался приз.

— Неинтересно, — сказал Сэмми. — Не лошади, а скамейки. Пренебрежем. Зато дальше — программа что надо, Вот мы и закрутим позабавнее, экспресс, сразу в трех заездах. В три тридцать — на Святой Крест, в четыре — на Хэл Эдэр, а в полпятого — на Питера, сына Алекса. Четырехчасовой в Солсбери меня не волнует. А вот в четыре тридцать придет либо Дагенхем, либо Выбор Илен.

— Так ставьте, ради Христа, и на ту, и на эту! — Я налил себе еще виски. По натуре я вовсе не игрок.

Сэмми уже ставил по телефону двадцать фунтов в Ноттингеме. Потом справлялся насчет победителя в трехчасовом заезде в Солсбери. Я сел на пол. Сэмми рисковал потерять больше денег, чем у меня их было в банке. Нервы мои вибрировали, как струны арфы. Я жалел, что

подал ему эту мысль.

— Да не кисните вы! — сказал Сэмми. — Если что и потеряем, так только деньги. А между прочим, знаете, кто выиграл в трехчасовом? Ферма, в двух к одному.

Я еще больше расстроился.

— Но ведь у нас дубль. В дубле нипочем не угадать. Теряешь больше, чем ставил, вот и все.

— Хватит каркать, — сказал Сэмми. — Беспокоиться предоставьте мне. А если нервишки не выдерживают, ступайте посидите на лестнице.

Он подсчитывал на листке бумаги, сколько мы должны выиграть.

— Грач не подведет, — сказал он, — но на всякий случай нас страхует еще последний заезд — в полпятого. На двух так и этак берем двадцать пять фунтов как одну копеечку. Гарантия полная. Бросил и подобрал — вот так-то!

Я же подсчитывал, сколько мы должны потерять, Это было легче, расчет можно было делать в уме. Получилось сто шестьдесят фунтов. Меня подмывало сбежать и оставить его одного расхлебывать кашу, но честь не позволяла дезертировать — идея-то как-никак принадлежала мне. Да и вообще рассуждение это было чисто теоретическое — обилие виски на пустой желу-

док накрепко приковало меня к месту. Ноги были точно набиты соломой. Я застонал. Сэмми уже справлялся о следующем заезде. Грача какая-то другая лошадь обошла на целую голову, но Святой Крест в Ноттингеме победил.

Это было уже совсем скверно.

— Черт вас возьми, — сказал я, — почему вы меня не послушались, когда ставили на Ферму? Теперь сорок фунтов у нас уплыли, и даже на Святом Кресте мы ничего не выиграли.

— Так интересней, — сказал Сэмми. — Поверьте мне, сегодня для вас счастливый день. Сегодня что, среда? Ну так вот, среда — ваш счастливый день. Давно я не играл по-настоящему, уже сколько лет. Даже забыл, как это бывает. — Говоря, он радостно потирал руки, а меня от этого зрелища бросало в дрожь. — Полезно, знаете ли, время от времени встречать таких, как вы, — сказал Сэмми. — Начинаешь понимать, что деньги чего-то стоят.

Когда в четырехчасовом заезде в Ноттингеме первым пришел Хэл Эдэр, по спине и бокам у меня побежали холодные струйки пота. Я не проникся чувством, что это мой счастливый день, и даже Сэмми проявлял признаки нервозности. Он допил виски и заявил, что вся моя беда — в

неправильном отношении к таким вещам.

— Загребать деньги — все равно что укрощать льва, — сказал Сэмми. Нельзя показывать вид, что боишься.

Моя голова, описав несколько плавных кругов, опустилась на ковер и потянула за собою все тело. Я заглянул под тахту.

До меня донесся голос Сэмми, повторявший: «Презренный металл!» — так мужчина поносит женщину, которую сам погубил. К половине пятого-атмосфера накалилась до крайности. Еще до того, как начался заезд, Сэмми повис на телефоне, но я уже не слушал. Я лихорадочно соображал, где взять денег, чтобы расплатиться с ним. Я решил, что, если отдать ему радиолу, мы будем более или менее квиты.

Я расслышал слова Сэмми:

— Ну, Энди, не зевай. У меня тут приятель уже грызет ножки стульев.

Потом Сэмми выругался.

— Что там случилось? — протянул я умирающим голосом.

— Выбор Илен не выпустили, а Дагенхем пришел четвертым.

— А как в Ноттингеме? — спросил я равнодушно.

— Подождите. — И Сэмми опять прилип к телефону. Я стал тихонько закатываться под тахту.

И тут я услышал его крик:

— Есть, черт побери! Говорил же я, что у вас везучая физиономия!

Я выкатился из-под тахты, и торс мой принял вертикальное положение.

— Питер, сын Алекса, девять к двум! — орал Сэмми. — Открывайте новую бутылку, живо!

Мы оба вцепились в бутылку, разбили стакан и уселись на полу, надрываясь от смеха и желая друг другу здоровья. Комната волнами заходила вокруг меня, и я уже плохо представлял себе, что происходит. Сэмми выкрикивал: «Не подкачала старая фирма!», «Попробуй кто сказать, что я не знаю в них толку!» — и опять подсчитывал.

— Вот, — сказал он. — Святой Крест — семь к двум, значит, на Хэл Эдэра ставили девяносто, выдали два к одному, значит, на Питера — сто тридцать пять, выдали девять к двум, итого семьсот двадцать два фунта десять шиллингов. Для таких скачек вполне прилично. Что я вам говорил? Писаниной когда еще столько заработаете, а? — И он помахал бутылкой.

— Минуточку, — сказал я. — Во-первых, сорок фунтов ухнули на Граче, во-вторых, провалился

дубль в Солсбери.

— А-а, бросьте! — сказал Сэмми. — Не забывайте, букмекер каждый день в выигрыше. Потому-то я сегодня и получил такое удовольствие.

— Нет уж, уговор дороже денег! — заорал я. На карту были поставлены остатки моей чести.

Поорав еще немножко, Сэмми согласился.

— Ладно, Донагью. Тогда остается шестьсот тридцать три фунта десять шиллингов. Давайте выпишу чек. Деньги поступят на мой личный счет. — И он опять достал чековую книжку.

Это меня отрезвило. Появилось странное чувство, что все начинается сначала, только теперь Сэмми предлагал мне втрое больше. Сейчас, когда возбуждение улеглось, я просто не мог поверить, что Сэмми достаточно было произнести несколько слов в телефон, чтобы выиграть такую кучу денег.

Я сказал это Сэмми, и он посмеялся надо мной.

— Беда ваша в том, что вы привыкли зарабатывать деньги кровавым потом. Разве так можно? Лечь на диван и свистнуть — они и прибегут.

В конце концов мы решили, что Сэмми пришлет мне чек, когда получит выписку из счета, где будет указан его выигрыш. Это убедит меня в том, что операция вполне реальна. Он долго рас-

пространялся насчет того, какой я порядочный, что доверяю ему, потом я ему дал адрес Дэйва и шатаясь двинулся к двери. Сэмми вызвал мне такси. Он и не думал оспаривать мои права на радиолу — он, кажется, отдал бы мне всю квартиру и помог бы снести ее вниз по лестнице. Радиолу мы поставили рядом с шофером и распростились с громкими изъявлениями самых лучших чувств.

— Славно провели время, — сказал Сэмми. — Надо будет повторить.

Шофер доставил меня на Голдхок-роуд и препроводил вместе с радиолой на этаж Дэйва. Я ввалился в квартиру к Дэйву и Финну, хохоча как безумный. На их вопрос, что со мной, я рассказал, что получил у Сэди должность телохранителя, и, когда я разъяснил, в чем дело, это действительно получилось смешно. О Хьюго и о Сэмми я умолчал. Дэйв отнесся к моим планам саркастически, Финна они заинтересовали. Для Финна я, по-моему, служу неиссякаемым источником интереса. Потом я добрался до постели и заснул мертвецким сном.

Глава 6

В назначенное утро я попал на Уэлбек-стрит примерно в четверть десятого — по дороге туда я еще зашел к миссис Тинкхем за своими рукописями. Дверь была распахнута настежь, в передней металась разъяренная Сэди.

— Слава тебе господи, пришел. Милый мой, когда я говорю «с раннего утра до поздней ночи», это значит с раннего и до поздней. Теперь я из-за тебя опоздала. Ну ладно, не делай жалкое лицо и входи. Ага, бумаги ты запас на целый год. Вот и хорошо, пиши на здоровье. А теперь послушай. Я хочу, чтобы сегодня и завтра ты пробыл здесь *весь день*. Согласен? Мне будет спокойнее, если я буду знать, что здесь все время кто-то есть. Выпивки в доме — залиться, в холодильнике найдешь лососину, малину и прочее. Только, пожалуйста, никого сюда не приглашай. Если позвонит Белфаундер или еще кто-нибудь, скажешь строгим мужским голосом, что меня нет и когда буду неизвестно. Ну вот и умница, вот и милый. А теперь я убегаю.

— Когда ты вернешься? — спросил я, несколько

ошарашенный этим инструктажем.

— Вернусь поздно, ты ложись спать, не жди. Выбирай любую свободную комнату. Постели везде приготовлены. — После этого она меня расцеловала и ушла.

Когда дверь за ней захлопнулась и в большой, залитой солнцем квартире стало тихо, я блаженно потянулся и пошел обозревать свои владения. Ковры, застилавшие паркет — казахские, афганские, кавказские, — заглушали шаги. Красное дерево, палисандр, карельская береза изгибались, тянулись и суживались дорогими отполированными поверхностями. Крошечные изделия из яшмы покоились на белых каминных полках. Камчатные занавески чуть колыхались на летнем ветру. Со времен «сестер Квентин» Сэди прошла долгий и славный путь. Тут и там, под фарфоровыми китайскими зверюшками или французскими пресс-папье, лежали аккуратные стопки писем, газетных вырезок, тысячефранковых банкнот. Я бродил но комнатам, тихонько насвистывая. На низком столике стояло несколько хрустальных графинов с эмалевыми ярлычками на горлышках, а в одном из буфетов я обнаружил множество початых бутылок с хересом, портвейном, вермутом, перно,

джином, виски и коньяком. В кухонном шкафу хранились в изобилии белые и красные столовые вина, в кладовке — разные паштеты, колбасы, консервы из крабов и кур. Я увидел не меньше десяти сортов печенья, но ни признака хлеба. В холодильнике действительно оказались лососина, малина, а также изрядное количество масла, сыра и молока.

Вернувшись в гостиную, я налил себе щедрую порцию итальянского вермута с содовой и бросил в него кусочек льда из холодильника. Взял сигарету из севрского ящичка на золоченых ножках. А потом мягко опустился в глубокое кресло и дал чувству времени замереть в плавном волнообразном движении, которое, казалось, пронизало меня всего подобно вздоху. День был жаркий. В открытые окна струилось далекое прерывистое жужжание Лондона. Голова моя была пуста, руки и ноги отяжелели в приятной истоме. Прошло много времени, прежде чем я потянулся за своими рукописями и начал их сортировать и просматривать. Мысль о Сэди и о недавней суете была уже далеко. Вот она сжалась в булавочную головку и пропала. Я вытянул ноги, собрав в складки чудесный полосатый казахский ковер, золотисто-желтый с полуночно-синим. Если

бы я мог в эту минуту уснуть, мой сон был бы неомраченным отдыхом и покоем. Но я не спал и скоро перестал перебирать написанные от руки и на машинке страницы. Я дал им соскользнуть на пол.

Прошло еще сколько-то времени, и взгляд мой бродил по низкой белой книжной полке в другом конце комнаты. На ней были расставлены фигурки из дрезденского и вустерского фарфора. Я разглядел их, одну за другой, потом стал медленно скользить глазами обратно вдоль верхнего ряда книг. И вдруг я весь сжался и вскочил, словно от удара, а исписанные листы разлетелись во все стороны. Одним прыжком я очутился у полки. Да, в самой ее середине стоял экземпляр «Молчальника». Я не видел этой книги много лет. На ней даже сохранилась суперобложка. Я глядел на нее с отвращением и не мог наглядеться. Потом вытащил ее, мысленно твердя, что глупо так волноваться от новой встречи с этим ничтожным творением; и, крепко держа книгу в руке, я вдруг почувствовал, что отвращение к ней сменяется теплым, покровительственным чувством… и любопытством. Я уселся по-турецки на полу возле шкафа и раскрыл ее.

Всегда бывает странно читать после долгого

перерыва то, что сам написал. Как правило, такое чтение захватывает. Я листал страницы этого своеобразного дневника, и мне казалось, что годы, отделявшие меня от времени его создания, придали ему какую-то самостоятельную жизнь. Все равно как при встрече со взрослым человеком, которого знал ребенком. Не то чтобы книга мне теперь больше нравилась, просто она отделилась от меня; и я подумал, что теперь наконец я, может быть, смогу с ней помириться. Я стал читать наудачу.

ТАМАРУС. Но идеи подобны деньгам. В обращении должна быть какая-то общепринятая монета. Концепции, применяемые для общения, оправдывают их успех.

АННАНДАЙН. Так можно сказать, что рассказ правдив, если достаточное число людей в него верит.

ТАМАРУС. Этого я, конечно, не имел в виду. Если я прибегаю к аналогии или придумываю концепцию, проверка успеха состоит частично в том, удалось ли мне таким способом привлечь внимание к реальным вещам. Любую концепцию можно извратить. Любая фраза *может* выражать ложь. Но самые слова не лгут. Концепция может быть не всеобъемлющей, но она не введет в за-

блуждение, если, употребляя ее, я это оговорю.

АННАНДАЙН. Да, это и есть высокопарная ложь. Произноси лучшую полуправду, какую знаешь, и называй ее ложью, но все же держись за нее. Она останется жить и тогда, когда твои оговорки будут забыты, даже самим тобой.

ТАМАРУС. Но человек должен прожить свою жизнь, а для этого он должен ее понять. Этот процесс называется цивилизацией. То, что ты говоришь, идет вразрез с нашей природой. Мы рациональные животные в том смысле, что мы строим теории.

АННАНДАЙН. Когда ты жил в полную силу, когда больше всего чувствовал себя человеком, помогала тебе какая-нибудь теория? Не в такие ли минуты вещи предстают перед тобой обнаженными? Помогала тебе теория, когда ты сомневался, как поступить? Разве в такие очень простые минуты не рушатся все теории? И разве в такие минуты это не понимаешь особенно ясно?

ТАМАРУС. Мой ответ состоит из двух частей. Во-первых, я могу не думать о теориях, но все же выражать ту или иную из них. Во-вторых, в мире так или иначе есть теории, например политические, и нам приходится о них думать, притом и в такие минуты, когда мы принимаем решение.

АННАНДАЙН. Если «выражать теорию» означает, что кто-то другой может создать теорию на основании твоих поступков, то это, конечно, верно и совершенно неинтересно. А я говорю о подлинном решении в том виде, как мы его переживаем; и здесь движение прочь от теории и обобщений есть движение к правде. Всякое теоретизирование — это бегство. Мы должны руководствоваться самой ситуацией, а каждая ситуация неповторима. В ней заключается нечто такое, к чему мы никогда не можем подойти вплотную, сколько бы ни пробовали описать это словами, сколько бы ни старались забраться под эту сеть.

ТАМАРУС. Допустим, Ну а мой второй пункт?

АННАНДАЙН. Верно, что теории часто входят как составная часть в ситуации, с которыми мы сталкиваемся. То же можно сказать о явной лжи и фантазиях; но заключить из этого следует, что надо уметь различить ложь и бежать ее, а не то, что надо уметь лгать.

ТАМАРУС. Ты за то, чтобы исключить из человеческой жизни всякий разговор, кроме самого простого. Так мы лишили бы себя возможности понимать самих себя и делать жизнь сносной.

АННАНДАЙН. А зачем делать жизнь сносной?

Я знаю, ничто не может утешить или оправдать, кроме рассказа, но этим не снимается то положение, что всякий рассказ — ложь. Только самым великим людям дано говорить и при этом оставаться правдивыми. Смутно это сознает каждый художник; он знает, что любая теория — смерть, а всякое выражение сковано теорией. Только сильнейшие способны разбить эти оковы. Большинство из нас, почти все мы, если и можем достичь правды, то только в молчании. Лишь в молчании человеческий дух прикасается божественного. Древние это понимали. Психее было сказано, что, если она заговорит о своей беременности, ее ребенок будет смертным; если же смолчит, он будет богом.

Я читал очень внимательно. Я и забыл, что сумел в общем недурно возражать Хьюго. Сейчас его доводы казались мне менее убедительными, и тут же пришло в голову несколько возможностей усилить позиции Тамаруса. Ясно, что в ту пору, когда писался этот диалог, я не в меру поддался влиянию Хьюго. Я решил конфисковать книгу, перечитать ее всю от начала до конца и пересмотреть собственные взгляды. У меня даже мелькнула мысль о возможном продолжении. Но через минуту я покачал головой. Оставалось

в силе, что Аннандайн — всего лишь слабая карикатура на Хьюго. Хьюго никогда не употребил бы слов «обобщение» или «теория». Мне удалось передать только бледную тень его рассуждений.

Одновременно с этими мыслями где-то в моем сознании едва слышно журчал ручеек, ручеек воспоминаний. Что это было? Что-то стремилось вспомниться. Я бережно держал книгу в обеих руках и не спешил предаваться смутным грезам в ожидании, пока память прояснится. Смутно я недоумевал, как могла эта книга очутиться у Сэди. Казалось бы, такие вещи не должны ее интересовать. Я заглянул на внутреннюю сторону обложки. Там было написано имя, только не Сэди, а Анны. Секунду я глядел на него, все так же бережно держа книгу перед собой, и вдруг воспоминание, которого я ждал, овладело мной с ураганной силой.

То, о чем пытался напомнить мне прочитанный отрывок диалога, были слова, которые Анна произнесла в театре пантомимы, те слова, за которыми я уловил не ее мысли. Это и были не ее мысли. Это были мысли Хьюго. То был лишь отзвук его мыслей, пародия на них, точно так же, как моя книга была только отзвуком и пародией. Когда я слушал Анну, мне не пришло в голову

связать ее слова с настоящим Хьюго, и, думая о Хьюго, я не вспоминал Анну. Моя собственная жалкая попытка выразить точку зрения Хьюго — вот что внезапно открыло мне источник, откуда и Анна, очевидно, почерпнула принципы, о которых толковала мне и выражением которых был ее театр. Я ни на минуту не подумал, что Анна могла взять свои идеи из моей книги. Чтобы поразить ум столь простого и нефилософского склада, как у Анны, книге недоставало и силы, и чистоты. Сомнений быть не могло. Мысли Анны были попросту выражением Хьюго негодными средствами, как мои мысли были выражением его же совсем иными средствами; и оба эти способа выражения, как ни странно, имели больше общего между собой, чем с оригиналом.

Голова у меня шла кругом. Я поставил книгу обратно и прислонился к полкам. У меня было такое ощущение, будто все становится на свои места, образуя рисунок, который я пока не удосужился разглядеть. Значит, Хьюго знаком с Анной. Это само по себе вполне естественно, поскольку он знает Сэди. Но мысль, что Хьюго знаком с Анной, была для меня новой и очень тревожной. Я всегда старался отгородить от всех ту часть моей жизни, которая касалась Хьюго. С Анной я встретился

раньше, чем расстался с Хьюго, но близко узнал ее уже после этого. В разговорах с ней я смутно упоминал о Белфаундере как о человеке, которого немного знал еще до того, как он стал знаменит. Вероятно, у нее создалось впечатление, что Хьюго перестал со мной знаться. Книгу же я ей никогда не показывал, а если и упоминал о ней, то лишь как о юношеской работе, не представляющей ни малейшего интереса. Я всегда говорил о ней так, будто она была опубликована очень давно и давно забыта.

Вопросы роем жужжали у меня в голове. Когда эта книга попала к Анне? Много ли ей известно о моем предательстве? Что означает театр пантомимы? Какие отношения связывают Хьюго и Анну? Что они могли сказать друг другу обо мне? Тут открывались такие чудовищные возможности, что я ахнул. Внезапно поведение Сэди тоже обрело смысл, и мне стало ясно, что Хьюго влюблен не в Сэди, а в Анну. Хьюго пополнил ряды тех, кому Анна уделяла ровно столько терпимого и нежного внимания, сколько требовалось, чтобы держать их в постоянной лихорадке. И уж скорее Анна была того типа женщина, какой мог увлечься Хьюго. Вот почему Сэди выходит из себя от ревности, вот откуда, возможно, и та враж-

дебность, которую Хьюго пытается побороть, а я, видимо, призван каким-то образом поддерживать. А может быть, Уэлбек-стрит интересует Хьюго просто потому, что он надеется застать там Анну. В общем, вариантов сколько угодно.

Теперь объясняется и театр пантомимы. Это, безусловно, какая-нибудь фантазия Хьюго, и для осуществления ее он завербовал Анну, возможно, против ее воли. Если она по ходу дела нахваталась его мыслей, так это вполне естественно. Анна впечатлительна, а Хьюго — яркая личность. Возможно, даже и так: театр для того и предназначался, чтобы привлечь и увлечь Анну, а затем стать для нее золотой клеткой. Мне вспомнился немой экспрессионизм ранних фильмов Хьюго. Допустим, что безмолвная чистота пантомимы прочно завладела его душой. Но самый-то театр во всей своей прелести был домом для Анны, домом, который Хьюго построил и в котором ей уготована была роль королевы. Неспокойной королевы — я помнил, как нервничала Анна в тот день, когда я нашел ее в театре. Роль, которую создал для нее Хьюго, была явно не по ней. И тут мне явилось новое озарение. С невероятной отчетливостью перед глазами возникла фигура рослого мужчины в маске, которого я увидел на

сцене крошечного театра, фигура, показавшаяся мне странно знакомой; теперь у меня уже не оставалось ни тени сомнения в том, что это был сам Хьюго.

В ту же минуту зазвонил телефон. Сердце у меня подскочило и упало, как птица, ударившаяся о стекло. Я вскочил с кресла. Мне было ясно, что это звонит Хьюго. Я смотрел на телефон, как смотрят на гремучую змею. Потом поднял трубку и, изменив голос, хрипло сказал: «Алло?»

На другом конце провода Хьюго нерешительно произнес:

— Простите, нельзя ли мне поговорить с мисс Квентин, если она дома?

Я стоял окаменев, не соображая, что нужно ответить. Потом сказал:

— Здравствуйте, Хьюго, это Джейк Донагью. Мне нужно как можно скорее увидеться с вами, дело важное. — Ответом было мертвое молчание. Я продолжал: — Вы бы не могли приехать сюда, к Сэди? Я здесь один. Или мне приехать к вам? — На середине этой фразы Хьюго положил трубку.

Тогда я пришел в исступление. Я крикнул что-то в трубку и швырнул ее. Я рвал на себе волосы и громко ругался. Я носился по комнате, раскидывая ногами ковры. Прошло не меньше десяти

минут, прежде чем я успокоился и спросил себя, почему я, собственно, так волнуюсь. Я чувствовал, что мне необходимо увидеть Хьюго немедленно, сию же минуту, любой ценой. Пока я не повидаюсь с Хьюго, мне жизни на земле не будет. Зачем мне нужно его увидеть, я понятия не имел. Просто это было необходимо, и, пока это не свершится, я не смогу свободно дышать. Я схватил телефонную книгу. Что Хьюго переехал с прежней квартиры, это я знал, а новым его адресом нарочно не интересовался. Теперь я дрожащими пальцами листал справочник. Да, вот он: адрес в Холборне и телефон. С бешено бьющимся сердцем я набрал номер. Никто не ответил.

Я посидел тихо, соображая, что же делать дальше. Я решил сразу поехать по адресу, указанному в книге, на случай, что Хьюго все-таки дома, а если нет — разыскивать его на студии «Баунти — Белфаундер». Если Хьюго нужна Сэди, едва ли он на студии, ведь Сэди как раз туда и поехала. Но, с другой стороны, возможно, что под «мисс Квентин» он подразумевал Анну. Так что неизвестно, может, он еще и на студии. Во всяком случае, сперва надо попытать счастья в Холборне — вдруг он там прячется и просто не подходит к телефону. Если он звонил из дому, то, конечно,

догадался, что я сейчас же сам ему позвоню.

Потом я представил себе, с какой неприязнью и отвращением он, наверно, положил трубку, услышав мое имя. Не мог заставить себя поговорить со мной хотя бы минуту. Я отбросил эти мысли как слишком горькие и стал поправлять ковры и наводить в комнате порядок. И тут я вспомнил, что Сэди специально просила меня никуда сегодня не уходить. Но ведь я выйду на поиски Хьюго, а охранять квартиру я как будто должен именно от его вторжения. Значит, мои действия можно расценить как наступательную тактику вместо оборонительной для достижения той же цели — не пускать Хьюго на Уэлбек-стрит. Если я найду Хьюго и займу его своей особой, я тем самым выполню желание Сэди, только по-другому. Я зашагал к входной двери. На прощание оглянулся, потом повернул ручку.

Ничего не последовало. Я еще раз повернул ручку. Дверь заело. Английский замок работал, но ниже в двери был еще один замок, другой системы, и он-то, очевидно, был заперт. Я осмотрел засовы, все они были отодвинуты. Я стал что было силы дергать дверь. Она, несомненно, была заперта, а ключ вынут. Меня заперли здесь. Убедившись в этом, я прошел в кухню и попробо-

вал кухонную дверь, выходившую на пожарную лестницу. Она тоже была заперта.

Тогда я осмотрел окна. Проблеск надежды вселило в меня только окно на кухне, приходившееся в нескольких футах от двери. При некоторой смелости оттуда можно было перескочить на пожарную лестницу. Я прикинул расстояние, глянул вниз и решил, что смелости у меня маловато. Я боюсь высоты. По той же причине отпадала водосточная труба на фасаде дома. Я стал обыскивать квартиру, заглядывая во всякие ящики — не окажется ли там ключа, — но надежды на успех было мало. Я уже не сомневался, что Сэди сделала это нарочно. По каким-то своим причинам она хотела, чтобы я удерживал форт весь день, а для верности посадила меня под замок. То обстоятельство, что она была права, предусмотрев мою попытку к бегству, ничуть не умаляло моей ярости. И было совершенно ясно, что на этом всякие отношения между мной и Сэди кончаются.

Отчаявшись найти ключ, я прибегнул к последнему средству — взломать кухонную дверь. Замок был простой. В общем я вскрываю замки довольно ловко, этому искусству научил меня Финн, сам он мастер по этой части. Но тут дело у меня не ладилось, главным образом потому,

что не попадалось подходящего инструмента. Вскрывать замки удобнее всего куском толстой проволоки или крупной шпилькой. Ни того ни другого я в квартире не нашел и потому отступился. Теперь, когда мне стало предельно ясно, что я пленник и что остается только ждать возвращения Сэди, я был совершенно спокоен; вернее, пожалуй, будет сказать — угрюм и мрачен. Я собрал все свое имущество, чтобы сразу уйти. Никаких разговоров — это я решил твердо. И так же твердо было мое намерение, получив свободу, сейчас же отправиться на розыски Хьюго. Я еще раз позвонил ему, но никто не ответил. Подумал было позвонить кому-нибудь и попросить меня вызволить, но выяснилось, что посвящать в свои затруднения мне не хочется никого. Я налил себе полстакана джину, сел и долго смеялся.

Потом я почувствовал голод. Шел уже третий час. Я пошел в кухню и приготовил себе роскошное пиршество — паштет, лососина, консервы (куры и спаржа), малина, рокфор и апельсиновый сок. Вина Сэди я решил не пить, несмотря на всю чудовищность ее преступления. Достал в буфете коньяк и долго просидел за ним, жалея об одном — что Сэди не курит сигар. Когда меня снова начали одолевать мысли о Хьюго и Анне, я перемыл

посуду. После этого я загрустил и, выбрав одно из окон, выходивших на Уэлбек-стрит, стал глядеть на прохожих и машины.

Так я посидел некоторое время, высунувшись из окна, напевая какую-то французскую песенку и хмуро придумывая, что я скажу Сэди, когда она вернется, как вдруг заметил на другой стороне улицы две знакомые фигуры. То были Финн и Дэйв. Увидев меня, они остановились и стали делать мне таинственные знаки.

— Все в порядке! — крикнул я. — Никого нет.

Они перешли улицу и Дэйв сказал:

— Ну и хорошо, а то мы боялись, вдруг царица Савская дома!

Оба смотрели на меня, задрав голову, и улыбались. Я был им страшно рад.

— Так, — сказал Дэйв, очень довольный собой. — Ну, нравится тебе быть телохранителем? Хорошо охранял?

Финн улыбнулся мне, как всегда, дружелюбно, но я чувствовал, что на этот раз он солидарен с Дэйвом. Обоим ситуация, видимо, казалась до крайности забавной. Что-то они подумают через минуту?

— Я провел спокойный день, — отвечал я с достоинством. — Немного поработал.

— Спросить его, какая это была работа? — обратился Дэйв к Финну. Я понял, что в ближайшие полчаса мне достанется.

— Ну, если твой рабочий день кончился, выходи, пойдем выпьем. Сейчас откроют. А может, ты пригласишь нас к себе? Или это не разрешается?

— Я не могу выйти, — сказал я ровным голосом. — И вас не могу пригласить.

— Почему? — спросил Дэйв.

— Потому что я здесь заперт.

Финн и Дэйв переглянулись, а потом будто сразу лишились сил. Дэйв сел на тротуар, давясь от смеха, Финн томно прислонился к фонарному столбу. Оба тряслись. Я безмятежно ждал, когда припадок кончится, напевая что-то себе под нос. Наконец Дэйв поднял голову и после нескольких безуспешных попыток выдавил из себя.

— Все понятно.

И они опять покатились со смеху.

— Слушайте, вы, — сказал я раздраженно, — перестаньте ржать и выпустите меня на волю.

— Ах, ему хочется на волю! — воскликнул Дэйв. — А ты сам не пробовал освободиться? Вот водосточная труба. По ней спуститься легче легкого, ты как считаешь, Финн? — И они снова захохотали.

— Я испробовал все, — сказал я. — Замолчите и слушайте меня. Пусть Финн взломает замок у кухонной двери. До нее можно добраться по пожарной лестнице, с той стороны. Я бы и сам справился, только у Сэди нет шпилек.

— У нас тоже нет шпилек, — сказал Дэйв, — но мы можем отправиться к Сэди с петицией.

— Финн, — сказал я, — хочешь ты мне помочь?

— Я бы с удовольствием, — сказал Финн, — но у меня ничего с собой нет.

— Так пойди и найди что-нибудь! — крикнул я.

Наш не совсем обычный разговор уже привлек внимание прохожих, и мне не хотелось продолжать его. Мы согласились на том, что Финн найдет на одной из ближайших улиц шпильку и вернется. Если хорошенько поискать, найти на лондонских улицах шпильку не так уж трудно, даже в наше время. Я боялся одного — что Финн забудет, зачем пошел, и осядет в каком-нибудь баре. Я по себе знаю: когда идешь по улице, глядя себе под ноги, это оказывает прямо-таки гипнотическое действие.

Уладив этот вопрос, я решительно затворил окно. Я чувствовал, что поддерживать сейчас разговор с Дэйвом было бы ни к чему. Но через несколько минут я услышал, что он колотит в ку-

хонную дверь, и мне пришлось выйти на кухню и беседовать с ним из окна просто для того, чтобы его утихомирить. Четверть часа, не меньше, я бесился, выслушивая его шуточки на тему о том, что, будь у меня хоть капля храбрости и смекалки, я мог бы проползти по карнизу, залезть на крышу, связать простыни и так далее. Я отделывался короткими ответами и наконец услышал, как по лестнице бодрыми прыжками поднимается Финн. Он нашел прелестную шпильку и в какие-нибудь полминуты справился с замком. Мы с Дэйвом восхищенно следили за его работой. Когда дверь открылась, Дэйв и Финн хотели войти и осмотреть помещение, но я живо спустил их с лестницы. Я не жалел о несостоявшейся встрече с Сэди, и мне вовсе не улыбалось, чтобы она нас здесь застала. На дорогу я набил карманы печеньем. Я спросил себя, принадлежу ли я к тому кругу общества, где не зазорно стянуть две банки паштета у женщины, повинной в незаконном содержании вас под арестом, и ответил утвердительно. Бросив прощальный взгляд на афганские и казахские ковры, я схватил свое имущество и тоже спустился вниз.

Выйдя на улицу, я окликнул такси. Финн и Дэйв пребывали в отличном расположении духа и

явно не намерены были со мной расставаться. Они, видно, решили, что в моем обществе вечер пройдет не скучно и нельзя упускать такой случай. Я же еще не надумал, что предпринять, и, как всегда, ощущал потребность в моральной поддержке, а потому позволил им ввалиться в такси следом за мной. Первым делом мы завезли мой чемодан и рукописи к миссис Тинкхем.

— А теперь куда? — спросил Дэйв. Его круглая физиономия так и сияла от радости, как у мальчишки перед пикником.

— Поедем искать Белфаундера, — сказал я.

— Это киношника? — спросил Финн. — С которым ты когда-то был знаком?

— Вот именно, — отрезал я и на дальнейшие вопросы отвечать отказался, так что остаток пути Дэйву пришлось развлекать Финна целой серией более и менее оскорбительных предположений.

Я не слушал их болтовни. Теперь, когда встреча с Хьюго маячила передо мной, подобно айсбергу, я сильно нервничал. Что я скажу Хьюго — этого я себе не представлял. Ведь не для того мне нужно его увидеть, чтобы выяснить его отношение к Анне. Тут я не сомневался в правильности своих догадок, как не сомневался и в том, что простак на сцене был Хьюго и что потом тот же Хьюго

увез Анну в огромном черном «альвисе». Гораздо важнее было узнать, как Хьюго относится ко мне. Правда, у меня и тут не было сомнений — конечно же, Хьюго испытывает ко мне вполне понятную неприязнь и презрение. Но это я волен изменить. И все же не для того мне нужно было увидеть Хьюго. В тот день мне пришло в голову, что я еще многому могу у него поучиться, тем более что со времени наших бесед мои взгляды тоже претерпели изменение. Это мне стало ясно, когда я после стольких лет перечитал кусок диалога. Мое желание слушать Хьюго не притупилось. Нам еще есть о чем поговорить. Значит, поэтому я его так лихорадочно разыскиваю? Нет, мне просто хотелось его увидеть, вот и все. Матадор на арене не может сказать, почему ему хочется заколоть быка. Хьюго был моим роком.

Глава 7

Такси остановилось, мы вышли. Дэйв расплатился. Хьюго, как выяснилось, жил на Холборнском виадуке, в квартире, расположенной над несколькими этажами контор. На доске у двери, за которой начиналась каменная лестница, среди наименований торговых и юридических фирм значилась его фамилия Белфаундер. Такси отъехало, мы остались одни на виадуке. Если вам приходилось бывать в лондонском Сити вечером, вы знаете, какое жуткое безлюдье царит на этих улицах, в дневное время таких оживленных и шумных. С виадука хорошо обозревать город. Но хотя перед нами открывались эффектные дали не только в сторону Холборна и Ньюгет-стрит, но и вдоль Фаррингдон-стрит, которая текла под нами, как высохшая река, нигде не было ни единой живой души. Ни кошки, ни полисмена. Вечер был теплый, прозрачно, безоблачно синий, и мы пребывали посреди немого пространства, которое замыкал далекий шелест — не то шум уличного движения, не то летние вздохи клонившегося к закату солнца. Мы стояли не шевелясь.

Даже Финн и Дэйв притихли.

— Подождите меня здесь, — распорядился я. — Если через несколько минут я не вернусь, можете уходить.

Это им не понравилось.

— Мы проводим тебя наверх, — сказал Дэйв. — И уж поверь нам, тут же смоемся, как только ты дашь знак.

Они, видимо, надеялись хоть одним глазком взглянуть на Хьюго.

Я отнюдь не был убежден, что им можно верить, однако спорить не стал, и мы пустились гуськом вверх по каменным ступеням. Теперь я не ощущал ничего, кроме тупой решимости. Мы поднимались все выше и выше, мимо запертых контор оптовиков и нотариусов. Когда мы добрались до четвертого этажа, сверху послышался странный шум. Мы остановились и поглядели друг на друга.

— Что это? — сказал Финн.

Мы не знали, что и думать. На цыпочках двинулись дальше, и шум стал определяться — много высоких голосов говорили разом, перебивая друг друга.

— У него гости! — догадался я.

— Женщины! — сказал Дэйв. — Наверно, кино-

звезды. Пошли!

Мы с опаской продолжали путь. До двери Хьюго оставался всего один марш. Я оттолкнул своих спутников и пошел дальше один. Дверь была приоткрыта. Голоса звучали теперь очень громко. Я расправил плечи и вошел.

Комната, в которой я очутился, была пуста. Прямо перед собой я увидел вторую дверь. Я быстро пересек комнату и отворил ее. Следующая комната тоже была пуста. Я попятился к выходу и налетел на Финна и Дэйва.

— Это птички, — сказал Финн.

И верно! Квартира Хьюго занимала угол здания, снаружи вдоль нее шел высокий парапет. Крутая крыша, выдаваясь над окном, почти касалась парапета; а в глубоком углу под крышей гнездились сотни скворцов. Они порхали и резвились между стеклом окна и парапетом, словно в клетке. С улицы их, видимо, не было слышно, а может быть, мы не различили их голосов в общем гуле Лондона. Здесь же они просто оглушали. Я испытал и растерянность и облегчение. Никаких признаков Хьюго!

Дэйв стоял у окна, тщетно пытаясь отогнать птиц.

— Оставь в покое, — сказал я. — Они здесь

живут.

Я с любопытством огляделся по сторонам. Вторая комната была спальней и обставлена была с предельной простотой, присущей тому Хьюго, которого я когда-то знавал. В ней стояла только железная кровать, соломенные стулья, комод и сундучок, а на нем — стакан с водой. Зато в первой, большей комнате проявился новый Хьюго. Весь пол был застлан турецким ковром, зеркала, тахты, полосатые подушки, создавали атмосферу элегантного безделья. На стенах висели картины — все оригиналы. Я узнал двух маленьких Ренуаров, одного Минтона и одного Миро и тихонько свистнул. Не припоминаю, чтобы Хьюго интересовался живописью. Книг было очень мало. Меня умилило и показалось очень типичным для Хьюго, что он, уходя, оставил дверь этой сокровищницы открытой.

Финн глядел на птиц. Если забыть об их оглушительном верещании, они являли собой чудесное зрелище: они порхали, возились, прыгали, расправляли остроперые крылышки в раме окон, словно были частью убранства комнаты. Глядя на них, я думал, как мне поступить, может быть, усесться здесь и ждать возвращения Хьюго?

Но тут Дэйв, который рыскал по комнате, вос-

кликнул:

— Гляньте-ка! — И указал на записку, приколотую к двери: входя, мы ее не заметили. Записка гласила: «Ушел в кабак».

Дэйв мигом выскочил на площадку.

— Чего мы ждем? — У него был вид человека, которому хочется выпить. И у Финна, когда ему подали эту идею, сделался тоже такой вид.

Я колебался.

— Мы не знаем, в какой кабак.

— Наверно, в ближайший, — сказал Дэйв, — или в один из ближайших. Можно поискать.

Они с Финном уже мчались вниз. Я быстро оглядел площадку. Другая дверь вела с нее в ванную и в маленькую кухню. Окно кухни выходило на плоскую крышу, за которой были видны окна других конторских зданий. Вот и все владения Хьюго. Я кинул прощальный взгляд на скворцов, оставил дверь в гостиную Хьюго приоткрытой, как было, и тоже пошел вниз.

Мы постояли возле бронзовых львов на виадуке. Чистый вечерний свет бил по шпилям и башням святой Бригитты на юге, святого Иакова — на севере, святого Андрея — на западе, Гроба господня, святого Леонарда Фостера и святой Марии-ле-Боу — на востоке. В вечернем свете

дремали дома и одинокие белые шпили. Фаррингдон-стрит была все так же широка и пустынна.

— Куда пойдем? — спросил Дэйв.

Я хорошо знаю Сити. Мы могли двинуться либо на запад, к «Королю Лудду» и барам Флит-стрит, либо на восток, к менее популярным кабачкам Сиги, зажатым среди кривых переулков и высоких церквей. Я вызвал в памяти облик Хьюго и сказал:

— На восток.

— А где восток? — спросил Финн.

— Пошли! — сказал я.

Мы миновали церковь Гроба господня и ввалились в таверну «Виадук», которая славилась пивом Мьюкса. Окинув взглядом стойки, я убедился, что Хьюго здесь нет, и хотел тут же уйти, но Финн и Дэйв запротестовали.

— Я помню, — сказал Дэйв, — ты как-то объяснял мне, что неприлично пить в кабаке, когда не знаешь, как он называется, а также уходить из кабака, ничего не выпив.

Финн добавил:

— Это приносит несчастье.

— Так или иначе, — сказал Дэйв, — у меня пересохло в горле. Тебе какого, Финн?

В других условиях я бы тоже был не прочь вы-

пить, и, так как вечер был жаркий, я разделил с друзьями пинту пива, только пил, стоя один в сторонке и думая о Хьюго. С пинтой мы быстро покончили, и я отдал приказ к выступлению. Стараясь не смотреть на Олд-Бейли, я повел их через улицу.

Тут стояло нарядное заведение «Пень и сорока», где подавали пиво Чаррингтона. Я забежал вперед, оглядел бар и выскочил на улицу, не дав им времени войти в дверь.

— И здесь нет! — крикнул я. — Пойдем в следующий. — Я понимал, что с каждым глотком продвижение наше будет замедляться, и мне хотелось, пока не поздно, уйти как можно дальше.

Финн и Дэйв галопом обогнали меня и ринулись в «Джордж», здесь поили элем Уотни, — уютный кабачок с облупленными стенами и старинной стойкой, где высилось сооружение из стекла и красного дерева, из-за которого бармен взирал на мир, как священник со своей кафедры. Хьюго там не было.

— Ничего не выйдет, — сказал я, когда мы опорожнили по кружке, — он может быть где угодно.

— Не вешай нос, — сказал Дэйв. — Домой к нему ты всегда можешь вернуться.

Он был прав; к тому же меня снедала нестерпимая тревога. Раз нужно убить вечер до возвращения Хьюго, почему не убить его на поиски Хьюго? Я окинул мысленным взором район вокруг собора святого Павла. Потом заключил с Финном и Дэйвом соглашение, что мы будем заходить не во все бары подряд, а через один. Наконец я стал подгонять их к выходу. Выйдя на улицу, я направился к Ладгет-Хилл и повернул вверх, к собору. В конце подъема стоял кабачок, где угощали пивом Янгера, но Хьюго там не было. Следующий привал мы сделали у Шорта, в переулке Святого Павла. Там мы выпили, и я стал обдумывать, не вернуться ли на Флит-стрит; но ведь я сам выбрал восточное направление, отступать не хотелось. Кроме того, встреча с Хьюго в обстановке Флит-стрит мне не улыбалась — был риск, что в нашу личную драму вторгнутся какие-нибудь пьяные журналисты. И я повел всю компанию на Чипсайд.

Час был поздний. Темнота уже сгущалась в воздухе, но под этой прозрачной завесой умирающие краски казались особенно яркими. Над головой небо густо синело, ближе к горизонту горело аметистами. Из мрака и теней переулка Святого Павла мы вышли на Чипсайд, как на освещенную арену, и к югу от себя, на той стороне

Кэннон-стрит, увидели в раме развалин ровные бледные прямоугольники аббатства святого Николая. Заросли кипрея колыхались над остатками улиц. В этом запустении разноцветные остовы домов тянулись кверху пустыми и заполненными прямоугольниками окон и стен. Последние лучи солнца озаряли блестящий кирпич и сверкающую черепицу, тут и там согревали камень упавшей колонны. Когда мы проходили церковь святого Ведаста, синева в зените еще сгустилась, и мы, повернув за угол бывшего переулка Фрименс-Корт, вошли в заведение, где торгуют элем Хенеки.

Здесь наше соглашение лопнуло, главным образом по причине процесса замедления, о котором говорилось выше. К этому времени я уже пришел к мысли, что Хьюго мы едва ли найдем, но все равно, круг можно и завершить. Пока мы переходили обратно через Чипсайд и сворачивали на Боу-лейн, стали зажигаться фонари. Желтые качающиеся круги света в узких переулках падали на белые стены с вывесками старинных фирм, а вверху совсем стемнело. Я заметил несколько звезд — вид у них был такой, точно они висят там уже давно. Мы заглянули в старую «Таверну» на Уотлинг-стрит. Такие вот места Хьюго всегда

любил; но его там не было. Допивая стакан, я сообщил Финну и Дэйву, что теперь мы зайдем в «Герб скорняков», а потом двинемся обратно, к Ладгет-Сэркус.

Они не возражали.

— Лишь бы не терять слишком много времени на переходы, — заметил Финн.

Я вытащил их на улицу, и мы подошли к «Гербу скорняков». Эта пивная стоит на стыке Кэннон-стрит и Куин-Виктория-стрит, под сенью церкви святой Марии. Мы вошли.

Только я убедился в том, что и здесь Хьюго нет, как Дэйв схватил меня за рукав.

— Идем, я хочу тебя с кем-то познакомить.

У дальнего конца длинной стойки стоял какой-то щуплый субъект в красном галстуке бабочкой. Он сделал Дэйву приветственный знак, и, когда мы подошли ближе, меня поразили его огромные глаза — печальные, круглые и лучистые, как глаза вомбата или Христа у Руо.

— Познакомьтесь, — сказал Дэйв. — Лефти Тодд — Джейк Донагью.

Мы обменялись рукопожатием. Я, разумеется, много слышал об эксцентричном лидере Новой Независимой Социалистической партии, но еще не встречался с ним и теперь не без любопытства

его разглядывал.

— Вы что тут делаете? — спросил он Дэйва. Его изможденный, малокровный облик не вязался с резкой, энергичной манерой говорить. Он помахал Финну как знакомому. Финна почему-то никогда ни с кем не знакомят.

— Спросите Донагью, — сказал Дэйв.

— Что вы здесь делаете? — обратился Лефти ко мне.

Я не люблю, когда мне задают вопросы в упор, и в таких случаях обычно лгу.

— Заходили к одному приятелю в редакцию «Стар», — ответил я.

— К кому? — спросил Лефти. — Я там всех знаю.

— Некий Хиггинс, он там недавно.

Лефти посмотрел на меня удивленно и пристально.

— Ну ладно, — сказал он и опять обратился к Дэйву: — Вы не часто бываете в этих краях?

— А вы, наверно, укладывали спать «Независимого социалиста»?

— Строго говоря, он еще не спит, — сказал Лефти. — Там есть кому о нем позаботиться.

Он опять повернулся ко мне.

— Я о вас слышал.

Раздражение мое еще не прошло. Я не сделал промаха, не ответил, как иногда отвечают на эти слова знаменитому человеку: «Я тоже о вас слышал». Нет, я спросил:

— Что же вы обо мне слышали? — Этим вопросом легко смутить человека.

Лефти не смутился. Он немного подумал и отвечал:

— Что вы талантливы, но ленивы, а потому не работаете, и что вы исповедуете левые взгляды, но активно в политической жизни не участвуете.

Все было ясно.

— Информация правильная, — сказал я.

— На пункт первый мне плевать, — сказал Лефти. — Но по второму пункту хочу вам задать несколько вопросов. Время у вас есть? — И он поднял руку часами ко мне.

У меня покруживалась голова от пункта первого и пункта второго, а также от его резкости и от выпитого пива.

— Вы хотите говорить со мной о политике?

— О вас с политической точки зрения.

Дэйв и Финн тем временем отошли и уселись за столик.

— Ну что ж, — сказал я.

Глава 8

— Так, — сказал Лефти. — Для начала проясним положение. Какой у вас опыт политической работы?

— Когда-то я состоял в Союзе молодых коммунистов. Сейчас — член лейбористской партии.

— Что это значит, нам известно, — сказал Лефти. — Практического опыта ни малейшего. Но теоретически вы хотя бы идете в ногу с жизнью? Политическую обстановку изучаете?

Он говорил быстро и бодро, как врач с пациентом.

— Очень поверхностно, — отвечал я.

— Вы можете хотя бы объяснить, почему сложили оружие?

Я развел руками.

— Дело безнадежное…

— Ага, — сказал Лефти. — Вот этого как раз и не следует говорить. Это грех против святого духа. Ничего безнадежного на свете нет. Верно, Дэйв? — Дэйв в эту минуту подошел к стойке купить еще порцию.

— Кроме попыток заткнуть тебе рот, — отве-

тил он.

— Что вернее: вы ушли от борьбы, потому что вам было все равно или потому что не знали, что делать? — спросил меня Лефти.

— Одно связано с другим, — начал я и готов был еще поговорить на эту тему, но Лефти перебил меня:

— Вы совершенно правы. Я и сам хотел это сказать. Так вы признаете, что вам не все равно?

— Конечно, — сказал я, — но…

— Это и нужно для начала. Если вам не все равно, значит, вы потенциальный борец. А какая еще моральная проблема возможна в наше время?

— Верность друзьям и порядочность по отношению к женщинам, — ответил я без запинки.

— Ошибаетесь, — сказал Лефти. — На карту поставлена вся система. Что толку не дать человеку споткнуться, если он находится на тонущем корабле?

— Если он сломает ногу, то не сможет плыть, — рискнул я.

— Но что толку заботиться о его ноге, если можно попытаться спасти ему жизнь?

— На первое я способен, на второе нет, — отвечал я, начиная сердиться.

— Ну-с, посмотрим, — сказал Лефти, отнюдь не

обескураженный.

Он вытащил из портфеля пачку брошюр и быстро их перебрал.

— Вот эта подойдет, — сказал он, держа брошюру передо мной, как зеркало. На обложке крупным шрифтом стояло: «Почему вы отошли от политики?», а ниже — «Левой политике нужна ваша поддержка». В нижнем углу значилась цена — 6 пенсов. Я стал шарить в карманах.

— Не надо, не надо, это подарок, — сказал Лефти. — Мы их вообще не продаем. Но когда цена проставлена, люди чувствуют, что сэкономили деньги, и читают текст. Вы просмотрите ее завтра, на досуге. — И он засунул брошюру во внутренний карман моего пиджака. — Ну, дальше. Вы социалист?

— Да.

— В самом деле?

— Да.

— Хорошо. Имейте в виду, мы еще не знаем, что это значит, но пока это неважно. Скажите, какие же особенности современного положения привели вас к выводу, что бороться за социализм — безнадежное дело?

— Не то чтобы безнадежное… — начал я.

— Бросьте, бросьте. В болезни мы признались,

так? Теперь переходим к лечению.

— Ладно, — сказал я. — Суть вот в чем. Английский социализм — явление почтенное, но это не социализм. Это капитализм процветания. Его не тревожит истинный бич капитализма, состоящий в том, что труд убивает.

— Так, так, — сказал Лефти. — Не будем торопиться. Какое из положений Маркса самое мудрое?

Этот метод вопросов и ответов начинал мне надоедать. Лефти задавал каждый вопрос так, будто на него возможен только один совершенно точный ответ. Это смахивало на катехизис.

— Почему какое-то одно положение непременно самое мудрое? — спросил я.

— Вы правы, у Маркса множество мудрых положений, — сказал Лефти, не соизволив заметить моего раздраженного тона. — Например, он сказал, что не сознание определяет бытие, а общественное бытие определяет сознание.

— Не забудьте, мы еще не знаем, что это значит…

— О нет, это мы знаем! И значит это совсем не то, что воображают некоторые марксисты с механистическим уклоном. Это не значит, что общество развивается автоматически, а идеологи

просто плетутся за ним следом. Что важнее всего в эпоху революций? Да, разумеется, сознание. А в чем его главная особенность? Да именно в том, что оно не просто отражает социальные условия, но влияет на них — до известного предела, конечно, только до известного предела. Отсюда большое значение вас, интеллигенции. Скажите, как вы представляете себе задачи такой организации, как ННСП?

— Получить больше голосов, чем другие партии, и сделать вас премьер-министром.

— Ничего подобного! — с торжеством воскликнул Лефти.

— Тогда каковы же ее задачи?

— Не знаю.

Я решил, что с его стороны было нечестно огорошить меня вопросом, на который он сам не может ответить.

— В том-то и дело! — продолжал он. — Нас обвиняют в безответственности. Но те, кто обвиняет, просто не понимают нашего назначения. Наше назначение в том, чтобы исследовать социалистическое сознание Англии. Повысить ее чувство ответственности. Новые общественные формы нам навяжут достаточно скоро. Но почему мы должны ждать этого времени, не имея при себе

ничего лучшего, чем социальные идеи, почерпнутые из старых общественных форм?

— Минутку, — сказал я. — А что будет пока с народом? Я имею в виду массы. *Идеи* приходят в голову отдельным личностям. В этом всегда была беда человечества.

— Вы попали в самую точку. Сейчас вы скажете: «А где же тогда пресловутое единство теории и практики?»

— Вот именно. По-моему, для Англии было бы просто великолепно, если бы английский социализм обновился, обрел вторую молодость. Но что толку в интеллектуальном обновлении, которое не коснется народа? Теория и практика сливаются воедино только в исключительных обстоятельствах.

— Например? — спросил Лефти.

— Например, в России, когда большевистская партия боролась за власть.

— Э, — сказал Лефти, — вы выбрали плохой пример в подкрепление вашего довода. Почему нас так поражает необычайная сознательность, с какой эти люди, казалось бы, добивались своей цели? Потому что они победили. Нельзя судить о единстве теории и практики по отдельным случаям. Важен также принцип, по которому они

расходятся. Ваша беда в том, что вы в душе не верите в возможности социализма. Вы механицист. А почему? Сейчас я вам объясню. Вы называете себя социалистом, но вы, как и все вам подобные, воспитаны на «Британия правит морями». Вы хотите быть частью чего-то большого, яркого. Поэтому вам жаль, что вы не можете примкнуть к коммунистам. Но этого вы не можете, а на то, чтобы разделаться с тем, другим, у вас не хватает воображения. Отсюда безнадежность. Вам недостает гибкости, гибкости! — Лефти ткнул в меня неимоверно длинным, подвижным пальцем. — Мы, возможно, упустили шанс возглавить Европу, — сказал он. Но главное — заслужить это право. А тогда, возможно, появится и новый шанс.

— А тем временем, — сказал я, — как быть с диалектикой?

— Ну, знаете, — сказал Лефти, — это все равно что дурной глаз. И не веришь в него, а все-таки боишься. Даже приверженцы диалектики знают, что предсказать будущее невозможно. Единственное, что в нашей власти, — это сперва думать, а потом действовать. На то мы и люди. Даже Европа не будет продолжаться вечно. Вечного вообще ничего нет.

Дэйв опять стоял у стойки.

— Кроме евреев, — сказал я.

— Ваша правда, — сказал Лефти. — Кроме евреев.

Мы оба посмотрели на Дэйва.

— Что? — спросил он.

— Время закрывать, джентльмены, — сказала буфетчица.

— Так вы признаете, что не все можно объяснить? — спросил я.

— Да, я эмпирик.

Мы отдали стаканы.

Я поглотил уже столько спиртного, что необходимость прекратить это занятие повергла меня в отчаяние. И к Лефти я начал проникаться симпатией.

— Здесь можно купить бутылку бренди? — спросил я его.

— Вероятно.

— Так, может, купим бутылку и продолжим нашу дискуссию где-нибудь в другом месте?

Лефти минуту колебался, потом сказал:

— Ну что ж, только одной бутылки нам будет мало. Четыре полбутылки хенесси, мисс, будьте добры, — обратился он к буфетчице.

Мы вышли на Куин-Виктория-стрит. Ночь была

тихая, жаркая, прожженная звездами и залитая луной. Несколько пьяных, пошатываясь, убрались прочь и оставили нас одних. Мы стояли, глядя в сторону святого Павла, у каждого в кармане была бутылка.

— Куда? — спросил Дэйв.

— Минутку, — сказал Лефти, — дайте собраться с мыслями. Мне нужно зайти на почту, отправить кое-какие письма.

Характерная черта центрального Лондона: единственное, что там можно купить в любое время дня и ночи, — это почтовые марки. Даже женщины там не найти после половины четвертого утра, разве только вы особенно хорошо осведомлены. Мы двинулись в сторону главного почтамта, и, сворачивая на Кинг-Эдвард-стрит, я хлебнул из своей бутылки. Хлебнул и понял, что уже сильно пьян.

Главный почтамт стоял огромный, мрачный, как пещера, казенный, трезвый, полутемный. Мы с хохотом ввалились в подъезд, нарушив покой нескольких клерков и людей, занятых сочинением анонимных писем или предсмертных записок, — такие всегда толкутся здесь в поздний час. Пока Лефти покупал марки и отправлял телеграммы, я организовал исполнение канона

«Колокол отлили», а поскольку у меня никогда не хватает ума вовремя остановиться, мы пели до тех пор, пока кто-то из служащих не выставил нас за дверь. Тут мы загляделись на фантастические почтовые ящики — огромные разинутые пасти, в которые бросаешь письмо и видишь, как оно летит вниз, вниз, по темному длинному колодцу, и наконец падает на поднос в освещенной комнате глубоко под землей. Это зрелище так заворожило меня и Финна, что мы решили тут же написать по письму и опять вошли в здание — купить конвертов и бумаги. Дэйв сказал, что и так получает слишком много писем, так незачем привлекать их еще больше бессмысленными посланиями. Финн сказал, что напишет кому-то в Ирландию. Я начал писать Анне, прижав бумагу к стене почтамта, но не мог придумать, что ей сказать, кроме «Я тебя люблю». Это я написал несколько раз подряд, очень криво. Потом добавил: «Ты прекрасна», и запечатал письмо. Я засунул его глубоко в пасть почтового ящика, и оно полетело вниз, переворачиваясь на лету, как осенний лист.

— Пошли! — сказал Лефти.

— Куда?

— Сюда! — И он повел нас куда-то вниз вдоль

стены почтамта. Вдруг я с изумлением увидел, что он вознесся над землей. Он стоял на какой-то стене и манил меня к себе. В ту минуту я, кажется, готов был залезть хоть на борт «Куин Мэри». Я последовал за Лефти, остальные последовали за мной. Мы очутились в маленьком, огороженном со всех сторон и густо заросшем саду. В прозрачном летнем мраке я различил смоковницу, склонившуюся над железной калиткой. Среди белых камней росла высокая, по колено, трава. Мы сели. И тут я вдруг сообразил, что там, где мы находимся, был когда-то неф церкви святого Николая Фостера. Я лег на траву, и глаза мои наполнились звездами.

Через некоторое время до меня долетел голос Лефти:

— Самое главное для вас — ввязаться в борьбу. Стоит начать что-то делать, сталкиваться с людьми — и некоторых из них вы непременно возненавидите. А ничто так не разбивает абстракций, как ненависть.

— Правильно, — протянул я лениво. — Сейчас я никого не ненавижу.

Мы говорили вполголоса. Рядом с нами Финн и Дэйв тоже о чем-то шептались.

— Как же вам не стыдно, — сказал Лефти.

— А что я могу сделать?

— Этот вопрос придется изучить. Мы ко всем своим членам применяем научный подход. Мы спрашиваем о каждом: где точка пересечения его потребностей и наших? Какая работа больше всего придется ему по душе и в то же время будет полезна нам? Разумеется, на каждого ложится и какая-то доля рядовой работы.

— Разумеется, — сказал я. Я смотрел, как за лесом травы поднимается Орион.

— В данном случае, — сказал Лефти, — сомнений, к счастью, нет. Совершенно ясно, что́ вы можете делать.

— Что же?

— Писать пьесы.

— Не умею, — сказал я. — Романы не подойдут?

— Нет. Кто в наше время читает романы? А пьесы писать вы не пробовали?

— Никогда.

— Ну так начинайте, и чем скорее, тем лучше. Конечно, с расчетом на театры Вест-Энда.

— В Вест-Энде не так-то легко поставить пьесу.

— Не верьте в эту легенду! — сказал Лефти. — Все дело в том, чтобы пойти на известные уступки распространенным вкусам. До того как писать, подвергните научному анализу несколько пьес,

которые за последнее время имели успех. Ваша беда в том, что вы не любите усидчиво работать. Создайте приемлемый костяк, а заполнить его можете любой идеей. В общем, вы заходите ко мне на будущей неделе, мы с вами это обсудим. В какой день вы могли бы зайти?

Он достал записную книжку и стал быстро листать густо исписанные странички. Я поискал в уме, чем бы отговориться, но ничего не придумал. Орион лез ногой мне в глаза.

— Во вторник, в среду, в четверг... Но я ничего не обещаю.

— Я порядком загружен, — сказал Лефти. — Может быть, в пятницу, в три пятнадцать? У меня просвет до четырех, а если повезет, то даже чуть дольше. Вы приходите ко мне в редакцию.

— Ладно, ладно, — сказал я. Бледное пятно — лицо Лефти — обратилось ко мне.

— Забудете. — Он достал карточку, записал время и адрес и сунул карточку мне в карман. — А теперь, — сказал он, — может, вы мне расскажете, что вы делали в этих краях?

Этот вопрос меня взволновал — я усмотрел в нем первое прямое указание на то, что Лефти присущи и чисто человеческие свойства, а вдобавок он напомнил мне о Хьюго, который за послед-

ние несколько часов как-то испарился из моей памяти. Я с усилием принял сидячее положение. Голова моя, казалось, держалась на пружине и кто-то пытался ее оторвать. Я вцепился в нее обеими руками.

— Я искал Белфаундера.

— Хьюго Белфаундера? — переспросил Лефти с нескрываемым интересом.

— Да, а вы его знаете?

— Знаю, кто он такой.

Я повернулся к Лефти, но его огромные глаза были всего лишь черными провалами на бледном лице.

— Вы сегодня его видели? — спросил я.

— К «Скорнякам» он не заходил.

Мне хотелось продолжать расспросы: интересно, как Лефти воспринимает Хьюго? Как капиталиста? Но сейчас все мое внимание поглощала моя собственная голова.

Прошло еще сколько-то времени, вероятно, шел уже третий час, и тут Финн выразил желание искупаться. Лефти перед тем говорил с Дэйвом, а ко мне только начало приходить второе дыхание. Ночь стояла безупречно теплая и тихая. Идея Финна нашла отклик у всех, кроме Дэйва. Мы стали обсуждать, куда пойти. До Серпантайна

было далеко, до Риджентс-парка тоже, а в районе Сент-Джеймс-парка всегда слишком много полиции. Сам собой напрашивался вывод — искупаться в Темзе.

— Вас унесет отливом, — сказал Дэйв.

— Не унесет, если поймать нужный момент, — сказал Финн. Это было гениально. Но когда настанет нужный момент?

— Сейчас посмотрим, у меня записано, — сказал Лефти. Мы окружили его тесным кольцом, и он зажег спичку. — Высшая точка прилива у Лондонского моста — два пятьдесят восемь. В самый раз! — В следующую минуту мы уже лезли через стену. — Берегись полиции, — сказал Лефти. — Они подумают, что мы идем грабить склад. Если увидите полисмена, притворитесь пьяными.

Без этого совета мы, в сущности, могли обойтись.

Мы стали пересекать озаренный луной пустырь, где раньше проходила Файфут-лейн, где множество скорбных надписей на щитах в развалинах Сити обозначают места стоявших здесь церквей и кабаков. Мимо одинокой башни святого Николая мы выбрались на Аппер-Темз-стрит. Не слышно было ни звука — ни шагов, ни колокольного звона. Мы старались ступать

бесшумно. Из освещенного пространства мы свернули в темный лабиринт переулков и разрушенных складов, где громоздились кучи каких-то непонятных предметов. Обрывки газет, которыми были усеяны улицы, застыли в полном безветрии. Редкие фонари то выхватывали из мрака кусок обвалившейся кирпичной стены, то отбрасывали на тротуар тень кошки. Наконец какая-то улица, темная и глубокая, как колодец, уперлась в каменный парапет, а за ним, у подножия нескольких ступеней, опять была луна, теперь расплескавшаяся по реке. Мы перелезли через парапет и немного постояли на ступенях, чувствуя, как вода лижет нам подошвы.

Справа и слева от нас в воду выдавались стены складов, заслоняя вид и отгораживая заливчик, где река подходила к нам вся в грязной пене и обломках досок, полная до краев, в самом сердце Лондона. Пахло гнилью. Финн стал разуваться. Человека, который видел Лиффи, ни одна грязная река уже не отпугнет.

— Поаккуратнее, — сказал Лефти. — Пригнитесь, тогда с улицы не видно. Не говорите громко, не ныряйте. Тут, возможно, рыщет речная полиция. — Он стянул рубашку.

Я посмотрел на Дэйва.

— Будешь купаться?

— Конечно, нет! По-моему, вы все с ума сошли. — Он сел, прислонясь к парапету.

Сердце у меня колотилось. Я тоже стал раздеваться. Финн, голый и бледный, уже ступил в воду. Он медленно спустился по ступенькам, отодвигая ногой плавучий мусор. Вода дошла ему до колен, до бедер, и вот уже он, тихо плеснув, поплыл прочь от берега, и дерево застучало о камень от набежавших крошечных волн.

— И шумит же он, черт возьми, — сказал Лефти.

В животе у меня было холодно, пробирала дрожь. Я стянул с себя последнее. Лефти меня опередил.

— Только тихо, — сказал он. — За *это* я не желаю угодить в полицию.

Мы улыбнулись друг другу в темноте. Он повернулся к реке и стал неуклюже спускаться, постепенно уходя в черную воду. Ночной воздух коснулся моего тела прикосновением не холодным и не теплым, а только очень мягким и неожиданным. Кровь загудела во мне лихорадочными толчками. Без единого звука Лефти последовал за Финном. Вода сжала мои лодыжки холодными тисками. Спускаясь, я видел краеш-

ком глаза Дэйва — он высился надо мной, как монумент. Потом вода обняла меня за шею, и я понесся на простор реки.

Небо развернулось надо мной, как знамя, усыпанное звездами и выбеленное луной. Позади меня черные корпуса барж отбрасывали в воду густую тень; на том берегу, еле видные, тянулись ввысь темные башни и шпили. Я плыл и плыл. Темза казалась невероятно широкой; поворачивая голову вправо и влево, я видел то темные заводи под Блекфрайерским мостом, то быки Саутуоркского моста, поблескивающие в свете луны. Вся водная гладь переливалась и мерцала. Я поискал глазами Финна и Лефти и вскоре увидел неподалеку от себя их головы, подпрыгивающие над водой. Они приблизились ко мне, и мы поплыли рядом. На редкость удачно мы поймали время между приливом и отливом — течение совершенно не чувствовалось.

Из нас троих я, несомненно, был лучшим пловцом. Финн плавает быстро, но некрасиво — тратит много сил на лишние движения, слишком перекатывается с боку на бок. У Лефти движения были четкие, но недостаточно сильные. Я видел, что он скоро устанет. Я плаваю отлично, весь отдаюсь воде, кролем могу плыть сколько угодно.

Плавание сродни дзюдо. И то и другое искусство зиждется на умении отрешиться от тупой и боязливой приверженности к вертикальному положению. И то и другое предполагает участие всех мускулов. И то и другое при многообразной физической нагрузке требует отказа от любого ненужного движения. И то и другое динамично, как вода, находящая сотни путей, чтобы достичь единого уровня. А когда научишься владеть своим телом и преодолеешь страх перед падением, глубоко заложенный в сознании человека, тогда уже легко, во всяком случае много легче, достигнуть совершенства и в других «физических» искусствах. Я, например, хорошо танцую и очень прилично играю в теннис. Если бы что-нибудь могло утешить меня за малый рост, это служило бы мне утешением.

Финн и Лефти уже повернули назад, к лестнице. Я подплыл к какой-то барже, ухватился за канат и, откинув голову, полежал неподвижно, глядя на панораму черно-синего неба и серебристо-черной воды и дожидаясь, когда хлынет в меня тишина. Потом вылез по канату из воды и повисел, обняв его, как белый червяк. Потом бесшумно, на одних руках, снова опустился в реку. Коснувшись ногами воды, я почувствовал, что их легонько,

но упорно тянет вбок. Начинался отлив. Я быстро поплыл к лестнице.

Финн и Лефти одевались, давясь от сдерживаемого смеха. Я к ним присоединился. Разрядилось какое-то напряжение, совершился обряд. Нам хотелось кричать, тузить друг друга. Но шуметь было нельзя, и вся наша энергия ушла в смех. Одевшись, я почувствовал, что мне тепло, что я почти трезв и голоден как волк. Я пошарил в карманах плаща и нашел печенье и паштет, которые стянул у Сэди. Их встретили немыми изъявлениями восторга. Мы уселись на лестнице, которая становилась все длиннее, по мере того как вода отступала, оставляя у наших ног сломанные корзины и ящики, пустые жестянки и всякий мусор. Я вскрыл банки с паштетом перочинным ножом и раздал печенье. У всех, кроме меня, еще оставалось в бутылках немного бренди, но Дэйв сказал, что с него хватит, и передал свои права мне. Лефти заявил, что ему скоро нужно уходить, потому что утром одно из отделений партии переезжает в новое помещение. Он предложил остатки своей бутылки Финну, тот не отказался. Мы весело закусили, передавая банки по кругу. Бренди пробежало по моим внутренностям, как божественный огонь, и разогнало кровь до ско-

рости света.

Что было потом, я помню смутно. Остаток ночи проступает отдельными пятнами из тумана, окутавшего мою память. Лефти ушел после того, как мы поклялись друг другу в вечной дружбе и я обязался посвятить себя социалистическим исследованиям. У меня состоялась долгая сентиментальная беседа с Дэйвом, о чем — не помню, может быть, о судьбах Европы. Финн, опьяневший еще больше, чем я, куда-то затерялся. Когда мы уходили, он лежал ногами в воде. Немного погодя Дэйву вспомнилось, что как будто в воде была его голова, а не ноги, и мы вернулись проверить, но Финна не нашли. Проходя пустынными улицами под бледнеющим небом, я словно слышал какой-то странный звук — может быть, то звонили вдали колокола святой Марии, и святого Леонарда, и святого Ведаста, святой Анны, святого Николая, святого Иоанна-Захарии. Наступающий день запустил длинную руку в гущу ночи. Неожиданно быстро наступил туманный рассвет, и, когда я допивал бренди возле святого Андрея-при-Гардеробе, над горизонтом уже протянулись ярко-зеленые полосы.

Глава 9

Дальше я помню, что мы пили кофе на Ковент-Гарденском рынке. Там очень рано открывается кофейная палатка для грузчиков, но в то утро никого, кроме нас, возле нее не было. Уже совсем рассвело. Мы стояли в той части рынка, где торгуют цветами. Оглядевшись по сторонам и увидев множество роз, я сейчас же вспомнил Анну. Я решил безотлагательно преподнести ей букет и сообщил об этом Дэйву. Мы пошли по аллее из огромных корзин с цветами. Народу было так мало, а цветов так много, что сам бог велел брать все, что приглянется. Я шел между двумя стенами роз, еще мокрых от ночной росы, и брал подряд белые, розовые, чайные. Из-за угла навстречу мне показался Дэйв, нагруженный пионами — махровыми шарами в алую крапинку. Мы объединили свои цветы в одну охапку. Поскольку не было причин на этом останавливаться, мы произвели опустошения в нескольких ящиках с фиалками и анемонами, а карманы набили анютиными глазками; рукава у нас намокли, мы задыхались от цветочной пыльцы. Подхватив свою добычу,

мы выбрались за пределы рынка и, дойдя до Лонг-Эйкр, присели на каком-то пороге.

Голова у меня трещала, я отнюдь не протрезвел. Как сквозь сон я услышал голос Дэйва:

— Боже милостивый, совсем забыл. Тебе еще третьего дня пришло письмо. Я с тех пор таскаю его в кармане.

Он протянул мне письмо, и я лениво взял его. И вдруг узнал почерк Анны.

Я неловко разорвал конверт, пальцы тряслись от страха. Буквы плясали и плыли у меня перед глазами. Когда они наконец успокоились, я прочел следующее короткое послание: «Мне нужно как можно скорее с тобой повидаться. Пожалуйста, приезжай в театр». Я обхватил голову руками и застонал.

— Что случилось? — спросил Дэйв.

— Найди мне такси, — простонал я.

— Ну тебя с твоим такси. Мне и без того тошно.

Я встал и ушел, забрав с собой цветы, а Дэйв остался сидеть на пороге, прислонившись к стене и закрыв глаза.

Такси я нашел на Стрэнде и велел шоферу везти меня в Хэммерсмит. Сердце мое билось в такт словам: «Поздно, поздно!» Всю дорогу я сидел, подавшись вперед, стебли цветов ломались у меня в

руке. Только доехав до места, я заметил, что весь искололся о розы. Я стер кровь рукавом рубашки, еще не просохшим с вечера. Отпустив такси у Хэммерсмитской ратуши, я спустился к реке. По пути я несколько раз приваливался к стенам домов, от боли в сердце трудно было дышать. Вот и театр. Но возле него творилось что-то странное. Дверь была распахнута настежь. Я ускорил шаг. Перед калиткой выстроились в ряд три грузовика. Я влетел в холл, и башмаки мои застучали по голому полу. Взбежал по лестнице, едва касаясь ступенек, и бросился в комнату Анны.

В комнате не было ничего. Я даже не сразу узнал ее. Многоцветный хаос исчез, не осталось ни одной блестки, ни единого шелкового лоскутка, Окна были распахнуты на реку. Только в дальнем углу стоял складной стол, заваленный бумагами. Я застыл в горестном изумлении. Потом вышел на площадку. Было ясно, что катастрофа коснулась всего здания. Оно гудело, скрипело, в нем гуляло эхо. Из каких-то комнат доносились голоса и стук тяжелых шагов по голым доскам. Хлопали двери. Через все окна вливался веселый гул летнего утра. Кто-то наложил на дом грубую руку, подверг его насилию. Вдруг я вспомнил про дверь в зрительный зал. Я подергал ее, но она

по-прежнему была заперта. Какую бы тайну ни хранило сердце этого непонятного дома, здесь она еще какое-то время будет в безопасности.

По лестнице поднималась, насвистывая, девушка с веселым лицом, в синих джинсах. При виде меня она сказала:

— Вы насчет розничных цен?

Я уставился на нее как идиот, и она поспешно добавила:

— Простите, я думала, вы из Пэддингтонской группы.

— Я искал одну из служащих театра.

— А они, кажется, все уехали, — сказала девушка и прошла в комнату Анны.

Я еще стоял, вцепившись одной рукой в перила, а другой прижимая к себе охапку цветов, когда двое мужчин в вельветовых штанах пронесли мимо меня большой деревянный щит. На щите были выведены буквы «ННСП».

Я очутился на улице. К дому за это время подъехали еще два грузовика. Я пошел по тротуару. Когда я поравнялся с последним грузовиком, что-то в его кузове привлекло мое внимание. Я остановился, подошел ближе. И тут меня охватило странное волнение. В грузовике были вещи из комнаты Анны. В этом огромном ящике, ко-

торый придерживал только задний борт, были свалены как попало все сокровища, которые я так хорошо помнил. Я быстро оглянулся. Никто не видит. В следующее мгновение я уже перелез через борт и, поскользнувшись, в дожде осыпающихся лепестков, упал вместе со своими цветами в податливую мешанину из игрушек и тканей. Я огляделся. Здесь были все мои старые знакомые: лошадь-качалка, чучело змеи, маски, железный гром. Я глядел на них с глубокой грустью. В резком свете солнца это была всего лишь беспорядочная груда грязных, поломанных вещей. Таинственный порядок, объединявший их и так мягко и естественно исходивший от присутствия Анны, отлетел прочь, Теперь они лежали неловко, где рядом, где одно на другом, и колдовство исчезло.

Я все смотрел на них, и вдруг ощутил сильный толчок — грузовик тронулся. Меня швырнуло вперед, я ушиб щеку обо что-то твердое, а сверху меня засыпало целым ворохом всякого хлама. Несколько минут я лежал неподвижно, вдавившись лицом в одну из нагло ухмыляющихся масок, а в спину мне упирался конец жестяной дудки. Потом я медленно выбрался на свет божий. Грузовик шел по Кинг-стрит. Я подумал: а что, если я в нем останусь, и он привезет меня к Анне? Но тут

же проникся уверенностью, что нет, не привезет. Вещи выглядели покинутыми, и гораздо вероятнее было, что их везут на склад какого-нибудь аукционного зала. Я стал медленно и печально перебирать их, узнавая и приветствуя одну за другой; а цветы я оборвал и посыпал кучу обломков лепестками пионов и роз с таким чувством, будто хороню какое-то диковинное начинание.

Пригнувшись, чтобы выпростать ногу из стеклянного ожерелья, я заметил что-то белое на шее лошади-качалки, которая лежала на боку, заваленная другим скарбом. К ее уздечке был прикреплен конверт. С испугом и тревогой я пригляделся: на конверте стояло «Дж.» Я отколол его и сам не свой от волнения, поспешно развернул лежавший в нем листок бумаги. Я прочел: «Жаль, что я не могла больше ждать. Ко мне обратились с одним предложением, и хотя оно мне не по душе, но чувствую, что принять его нужно. Анна». Ошеломленный, я смотрел на листок, и тяжкий камень горя ворочался у меня на сердце. Что это значит? Ах, почему я не приехал раньше? Что это за предложение? Может быть, Хьюго… Я рывком выпростал ногу, стеклянные бусины взлетели фонтаном, запрыгали и наконец успокоились в щелях и ямках раскачивающейся груды вещей.

Под звук рвущегося шелка я поднялся на колени и пополз к заднему борту. Мы как раз проезжали мимо Альберт-Холла.

В последний раз я обвел взглядом имущество Анны. Из-под полосатой шали выглядывала золоченая корона, которой я венчал ее на царство в ее безмолвных, размалеванных владениях. Я просунул в корону руку, подтянул ее повыше и приготовился прыгать. Перед светофором на Найтсбридж грузовик замедлил ход. Поднимаясь с колен, я увидел гром — он держался еле-еле, вонзившись одним углом в кучу тряпья. Я дотянулся до него и потряс что было силы. А потом соскочил на землю. Грузовик, набирая скорость, свернул на Бромптон-роуд, а зловещий звук все еще разносился по перекрестку, и прохожие останавливались, осматривались, прислушивались. Унося этот грохот в ушах, я вошел в Хайд-парк, растянулся на траве и почти в ту же минуту заснул.

Глава 10

Мне казалось, что я проспал много дней, но было всего половина двенадцатого. Я не сразу вспомнил, почему мне так скверно, и несколько минут смотрел на золоченую корону, которую и во сне не выпускал из рук, стараясь понять, что это такое и откуда она взялась. Когда печальные события этого утра прояснились, я стал думать, как же быть дальше. Первым делом нужно дотащиться до аптеки и принять что-нибудь от головной боли. Что я и сделал. Потом утолил терзавшую меня жажду у уличной колонки. Утолять жажду — одно из самых острых наслаждений; просто безобразие, что никто до сих пор не придумал, как его продлевать. Затем я сел на скамью у ворот Хайд-парка и, потирая виски, попробовал выработать какой-то план.

Мне было ясно, что с прежней жизнью покончено навсегда. Я умею понимать намеки судьбы. Какова будет новая жизнь, которой суждено возникнуть на обломках старой, — этого мне не угадать. А между тем нужно хотя бы попытаться разрешить кое-какие проблемы, иначе они не

дадут мне покоя. Возникла мысль — немедля мчаться на Холборнский виадук. Но я одернул себя: прежде чем говорить с Хьюго, нужно немножко очухаться, я пока еще был не в себе. Да и вряд ли Хьюго днем сидит дома. По первой из этих причин не стоило разыскивать его и на студии. Лучше я проведу день спокойно, после обеда, может быть, сосну, а потом уже снова пущусь по следам Хьюго. Гораздо охотнее я бы занялся поисками Анны. Но теперь я понятия не имел, где ее искать. И хотелось поскорее заглушить ужасное подозрение, что там, где я найду Хьюго, окажется и Анна. Думать об этом было невыносимо, и я не стал об этом думать.

Я стал перебирать в уме события последних дней и вдруг с досадой сообразил, что, второпях покидая квартиру Сэди, забыл взять с собой экземпляр «Молчальника», который решил конфисковать для собственных нужд. Чем больше я об этом думал, тем больше досадовал. Смогу ли я когда-нибудь снова беседовать с Хьюго — это покажет будущее; но мне представлялось, что так или иначе пришло время свежим глазом взглянуть на эту книгу и решить, есть ли в ней что-нибудь, что стоило бы сохранить для потомства. Нельзя же в самом деле так швыряться

своим прошлым. Человек, написавший этот любопытный диалог, еще живет во мне и, как знать, возможно, напишет и еще что-нибудь. Да, «Молчальник» — вот одно из неоконченных дел.

Где бы мне добыть эту книгу? В библиотеках и книжных магазинах ее не найдешь. Проще всего пойти к Сэди и взять ее там. Видеть Сэди мне не хотелось, но едва ли она сейчас дома. Проникнуть в квартиру я могу по способу Финна. Этот план очень мне понравился. Я займусь чем-то нужным и увлекательным и перестану терзаться мыслями об Анне и Хьюго. Утвердившись в своем решении, я поехал 73-м автобусом на Оксфорд-стрит, сдал корону Анны в камеру хранения на Оксфорд-Сэркус, выпил изрядное количество черного кофе и купил у Вулворта пачку шпилек.

Я принадлежу к тому разряду людей, которые лучше пройдут двадцать минут пешком, чем станут ждать пять минут на автобусной остановке, чтобы потом пять минут ехать автобусом. Когда я не нахожу себе места от тревоги, бездействие и ожидание — сущая пытка. Но стоит мне взяться за что-нибудь конкретное, пусть даже и безнадежное, как я снова доволен и на все остальное закрываю глаза. Теперь, шагая по Уэлбек-стрит, я чувствовал, что делаю полезное дело, и, хотя у ме-

ня болела не только голова, но и сердце, я вполне владел собой. Я свернул в проулок между домами, с легкостью отыскал пожарную лестницу Сэди и стал подниматься, нашаривая в кармане шпильку. Я твердо надеялся, что все обойдется без затруднений.

Однако, приближаясь к цели, я услышал голоса, несомненно доносившиеся из кухни Сэди. Неприятный сюрприз. Я приостановился. Потом подумал, что, может, это уборщица заболталась с какой-нибудь знакомой и я уговорю их впустить меня. Поднявшись еще на две-три ступеньки, я как будто узнал голос Сэди и хотел уйти, и вдруг кто-то произнес имя Хьюго. Интуиция подсказала, что речь идет обо мне. Я решил, что не мешает послушать дальше. Еще несколько ступенек — и я оказался в двух шагах от площадки Сэди, а голова моя пришлась чуть пониже матового стекла двери. Послышался смех, мужской и женский. Потом голос Сэди сказал: «Те, кто плюет на документы, — воск в руках тех, кто на них не плюет». Опять смех… звон как от кусочков льда в стаканах. Мужской голос что-то ответил. Слов я не разобрал, потому что слишком разволновался, узнав этот голос. Говорил Сэмми.

Я сел на ступеньку и сдвинул брови. Значит,

Сэди и Сэмми — друзья? Почему-то я сразу усмотрел в этом подвох, и мне стало больно за Мэдж. Впрочем, сейчас, да еще с такой тяжелой головой, нечего было и пытаться додумать все до конца. Можно было только собрать побольше впечатлений, а подумать успею и позже. Но оказалось, что, сидя, я не слышу слов, а стоять утомительно, особенно если стоять придется долго. Я переполз через последние ступеньки, отделявшие меня от площадки, и уселся скрестив ноги, спиной к двери. Здесь я был всего в нескольких футах от говоривших, и в то же время они не могли меня увидеть, если только им не вздумается отворить дверь; я, понятно, надеялся, что этого не случится.

Сэди сказала:

— Нужно его поймать, как только он приедет в Лондон. Он из тех, кому подавай fait accompli.[10] Важно не упустить инициативу.

Сэмми:

— Думаешь, клюнет?

Сэди:

— Либо клюнет, либо нет. Если нет, хуже не будет, а если да…

---

[10] Примечания: 10

Свершившийся факт; *здесь*: что-нибудь готовое *(франц.)*.

— Если да, — сказал Сэмми, — тогда держись!

Они опять рассмеялись. Возможно, они были навеселе. И, уж конечно, были одни.

— А ты уверена, что Белфаундер не станет скандалить? — спросил Сэмми.

— Говорю же тебе, это джентльменское соглашение.

— А ты не джентльмен! — сказал Сэмми и долго потом хохотал.

Я уже убедился, что правильно поступил, решив подслушивать. Сэди и Сэмми явно что-то замышляли. Но что? И кого нужно поймать в Лондоне? Вполне естественно, что Сэди хочет околпачить Хьюго — потому, без сомнения, что ревнует его к Анне. «Послушаем дальше», — подумал я и продолжал сидеть неподвижно, широко раскрыв глаза. Но тут дело приняло не совсем приятный оборот. Задняя стена дома смотрела на заднюю стену другого дома, выходившего на параллельную улицу. В том доме, прямо напротив меня, тоже была пожарная лестница, от которой меня отделяло всего каких-нибудь пятнадцать футов. Заслушавшись, я устремил взгляд прямо в одно из окон этого дома. Вернее, лицо мое было повернуто в ту сторону, но я был так поглощен другим, что ничего не замечал,

пока не обнаружил, что из комнаты напротив за мной внимательно наблюдают две женщины. Одна из них была в красном переднике, другая, мощного сложения, — в шляпе. Я быстро отвел глаза и тут же вновь переключил внимание на разговор, который шел у меня за спиной, потому что услышал свою фамилию.

Фразы я не разобрал. Следующую реплику подал Сэмми:

— Для сценария там есть все, что нужно.

— Молодчина Мэдж! — сказала Сэди. — Сумела угадать победителя.

— Зря она на него не поставила! — сказал Сэмми. Снова смех.

— Ты уверена, что он не может опротестовать? — спросил Сэмми.

— А чем он докажет? Документа у него наверняка нет, если и был, так он его потерял.

— И все-таки он может не разрешить нам его использовать.

— Как ты не понимаешь, — сказала Сэди. — Это же не важно. Он нам нужен только для того, чтобы заставить Г.К. подписать контракт.

Все это было захватывающе интересно, но о чем речь, я, хоть убей, не мог понять.

И тут меня снова отвлекли. Женщины в доме

напротив растворили окно и смотрели на меня с явным подозрением. Очень трудно не встретиться глазами с человеком, находящимся в пятнадцати футах от тебя и старающимся поймать твой взгляд, когда поблизости нет ничего такого, на что можно бы смотреть, не вызывая удивления. Я вежливо улыбнулся.

Они посовещались между собой. Потом та, что была в шляпе, крикнула:

— Вы хорошо себя чувствуете?

Я струхнул. Только железная дисциплина удержала меня от того, чтобы встать и обратиться в бегство. Ведь Сэмми и Сэди вполне могли ее услышать, думал я, а сам тем временем энергично кивал головой и радостно улыбался обеим дамам.

— Правда? — крикнула та, что в шляпе.

Я продолжал кивать что было сил, а к улыбке добавил жесты, выражающие отличное самочувствие, насколько они доступны человеку, который сидит, подпирая спиною дверь. Я пожал сам себе руку, поднял большой палец и заулыбался еще радужнее.

— Сдается мне, что он сбежал из желтого дома, — сказала вторая женщина. Они отошли от окна.

— Пойти сказать мужу, — донесся до меня голос одной из них.

Сэди и Сэмми все разговаривали. Уши мои, можно сказать, отскочили от головы и приклеились к двери.

— И чего ты нервничаешь? — говорила Сэди. Было совершенно ясно, кто играет первую скрипку в этом гнусном дуэте. — Предложи ему звезду, сценарий и контракты — и дело в шляпе. Юридически мы перед Белфаундером чисты, а если он вздумает жаловаться, так у меня сколько угодно контржалоб на его обращение со мной. А Донагью всегда можно купить.

Это меня так взбесило, что я чуть не ударил в дверь кулаком.

Но Сэмми быстро возразил:

— Ну, не знаю. Эти юнцы иногда до того щепетильны, что даже смешно.

«Спасибо, Сэмми!» — подумал я и, почувствовав, что сейчас расхохочусь, судорожно зажал рот ладонью.

Женщина в переднике опять появилась у окна, и в ту же минуту женщина в шляпе, очевидно проживавшая над нею, появилась у другого окна, повыше, в сопровождении мужчины.

— Вот он! — указала она на меня. Они вышли

на свою лестницу.

— Наверно, он глухонемой, — сказала женщина в переднике.

— Вы что, слова сказать не можете? — крикнул мужчина.

Час от часу не легче! Я злобно воззрился на него, вложил палец в рот и замотал головой. Я вполне допускал, что точнее передал бы свою мысль кивками, но возможности для недоразумений были столь безграничны, что, так ли, этак ли, все уже не имело значения.

— Он голоден, — сказала женщина в переднике.

— Да сделай же что-нибудь! — накинулась на мужа женщина в шляпе. Я от души пожалел беднягу.

Он почесал в затылке.

— Оставьте вы его в покое. Он ничего плохого не делает.

Слова его были так разумны, что я не мог не помахать ему в знак благодарности и сочувствия. Должно быть, это произвело жуткое впечатление. Он отпрянул.

— Нельзя оставлять его там, — сказала женщина в переднике. Она тоже вышла на лестницу. — Он смотрит прямо к нам в комнату. Ну́ как

дети увидят?

— Говорю вам, он откуда-то сбежал, — сказала верхняя соседка.

Тут отворилась третья дверь, пониже, из нее выглянула уборщица, и женщинам пришлось объяснять ей, что происходит. Я между тем обливался холодным потом от страха, что вся эта суета привлечет внимание Сэди и Сэмми, но либо они были слишком пьяны, либо слишком поглощены своим заговором — они пока ничего не заметили.

— Я бы его еще раз просмотрела перед встречей с Г.К., - говорила Сэди. — Где он, между прочим?

— У меня дома, — отвечал Сэмми.

— Давай сейчас же позвоним, пускай привезут.

— Там никого нет, разве что прибыла наша новая звезда, Но едва ли. — Он рассмеялся.

— Знаешь, по-моему, это была отнюдь не блестящая идея, — сказала Сэди. — Такие вещи нынче не в моде.

— Ревнуешь? — сказал Сэмми. — Ладно, зайду туда сегодня вечером и сам принесу. Идет?

— Идет, — сказала Сэди.

— *Поздно* вечером! — сказал Сэмми.

— Все равно идет! — сказала Сэди.

Смех и возня. Я пожелал им много радостей. Но

самым большим моим желанием было понять, что они замышляют.

— Рассчитываться с Донагью предоставляю тебе, — сказал Сэмми.

— У нас неважные отношения, — сказала Сэди. — Я тебе говорила, что хотела посадить его сторожить квартиру, а он удрал?

— Пока Белфаундер лезет в бутылку, тебе нужна вооруженная охрана, сказал Сэмми. — Зачем было нанимать такого остолопа, как Донагью? Это надо же было додуматься.

— Он милый, — сказала Сэди просто, чем глубоко меня тронула.

— Ну так и возись с ним.

— Да перестань ты трусить! — сказала Сэди. — Что один перевод, что другой, не все ли равно? Если он заартачится, завтра же можем купить другой перевод. Нам что нужно? Чтобы Г.К. увидел его по-английски. А француз — тот за доллары родную бабушку продаст.

У меня в глазах помутилось. Я уже нащупывал разгадку, но внезапно услышал ее от Сэмми.

— А название симпатичное, верно? «Деревянный соловей».

Я только рот разинул. Но на размышления мне не дали времени. Опять пришлось переключить

внимание на соседний дом: события там развивались стремительно.

— Самое милое дело — позвать полицию, — сказала уборщица. — Полиция с такими лучше управляется, верное слово.

Дом напротив боком выходил на мощенный булыжником переулок, который вел к Куин-Энн-стрит. Я увидел, что на углу этого переулка собирается небольшая толпа, привлеченная дискуссией на пожарной лестнице.

— Глядите, вниз смотрит! — сказала уборщица. — Все понимает.

— Пойди набери девять-девять-девять, — сказала мужу женщина в шляпе.

И тут уборщица, ненадолго исчезнув в доме, появилась, вооруженная длинной щеткой, какой обметают потолки.

— Вот я ткну его щеткой, посмотрим, что он будет делать, — сказала она. Поднявшись по лестнице, она нацелила щетку и больно ткнула меня в лодыжку.

Это было слишком. Но я слышал уже вполне достаточно. У меня были все данные, необходимые для решения задачи, а мысль, что Сэмми и Сэди в любой момент могут выйти на лестницу, вселяла в меня ужас.

Грациозно и неторопливо, под восхищенным взглядом множества глаз, я распрямил ноги и сполз на животе с первых трех-четырех ступенек. Потом встал, растер затекшие колени и не спеша пошел вниз по лестнице.

— Говорила я вам, что он сумасшедший, — сказала женщина в переднике.

— Он уходит! Сделай же что-нибудь! — сказала женщина в шляпе.

— Да пусть себе уходит, несчастный, — сказал муж.

— Живо! — сказала уборщица. И все они поспешили по своей лестнице вниз, к ожидавшей там кучке зевак.

Добравшись до земли, я быстро оглянулся, чтобы удостовериться, не вышел ли кто из квартиры Сэди. Никого. Мои мучители сбились в кучу в узком проулке. Мы молча поглядывали друг на друга.

— Тихонько к нему подбирайтесь, — сказала уборщица.

— Осторожней, он может наброситься, — сказал кто-то.

Они стояли в нерешительности. Я оглянулся. Путь на Уэлбек-стрит был свободен. С пронзительным шипеньем я сделал выпад в их сторону,

и они в панике разбежались — кто назад, на лестницу, кто в проулок. Тогда я круто повернул к Уэлбек-стрит и пустился наутек.

Глава 11

Я завернул в первое попавшееся тихое местечко — это оказался музей Уоллеса, — чтобы без помехи сложить воедино разрозненные куски головоломки. Усевшись напротив развязно ухмыляющегося «Кавалера» Франса Гальса, я принялся за дело. Мозг мой все еще работал вяло. Мой перевод «Деревянного соловья» Бретейля, который я оставил у Мэдж, похищен Сэмми. Нет, не так, Мэдж подарила его Сэмми. Зачем? Чтобы из него сделали фильм. Кто будет делать фильм? Какой-то Г.К., который не знает французского. Вероятно, американец. Что выгадает на этом Сэди? Сэмми продает идею этому янки и заодно продает ему Сэди. А «Баунти — Белфаундер»? Сэди их безбожно надувает. Могут они удержать ее? Видимо, нет, юридически она с ними не связана. А я? Соглашусь я или нет — им что, им лишь бы продать идею этому Г.К. Может быть, Жан-Пьер защитит мои интересы? Нет, куда там. Он потянется за долларами, прямо через мою голову. Да и есть ли у меня какие-нибудь права? Ни малейших. Так на что же я жалуюсь? Украли мою рукопись.

Украли? Мэдж показала ее Сэмми, а Сэмми покажет этому Г.К. Украли? А о чем думает Мэдж? Сэмми обманул ее и бросил ради Сэди. Сэмми использует Мэдж, а Сэди использует Сэмми, чтобы отомстить Хьюго и одновременно заработать кучу долларов. Картина стала проясняться. И что хуже всего, ведь из «Деревянного соловья» и в самом деле получится первоклассный фильм. В нем действительно есть для этого все, что нужно. В те далекие дни, когда Мэдж воображала, что сумеет уговорить меня наживать деньги, она сколько раз твердила мне об этом. Бедная Мэдж! Да, она сумела угадать победителя, но выигрыш загребут Сэди и Сэмми.

— Этого я не допущу! — воскликнул я и направился к выходу.

— Очень занимательная история, — сказал Кавалер. — Приветствую ваше решение.

Какое же я принял решение? Единственно возможное — немедля попытаться добыть свою рукопись. Сделав это, я отстою собственные интересы и интересы Хьюго, а главное — подложу свинью Сэди и Сэмми. Кроме того, я выступаю в защиту Мэдж. Где рукопись? На квартире у Сэмми. Где квартира Сэмми? Тот же источник всяческой информации, к которому я уже при-

бегал, сообщил мне, что Сэмми живет в Челси. Времени терять нельзя, это ясно. Рукописью нужно завладеть до того, как ее увидит Г.К. Судя по тому, что говорила Сэди, они ее еще не перепечатали. Из слов Сэмми можно заключить, что раньше вечера он у себя на квартире не будет. Он сказал, что, по всей вероятности, там никого нет. Я набрал номер квартиры — никто не ответил. Тогда я решил, что мне срочно нужен Финн.

Я позвонил к Дэйву, и через некоторое время Финн отозвался несколько сдавленным голосом. Я выразил свою радость по поводу того, что он не утонул, и сказал, что мне нужно как можно скорее с ним встретиться. Поняв, с кем говорит, он долго ругал меня по-ирландски за то, что я его разбудил. Я его поздравил и спросил, когда он может выйти из дому. Поворчав сколько полагается, он наконец обещал быть на Кингс-роуд примерно через три четверти часа, и в назначенное время встреча состоялась. Было без двадцати три.

На всякий случай я попросил Финна захватить с собой некое приспособление, которое мы называли «чудо-ключ» — несложной конструкции отмычку, совместно спроектированную нами на научной основе. Вас может удивить, что мы с Финном, два ничем не выдающихся и

законопослушных гражданина, сочли нужным обзавестись этим орудием. Но мы на опыте убедились, что в таком обществе, как наше, сплошь и рядом оказываешься перед необходимостью проникнуть через запертые двери, от которых не имеешь ключа, просто — как в данном случае — в порядке защиты своих интересов. Да и, наконец, случается иногда забыть дома даже собственный ключ, и нельзя же всякий раз вызывать пожарных.

Мы еще раз удостоверились по телефону, что квартира Сэмми пуста, а затем, уже по дороге, я кратко обрисовал Финну положение вещей. Он так заинтересовался, что забыл про свое плохое настроение. Однако было ясно, что хмель с него еще не соскочил: он слегка косил, как всегда в таких случаях, и на ходу все время встряхивал головой. Я часто спрашивал Финна, почему он с похмелья трясет головой, и он объяснил, что этим отгоняет черные точки, которые мелькают у него перед глазами. Как ни странно, я могу безнаказанно выпить больше, чем Финн с его ирландским воспитанием; впрочем, на этот раз могло случиться и так, что если я, подобно Моржу, проглотил все что мог, то Финн, подобно Плотнику, проглотил больше. Он наделен почти

сверхъестественной способностью находить спиртное в любое время дня и ночи. Так или иначе, он был в неважной форме, в то время как я уже чувствовал себя превосходно, только немножко сосало под ложечкой.

Я не обольщался надеждой, что проникнуть к Сэмми будет легко. Человек его склада вполне мог поставить замок с секретом или, еще того чище, сигнал от воров. И жил он в одном из тех роскошных многоквартирных домов, где нашу работу мог прервать швейцар или еще какой-нибудь досужий бездельник. Дойдя до места, я велел Финну обойти здание с другой стороны посмотреть, нет ли там подъезда для поставщиков, на случай если нам помешают, а сам вошел с парадного, зорко высматривая швейцаров. Мы встретились перед дверью Сэмми, на пятом этаже. Финн доложил, что в доме имеется вполне приличный, спокойный подъезд для поставщиков. Я же сообщил ему, что видел только одного швейцара — он сидел в стеклянной клетке у парадного входа и, судя по всему, не собирался оттуда выходить. Финн быстро извлек «чудо-ключ», а я стал на страже в конце коридора. Через две минуты дверь Сэмми бесшумно отворилась, и мы вошли.

Мы оказались в просторной прихожей. Сэмми

занимал одну из больших угловых квартир. Попробовали одну дверь — она вела в кухню.

— Обыщем гостиную и его спальню, — сказал я.

— Спальня здесь. — И Финн стал выдвигать ящики. Он умеет брать вещи и класть их на прежнее место быстро и ловко, как рабочий на сдельщине; по его собственному выражению, никакой черт не разберет, что кто-то трогал его вещи, разве что подумает, будто их пошевелило летним ветерком. Оба мы, разумеется, были в перчатках. С минуту я смотрел, как он работает, а потом пошел в другую комнату, по моим расчетам — главную гостиную. И правда, за дверью оказалась большая угловая комната с окнами в двух стенах. Но то, что я в ней увидел, приковало меня к месту.

Я смотрел, смотрел, а потом кликнул Финна:

— Ну-ка, поди сюда!

Он подошел к двери и вскричал:

— Мать пресвятая богородица!

В самой середине комнаты стояла новенькая алюминиевая клетка фута в три высотой и площадью пять футов на пять. А в клетке, тихонько ворча и скосив на нас беспокойный блестящий глаз, лежала огромная черно-рыжая овчарка.

— Она может оттуда выйти? — спросил Финн.

Я приблизился к клетке — собака заворчала громче и в то же время с присущей собакам непоследовательностью энергично забила хвостом.

— Ты с ней поосторожней, еще набросится, — сказал Финн. Он вообще не любитель собак.

Я осмотрел клетку.

— Она не может выйти.

— Ну и слава богу. — Выяснив этот пункт, Финн, видимо, потерял всякий интерес к явлению в целом. — Ты только не дразни ее, а то поднимет вой, еще полиция явится.

Я пригляделся к собаке; у нее была добрая, умная морда, она как будто улыбалась, хотя и ворчала.

— Здорово! — сказал я и просунул руку между прутьями клетки. Собака затихла и быстро облизала мне руку. Я погладил ее по длинному носу.

— Нечего с ней любезничать, — сказал Финн. — Времени у нас в обрез.

Это я знал. Финн вернулся в спальню, я занялся гостиной. Мне очень хотелось найти свою рукопись. Я с восторгом представлял себе, как разъярится Сэмми, обнаружив ее исчезновение. Я перерыл письменный стол и секретер. Потом обыскал шкаф в прихожей. Заглядывал в чемо-

даны, в портфели, под диванные подушки и за книги, даже обшарил карманы всех пиджаков Сэмми. Мне попалось много интересного, но рукописи не было. Ни следа. Финн тоже ее не нашел. Мы поискали в остальных комнатах, но уже мало надеясь на успех — здесь, как видно, почти не жили.

— Вот черт, — сказал Финн. — Где бы еще поискать?

— У него наверняка есть потайной сейф. — На эту мысль меня навело то обстоятельство, что письменный стол не был заперт. Если я не ошибся в Сэмми, ему было что прятать.

— Допустим, — сказал Финн, — а что толку? Открыть-то мы его все равно не сможем.

Он, конечно, был прав. И все же мы еще раз обошли всю квартиру, выстукивая половицы, заглядывая за картины, удостоверяясь, что не пропустили ни одного ящика или шкафчика.

— Пошли, — сказал Финн. — Хватит. — Мы пробыли здесь уже больше сорока минут.

Я стоял в гостиной и ругался.

— Где-то она должна же быть.

— Правильно, — сказал Финн. — И где есть, там и останется. — Он указал на свои часы.

Все это время собака следила за нами, постуки-

вая о прутья мохнатым хвостом.

— Эх ты, сторож называется! — сказал ей Финн.

Клетка была достаточно высока, чтобы собака могла в ней стоять, но навострить уши ей мешал потолок, сделанный, как и пол, из сплошного алюминия.

— Бедняга! — сказал я. — А в общем, Финн, все это очень странно. В жизни не видел, чтобы собак сажали в клетки, а ты?

— Наверно, она какая-нибудь особенная, — сказал Финн, Я свистнул. Мне сразу вспомнились слова Сэмми насчет новой звезды; и в ту же секунду я узнал собаку.

— Ты смотрел «Месть красного Годфри»? — спросил я Финна. — Или «Потоп и пятеро»?

— Ты что, с ума сошел?

— Или «Ферму мечтателя», или «Розыски в росе»?

— Да что с тобой? — сказал Финн.

— Это же Мистер Марс! — воскликнул я, указывая на собаку. — Это Отважный Мистер Марс, собака-звезда. Неужели не узнаешь? Сэмми, наверно, купил его для нового фильма! — Это открытие так увлекло меня, что я совсем забыл про рукопись. Что может быть интереснее, чем

встретить звезду не на экране, а в жизни, а я ведь уже много лет был поклонником Марса.

— Да ну тебя, совсем спятил, — сказал Финн. — Все овчарки одинаковые. Пойдем, пока сам не вернулся.

— Но это же правда Марс! — воскликнул я. — Ты Мистер Марс, да? — спросил я собаку. Она запрыгала и еще пуще завиляла хвостом. — Вот видишь? — сказал я Финну.

— Подумаешь! — фыркнул Финн. — Ты Рин-Тин-Тин, да? — спросил он собаку, и та в ответ забила хвостом еще быстрее.

— А это, по-твоему, что? — спросил я.

По верху клетки шла малозаметная надпись: «Отважный Мистер Марс», а с другой стороны — «Собственность К⁰ Фантазия-фильм».

— Вот это уже устарело, — сказал я.

— Ладно, не спорю, — сказал Финн. — Я пошел. — И он двинулся к двери.

— Ой, подожди! — крикнул я с такой горячностью, что он остановился.

Меня осенила потрясающая идея. Пока она медленно оформлялась, я сжал руками виски и не отрывал глаз от Мистера Марса, а он раза два ободряюще тявкнул, точно зная, о чем я думаю.

— Финн, — сказал я, — у меня потрясающая

идея.

— Что еще? — недоверчиво спросил Финн.

— Мы похитим собаку.

Финн широко раскрыл глаза.

— Какого дьявола?

— Как ты не понимаешь? — закричал я и пустился плясать по комнате, только сейчас оценив всю дерзость и простоту собственного плана. — Мы возьмем его как заложника и потом обменяем на рукопись!

Во взгляде Финна озадаченность сменилась долготерпением. Он прислонился к косяку двери.

— Не пойдут они на это, — заговорил он медленно, как говорят с ребенком или с сумасшедшим. — Да и нам ни к чему. Только наживем неприятностей. И времени нет.

— Я не уйду отсюда с пустыми руками! — заявил я.

Элемент времени, конечно, заслуживал внимания. Но меня так и подмывало ввязаться в эту историю. Почему бы не рискнуть? Позиция Сэмми в отношении моей рукописи по меньшей мере сомнительна, значит, в драку он не полезет. Если б удалось, уведя Марса, поставить его в затруднительное положение или даже убедить, что

Марсу грозит опасность, он, возможно, пошел бы на переговоры. В общем, никакого четкого плана у меня не было. Обычно я принимаю решения быстро, интуитивно. Я знал одно: представляется возможность поторговаться, и дурак я буду, если не воспользуюсь ею. Даже если все сведется к тому, что я доставлю Сэмми несколько неприятных минут, и то есть смысл попробовать. Объясняя все это Финну, я уже осматривал клетку — искал, где она открывается. Финн, видя, что меня не отговоришь, пожал плечами и тоже стал осматривать клетку, а Марс, поворачиваясь внутри клетки следом за нами, наблюдал нашу деятельность с явным одобрением.

Загадочная клетка! У нее не было дверцы, не видно было ни замка, ни засова, ни винтика. Прутья плотно входили в пол и в потолок.

— Может быть, одна сторона съемная, — сказал я. Но даже следа каких-либо затворов мы не обнаружили. Вся клетка была гладкая, как обкатанный морем камешек.

— Запаяна наглухо, — сказал Финн.

— Не может быть. Не могли же они так втащить ее на пятый этаж!

— Значит, тут есть какой-нибудь секрет. — Это замечание мало помогло делу. — Будь у нас моло-

ток, да если б знать, где ударить… — продолжал Финн. Но молотка не было. Я постучал по клетке ногой, тоже без всякого толку.

— А если сломать прутья?

— Они крепкие, как лоб самого дьявола, — сказал Финн.

Я пошел в кухню поискать подходящий инструмент, но там не оказалось даже плоскогубцев, не то что лома. Мы попробовали просунуть кочергу, она погнулась, а прутья не подались ни на миллиметр. Я был вне себя. Послать бы Финна за напильником, да время было позднее. Финн посматривал на часы. Я знал, что ему не терпится уйти, но знал и то, что, раз уж мы занялись этим делом, он не бросит меня, пока он мне нужен. Сидя на корточках возле клетки, он, так же как и Марс, смотрел на меня снизу вверх, и во взгляде его светилась доброта, которую он приберегает для трудных минут.

— Всякий раз, как я слышу на лестнице шум, у меня делается сердечный приступ, — сказал Финн.

То же мог сказать о себе и я. И все же я не намерен был уйти без Марса. Я снял перчатки: события вступали в новую фазу.

— Тогда возьмем всю клетку, — сказал я.

— Она не пройдет в дверь. И потом, нас тогда уж наверняка задержат.

— Попробуем. Если не пройдет в дверь, обещаю поставить на этом крест.

— Ничего другого тебе и не останется, — сказал Финн.

Я не сомневался, что клетка пройдет в дверь. Но для этого ее придется поставить набок. А на алюминиевом полу стояла миска с водой.

— Вот тебе и доказательство, — сказал Финн. — Конечно же, ее собирали здесь. Нам ее не вытащить.

Я взял вазу для цветов и, держа ее у самых прутьев, перелил в нее воду из миски. Потом мы стали очень осторожно переваливать клетку набок. Марс, внимательно следивший за нами, заволновался.

— Берегись, — сказал Финн, — как бы он не откусил тебе руку. — Мы все поднимали один край клетки, пока она не легла набок, а Марс в это время скользил вниз, пока не встал на прутья, которые теперь оказались на полу. Он нервно залаял.

— Тихо! — сказал я ему. — Вспомни, в какую переделку ты попал в «Мести красного Годфри», и то все кончилось хорошо!

— Когда мы поднимем клетку, — сказал Финн, — лапы у него попадут между прутьями, он может сломать ногу.

Это была разумная мысль. Мы задумались. Позднее время нас уже не смущало. Теперь мы готовы были, если понадобится, пробыть здесь еще хоть два часа.

— Надо натянуть что-нибудь на прутья. — Я схватил скатерть, запихал ее в клетку и попробовал расправить под ногами у Марса. Но он тут же начал теребить ее и свалял в комок.

— Надо как-то закрепить… — сказал Финн.

— Веревкой.

— Веревка соскользнет. Нужно что-нибудь длинное, чтобы связать концы с той стороны.

Он исчез и через минуту возвратился с простыней. Мы приложили ее к клетке.

— Не сойдется, — сказал Финн.

Я попробовал привязать углы простыни к прутьям, но простыня была туго накрахмалена, и узлы не затягивались. Мы в отчаянии оглядели комнату.

— А если занавеской? — предложил я.

— Стремянку надо, так не снимешь.

— Некогда. — И я силой рванул занавески книзу.

Кронштейны выскочили из стены, и занавески, гремя кольцами, свалились прямо на нас. Мы сняли одну из них с карниза. Она была длиннющая. Мы растянули ее внутри клетки, заставив Марса перебраться на нее. Концов вполне хватало, чтобы связать их под прутьями. Но как их туда просунуть?

— Домкрат нужен, — сказал Финн.

Я взял два стула и поставил их по обе стороны клетки.

— Поднимай, — сказал я.

Но едва клетка отделилась от пола, как лапы Марса проскочили между прутьями, и занавеска скомкалась и повисла. Марс громко залаял. Мы опустили клетку.

Я посмотрел на Финна. Он обливался потом. Финн посмотрел на меня.

— Знаешь, что мне пришло в голову? — сказал он спокойно.

— Что?

— Даже если мы каким-нибудь чудом свяжем занавеску, узел стянет ее в один жгут, так что ему все равно не на чем будет стоять. Ясно?

Все было ясно. Мы задумчиво прислонились каждый к своему концу клетки.

— Может, все-таки лучше веревкой? — начал

Финн. — Если взять две веревки, продеть в кольца тут и тут, а потом прорезать две дырки…

— К черту! — крикнул я. — Ничего мы больше не будем пробовать. — И я стал вытаскивать занавеску из-под Марса. Он, не мешкая, ухватил ее конец зубами и не желал выпускать. — Отними у него занавеску, — приказал я Финну.

— Сам отнимай. А я буду тянуть.

Я не без труда разжал Марсу челюсти, и мы вытащили то, что осталось от занавески. И тут я сел на пол и, прислонясь головой к прутьям, истерически расхохотался.

— Мне тоже что-то пришло в голову, — сказал я Финну.

— Что?

— Может быть, она все-таки не пролезет в дверь!

От смеха я еле смог это выговорить. Финн тоже расхохотался, и мы оба легли на пол и хохотали до полного изнеможения.

Потом мы стали искать, где Сэмми держит виски, и, найдя, опрокинули по стаканчику. Финн, судя по всему, был готов продолжать, но я увел его обратно к клетке.

— Давай! — бодро сказал я. — А с лапами своими пусть делает что хочет.

С двух концов мы подняли клетку за прутья. Марс стал было скользить и съезжать вбок, но вскоре выяснилось, что, заботясь о его благополучии, мы недооценили его сообразительность. Поняв, что ему не на чем стоять, кроме как на прутьях, он незамедлительно поджал ноги и разлегся на стенке клетки, не вполне, видимо, довольный своей подстилкой, но невозмутимо спокойный. При виде этого нас опять разобрал такой смех, что пришлось опустить клетку на пол.

— Ради бога! — простонал я наконец, и мы двинулись к двери.

Клетка сама по себе была очень легкая, почти весь вес приходился на Марса, Нести ее было совсем нетрудно. Вдруг я затаил дыхание: клетка зацепилась за косяк.

— Полегче! — предостерег я Финна. Он шел задом, и я увидел, что глаза у него стали круглые, как блюдца. Мы молча повертели ее так и сяк. И вот уже Финн, пятясь, выбрался в прихожую и клетка прошла в дверь, как поршень в цилиндр. Ни полдюйма лишних.

— Ура! — крикнул Финн.

— Погоди, там еще одна дверь.

Мы открыли дверь в коридор. Клетка проскользнула в нее, точно смазанная вазелином.

Мы поставили ее на пол и обменялись рукопожатием. Я вернулся в квартиру и бросил прощальный взгляд на гостиную Сэмми; она напоминала поле сражения, но тут уж я ничего не мог поделать.

Я совсем было собрался захлопнуть дверь в квартиру, но Финн меня остановил.

— Слушай, даже если мы выберемся из дома, как ее увезти? Нами полиция заинтересуется.

— Возьмем такси.

— В обыкновенное такси она не влезет. Придется искать со спускным верхом.

— Ну все равно, возьмем грузовое.

— А пока куда мы ее денем?

Я перевел дух.

— В общем, ты прав. Ступай на улицу и приведи растреклятое такси со спускным верхом, или грузовик, или черта в ступе, только не позже чем через десять минут. Если не выйдет, возвращайся, вынесем ее на улицу и будь что будет. Я подожду здесь.

— А может, лучше там? — сказал Финн.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Потом подняли клетку и внесли в квартиру Сэмми.

— Я буду ждать в коридоре, — сказал я. — Если появится Сэмми, так я просто уйду. Если ты

вернешься и меня нет, будешь знать, что все пропало.

Мы опять обменялись рукопожатием, и Финн ушел. Я стоял в коридоре, кусая ногти и прислушиваясь к каждому шороху. Мысль, что Марс и сейчас еще может ускользнуть у меня между пальцев, приводила меня в неистовство. Я пошел поглядеть на него, поговорил с ним через решетку. Потом нашел у Сэмми на кухне пару свиных котлет и преподнес их Марсу. А потом снова занял свой пост в коридоре.

Минут через пять на лестнице раздались шаги, я приготовился к бегству, но это оказался Финн. Вид у него был поразительно хладнокровный.

— Нашел такси с верхом, — сказал он.

Мы подняли клетку и снова вынесли ее в коридор. Я затворил за собою дверь, и мы направились к лестнице.

— Выйдем с черного хода, — сказал я, — чтобы не мимо швейцара.

— А такси у парадного.

— Ну, значит, пронесем ее кругом снаружи.

Тут Марс выронил котлету, я наступил на нее, и мы чуть не загремели по лестнице. Но мне уже было все равно. Добравшись до нижнего этажа, мы круто свернули к заднему подъезду.

Он оказался заперт. Только мы это обнаружили, как чей-то голос за нами крикнул: «Эй!» — и мы подскочили, точно от выстрела. Это был швейцар — толстый, неповоротливый мужчина с упрямым выражением лица.

— Здесь ходу нет, — сказал он.

— Почему? — спросил я.

— Потому что в четыре тридцать закрываем.

— Ну что ж, тогда выйдем там. — В ту минуту я готов был вынести Марса на улицу даже через его труп. — Подымай! — сказал я Финну. Мы подняли клетку.

— Стой! — сказал швейцар и загородил нам дорогу. Рот у него был набит жевательной резинкой.

— Мы спешим, — сказал я ему. — Вперед марш! — Оттолкнув швейцара, мы двинулись к главному подъезду. Через стеклянную дверь мне уже видно было такси и шофера, и казалось — я вижу землю обетованную.

Швейцар обогнал нас и взялся за ручку двери.

— Стой, я кому говорю?

— Я вам сказал, что мы спешим.

— А я должен узнать, что вы делаете и кто вас уполномочил.

— Мы увозим отсюда это животное, — сказал

я. — А уполномочил нас мистер Старфилд. Возражения имеются?

Швейцар пожевал свою жвачку и наконец заговорил:

— Возражения? Какие там возражения! Я сам сколько раз говорил мистеру Старфилду — не полагается в этом доме собак держать. А он говорит, это, мол, не простая собака, а ученая. Ученая? — говорю, ну так пусть свою ученость где-нибудь еще показывает, а то, говорю, напущу на вас правление. Я, говорю, сказал вам, что это не полагается. Да если б только захотел, я мог бы вас, говорю, отсюда выселить. И денег мне не предлагайте, ни к чему это. Мне не интересно из-за вас место терять. Я свои обязанности должен выполнять или нет? Я, говорю, не о себе стараюсь. По мне, говорю, хоть собаку держите, хоть женщин приводите. Но раз, говорю, такое правило…

Во время этой тирады мы вынесли Марса на улицу. Шофер, уже опустивший верх такси, помог нам погрузить клетку. Она заняла всю машину — нижнее ее ребро не доставало до полу, другое торчало над спущенным верхом. Бедный Марс снова очутился на своем алюминиевом полу, но, так как пол был наклонен под углом в 45 градусов, несчастный пес съехал на прутья вместе с

миской, которая отчаянно гремела, пока мы устанавливали клетку. По счастью, он не переставал со смаком жевать вторую котлету, и это не давало ему лаять.

— Бедняга! — сказал шофер, воспринявший все происходящее весьма философски. — Ему же неудобно. Давайте-ка попробуем так... — И он опять потянулся к клетке.

— Оставьте! — крикнул я. — Так очень хорошо.

— А для вас-то места и не осталось.

— Места сколько угодно. — Я дал швейцару полкроны. Финн сел рядом с шофером, а я залез на клетку и примостился в щели между ней и спинкой переднего сиденья.

— Так не годится, — сказал шофер. — Вы бы лучше...

— Да поезжайте же ради всего святого! — заорал я. Не хватало еще, чтобы у него забарахлил мотор. Но мотор не подвел. Швейцар помахал нам вслед, и мы покатили на Кингс-роуд.

Финн обернулся, и, глядя друг на друга, мы беззвучно рассмеялись долгим смехом, удовлетворенным и торжествующим.

— Куда ехать-то? — спросил шофер, тормозя на углу Кингс-роуд. — Вы ведь не сказали.

— Держите к Фулхему, потом уточним. — Мне

вовсе не улыбалось встретиться с машиной Сэмми, когда он будет возвращаться от Сэди. Мы, очевидно, очень бросались в глаза, на нас все оборачивались. — Слушай, — сказал я Финну. — Первым делом надо купить напильник и выпустить пса из клетки.

— Магазины закрыты, — сказал Финн.

— Ничего, откроют. Остановитесь у скобяной лавки, — попросил я шофера.

Тот и бровью не повел. Шофера лондонского такси ничем не удивишь. Он остановился перед скобяной лавкой на Фулхем-Палас-роуд, и мы, немного постучав и немного повздорив, приобрели напильник.

— А теперь, — сказал я, — отвезите нас в какое-нибудь тихое местечко, чтобы можно было спокойно поработать.

Шофер хорошо знал Лондон. Он въехал на заброшенный лесной склад у Хэммерсмитского моста и помог нам сгрузить клетку. Я бы с удовольствием отпустил его, но не был уверен, хватит ли у нас денег ему заплатить. У Финна, как всегда, было при себе три шиллинга и не то восемь, не то десять пенсов. За кого нас принимал шофер — одному богу известно. Что бы он ни думал, вслух он не высказал ничего. Может, он

считал, что чем подозрительнее мы себя ведем, тем больше он получит на чай.

Мы стали, чередуясь, работать напильником, но, как ни старались, прошло добрых полчаса, прежде чем Мистер Марс очутился на воле. Прутья не желали сгибаться, даже когда один конец уже был подпилен, так что пришлось перепиливать их в двух местах. Пока мы работали, Марс лизал нам руки и нетерпеливо повизгивал. Он прекрасно понимал, к чему идет дело. Наконец мы вытащили три прута, и не успел третий отвалиться, как Марс уже стал протискиваться в дыру. Я принял огромного, гладкого пса в свои объятия, и через минуту мы все уже носились по складу и под громкий лай и крики восторга праздновали его освобождение.

— Смотри, чтоб не убежал, — сказал Финн.

Мне не верилось, что Марс способен на такую неблагодарность — неужели он нас покинет после всего, что мы для него сделали? — но все же я крикнул: «Сюда!» — и почувствовал облегчение, когда он послушался.

Потом мы стали обсуждать, что делать с клеткой. Финн предложил бросить ее в реку, но я был против. Человек, бросающий что-то в воду, — самое ненавистное зрелище для лондонской

полиции. В конце концов мы решили пусть лежит, где лежит. Ведь мы не так уж заботились о том, чтобы замести следы, да и вряд ли это было возможно.

Пока мы разговаривали, шофер задумчиво поглядывал на клетку.

— Ненадежны эти модные замки, — сказал он. — То и дело заедают. — Он просунул руку между прутьями и нажал кнопку на нижней стороне потолка. В ту же секунду одна из стенок откинулась вниз бесшумно и мягко. Это положило конец дискуссии. Мы с Финном воззрились на шофера. Он ответил нам младенчески невинным взглядом. На комментарии мы уже были неспособны.

* * *

— Знаешь что? — сказал Финн. — Я устал. Давай зайдем куда-нибудь отдохнуть.

Я отдыхать не собирался, но Финна теперь можно было, пожалуй, отпустить. Мне вдруг захотелось остаться вдвоем с Марсом. Я дал Финну пять шиллингов — все, без чего мог обойтись, — и велел ему ехать в нашем такси на Голдхок-роуд и остальное занять у Дэйва. Ему жаль было покидать меня, и пришлось довольно долго внушать ему, что он исполняет как раз мое же-

лание. Наконец такси уехало, а мы с Мистером Марсом отправились пешком к Хэммерсмитской площади.

Я шел быстро, Марс бежал рядом, и я ликовал. Мы то и дело поглядывали друг на друга, и я чувствовал, что он относится ко мне так же одобрительно, как я к нему. Я был растроган его послушанием. Меня всегда удивляет, когда какое-нибудь живое существо повинуется моему слову. Сейчас кража Марса казалась мне одним из самых вдохновенных поступков в моей жизни. И я уже не думал о том, что буду с ним делать. Я начисто забыл про Сэди и Сэмми. Просто мне было приятно, что столько усилий не пропало даром и Марс со мной. С высоко поднятой головой мы вошли в «Герб Девоншира» на Хэммерсмитской площади.

Марс привлек всеобщее внимание. Кто-то сказал: «Хороша у вас собака!» Я дал заказ и увидел на стойке вечернюю газету. Мне пришло в голову, что сейчас самое время заняться выяснением, кто кроется за буквами Г.К. Заодно, возможно, выяснится и график, по которому работают Сэди и Сэмми. Я стал просматривать газету. Долго искать не пришлось. Один из заголовков гласил: «КИНОМАГНАТ НА БОРТУ „К.Э.“» А ниже стояло:

«Голливудский король едет в Британию за новыми идеями». И текст:

> В одной из самых комфортабельных кают лайнера «Куин Элизабет», вскоре прибывающего в Лондон, сидит, попивая кока-колу, незаметный маленький человечек. Его имя, мало известное широкой публике, в Голливуде творит чудеса. Те, кто вхож за кулисы мира кино, знают, что Гомер К.Прингсхейм это сила, которой держится не один трон, которая создала и сгубила не одну кинокарьеру. М-р Прингсхейм ведет простую жизнь и предпочитает держаться в тени. На пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что едет в Европу «главным образом как турист». Однако известно, что Г.К., как этого вершителя судеб любовно называют в Лос-Анджелесе, занят поисками новых звезд и новых идей. На вопрос, является ли он сторонником более тесного сотрудничества между кинематографией Англии и США, м-р Прингсхейм ответил: «Пожалуй».

Тут по крайней мере загадок не осталось. Инте-

ресно, думал я, как Сэди рассчитывает получить доступ к Г.К. и сколько ей потребуется времени, чтобы добиться контракта. Я не сомневался, что она действует наверняка. Вероятно, она успела очаровать «незаметного маленького человечка» во время его предыдущего посещения Англии. Зевать было нельзя. Теперь узнать поточнее, когда прибывает «Элизабет».

Я опять взялся за газету, посмотреть, нет ли там объявления на этот счет, и вдруг в самом низу страницы увидел коротенькую заметку:

АННА КВЕНТИН — В ГОЛЛИВУД?

Любителям пения, несомненно, знакомо имя Анны Квентин — замечательной исполнительницы блюзов, певицы с разнообразным репертуаром. Поклонники таланта мисс Квентин, которых она недавно так огорчила, удалившись с эстрады, встретят весть об ее отъезде в Голливуд со смешанными чувствами. Уезжая ненадолго в Париж, мисс Квентин не пожелала ни подтвердить, ни опровергнуть слух, будто она подписала долгосрочный контракт на работу в Америке и скоро отплывает туда на «Ли-

берте». Мисс Квентин — сестра известной киноактрисы Сэди Квентин.

Я изучал эту заметку минут десять, пытаясь что-то прочесть между строк. Как и другие поклонники таланта мисс Квентин, я испытывал смешанные чувства. И прежде всего — глубокое облегчение. Несомненно, этот голливудский контракт и есть то предложение, которое она приняла так неохотно. Возможно, она решила, что бегство — единственный способ избавиться от домогательств Хьюго. С другой стороны, я знал, что Анне нелегко будет расстаться с Европой. Что до меня, то раз я ее все равно теряю, так уж лучше пусть она достанется Голливуду, а не Хьюго. Из Голливуда она может вернуться; да и не сказано, что она уже окончательно решила ехать. Зная ее характер, я подозревал, что если б она после серьезных колебаний приняла какое-то твердое решение, то не преминула бы оповестить об этом всех и каждого.

Такова была моя первая реакция. Однако уже через пять минут после того, как главные страхи рассеялись, я уподобился человеку, который, излечившись от лихорадки, обнаруживает, что у него болит зуб; иными словами, до меня дошло,

что и новое положение вещей неутешительно. Правда, после свидания с Анной я не испытывал особенно острого желания снова бежать в Речной театр и навязываться ей со своими чувствами. Но я знал, что Анна там, и был уверен, что скоро она меня позовет. Она и позвала, вспомнил я с тоской. И тут мне пришло на ум, что, если выехать немедля, я еще могу застать ее в Париже и отговорить от поездки.

Некоторое время я носился с этой мыслью. Мои мечты нарушил Марс, положив мне на колено сухую тяжелую лапу.

— Да, — сказал я, — о тебе-то я и забыл.

Конечно, Марса можно было просто вернуть Сэмми. Если я не захочу видеть, какое Сэмми сделает лицо, я могу привести Марса в Челси и привязать в коридоре, у двери. Или даже сдать его в полицейский участок. На что мне, в конце концов, «Деревянный соловей»? Ну их к черту, пусть оставляют себе. И тут мне стало казаться, что, выкрав Марса, я совершил невероятную глупость. Не поставь я себя этим в положение виновного, я мог бы разговаривать с ними о рукописи с высоких моральных позиций — у Сэмми, во всяком случае, совесть была нечиста — и выудить из них кучу денег. А теперь эта собака меня же связала.

Если бы не она, я мог бы позабыть эту скучную канитель и пуститься в погоню за Анной.

Но, с другой стороны, продолжал я думать, уехать сейчас было бы непростительно. Что необходимо — так это предостеречь Хьюго относительно планов Сэди. Сделать он, вероятно, ничего не сможет, но я не буду знать покоя, пока не сообщу ему свои сведения. И опять же инстинкт, толкнувший меня на борьбу с Сэмми и Сэди, был здоровый инстинкт. Эту пару рептилий ждет сюрприз, а может, и что похуже. Вспоминая о том, как Сэмми обошелся с Мэдж, я только жалел, что не придумал для него еще более чувствительного удара. Оставалось выяснить, какую ценность представляет собой Марс с точки зрения шантажа. Я съел пирог с мясом. Марс тоже. Я посмотрел на часы. Без десяти восемь. Чем скорее я найду Хьюго, тем лучше; и в самом деле, едва передо мной отчетливо возник его грузный медвежий облик, меня охватило сильнейшее желание увидеть его, тем более что я уже чувствовал: какая-то капризная судьба хочет помешать нашей встрече. Мне для души было необходимо найти Хьюго.

Через несколько минут я уже звонил к Ллойду. «Куин Элизабет» прибывает послезавтра. Ну что

ж, не так плохо. Потом я позвонил Хьюго домой; никто не ответил. Позвонил на студию — был шанс, что Хьюго еще там. Из студии ответили: да, все еще на местах. Насчет мистера Белфаундера они не уверены. Не так давно его видели, но сейчас он, возможно, уже уехал. Спасибо и на том. Чем черт не шутит — поеду.

Глава 12

Студия «Баунти — Белфаундер» находится в южном пригороде Лондона, где элемент случайности очевиден до тошноты. Я проехал в такси, сколько хватило денег, а дальше — автобусом. После этого у меня не осталось ни гроша, но о дальнейшем я не заботился. Всякий, кто бывал на киностудии, знает, как забавно там перемешаны блеск и убожество. На студии «Баунти Белфаундер», я бы сказал, преобладало последнее. Она занимала обширное пространство между шоссе и линией железной дороги и со стороны шоссе была огорожена очень высокой стеной из рифленого железа. Главные ворота, зажатые среди низких временных строений, чем-то напоминали вход в зоопарк; над воротами горела неоновыми огнями вывеска «Баунти — Белфаундер», исторгая вздохи из груди девушек, каждый день спешивших мимо нее на работу в районе Старой Кентской дороги.

Мы с Марсом сошли с автобуса. Если вы когда-нибудь пытались проникнуть на киностудию, то знаете, как там легко попасть в рубрику «посторонних лиц». Сам я в некотором роде про-

фессиональное «постороннее лицо»; ни одного представителя английской интеллигенции не выгоняли из стольких мест, как меня. И сейчас, когда я стоял, глядя на ворота студии, мне подумалось, что войти туда будет, пожалуй, нелегко. Мало того, что железные ворота были заперты, — их охраняло целых три человека, засевших в маленькой проходной будке окном на улицу и явно почитавших своим приятным долгом раболепно встречать великих мира сего, а простых смертных гнать без всякой жалости. Я понял, что справляться у них о Хьюго — пустая трата времени. Лучше обойти это учреждение снаружи и поискать более гостеприимного входа. Я уже успел привлечь внимание церберов, и взгляды их заклеймили меня как праздношатающегося. К тому же здесь, именно здесь, могли узнать Марса. Сам-то я в общем разделяю мнение Финна, что на вид все овчарки одинаковы; но некоторые люди как-то умеют отличить цыпленка от цеппелина. Мы с независимым видом повернули прочь от ворот.

Мы прошли вдоль стены до самой железной дороги. Стена была облеплена анонсами фильма, который, видимо, как раз сейчас здесь снимали. Я вспомнил, что о нем уже были заметки в газетах.

Фильм был о заговоре Катилины и, судя по рекламе, отмечен необыкновенной тщательностью в изображении центрального эпизода, вызвавшего столько споров и ложных толкований. «Наконец-то!» — кричали плакаты ошеломленным лондонцам. «Вся правда о Катилине!» Консультировали фильм целых три специалиста по древней истории. Сэди играла Орестиллу, жену Катилины, которую, по словам Саллюстия, ни один добрый человек не хвалил, кроме как за красоту, Цицерон же утверждал, что она была не только женой Катилины, но также и его дочерью. Эта последняя инсинуация в фильме никак не отражена, первая же, то ли в результате новых исследований, то ли в силу сценарных требований, начисто опровергается, и Орестилла предстает в фильме как женщина с золотым сердцем и умеренно реформистскими взглядами.

Никакой лазейки я не обнаружил. Можно было попытать счастья со стороны железной дороги, но это я приберег на крайний случай — автомобилей я не боюсь, а вот поезда меня нервируют. Я знаю, что это нелогично, ведь поезда, как правило, ходят по рельсам и не могут, подобно машине, устремиться за вами через улицу или в магазин. Впрочем, сейчас мою природную робость усу-

губляло присутствие Марса. Я живо представил себе, что он попал под поезд, и разгоряченное воображение подсказало мне, что, если я рискну идти по путям, этим неизбежно кончится. Итак, я повернул обратно, к главным воротам.

Те трое, что приняли меня за подозрительного бродягу, ушли, в раме окна маячила теперь только одна фигура. Я заглянул в ворота и увидел совсем близко от себя тот большой черный «альвис», что недавно на моих глазах отъезжал от Речного театра. Я не сомневался, что машина та самая. Колебания кончились. Где-то за этими воротами был Хьюго. Без единой мысли в голове я подошел к окошку. Меня встретил подозрительный взгляд. Я придвинулся ближе.

— Мне бы повидать Джорджа, — произнес я громким шепотом, сверля сторожа взглядом. Имя я немножко смазал, так что оно могло сойти и за Джона, и за Джо, а то и за Джеймса или Джека. Какая-то из этих стрел, как видно, попала в цель. Сторож пренебрежительно кивнул и нажал рычаг. Ворота растворились.

— Через двор и налево, — сказал он. Я вошел.

Я не кликнул Марса, чтобы не привлекать к нему внимания, — понадеялся, что у него достанет ума не отстать от меня. Однако, услышав, как

ворота стали за мной закрываться, я невольно оглянулся. Все было в порядке. Мало того, что Марс благонравно следовал за мной по пятам, он даже хвост поджал, когда шел под окошком проходной. Не оглядываясь больше, я миновал машину Хьюго, пересек двор и углубился в лабиринт каких-то строений. Слева над широкой дверью висела доска: «Статисты». Сюда, несомненно, и мечтал попасть приятель Джека, и секунду я прикидывал, нет ли мне смысла играть эту роль и дальше. Но потом решил, что для того, чтобы найти Хьюго, мне нет нужды наряжаться древним римлянином, тем более что это значило бы расстаться с брюками, а что может быть страшнее? И я пошел дальше, только снял на ходу галстук и привязал один конец к ошейнику Марса. Теперь я был готов ко всему.

И вот вдали послышался голос, декламирующий на богатых ораторских интонациях. Звук его свободно разносился в затихшем вечернем воздухе. Я пошел на голос, твердо веря, что на месте съемок окажется и Хьюго. Вокруг не было ни души, и никаких других звуков я не слышал. Служащие, очевидно, уже разошлись. Марс не отставал от меня. Мы пробежали улочку, окаймленную бетонными постройками. Где-то впереди

мерцало море света. Потом я свернул за угол, и тут передо мной открылась поразительная картина.

На заднем плане, как некий взрыв из красок и контуров, устремлялся ввысь кусок древнего Рима. По кирпичным стенам и аркам, по мраморным колоннам и пилястрам бил ослепительно белый свет юпитеров, от которого здания выступали рельефнее и резче, чем в натуре, а все окружающее тонуло в сумеречной мгле. Ближе ко мне тянулись переплеты увешанных проводами деревянных лесов, на которых и были укреплены эти огромные лампы; чуть дальше, где на стальных ходулях, где на подвижных кранах, располагалось множество кинокамер — сплошные глаза. А самое удивительное — на открытом пространстве перед городом стояла толпа, около тысячи человек, застывших в неподвижности и молчании, спиной ко мне. Они как завороженные слушали раскатистый голос одного-единственного человека, который стоял выше их, на колеснице, раскачиваясь и жестикулируя в центре светового пятна.

Несомненно, это Катилина распалял древнеримский плебс. От неестественно белого света краски жгли мне глаза, так что пришлось отвернуться. В другое время это зрелище захватило

бы меня; теперь же мною владела одна мысль: наконец-то я почти уверен, что лишь очень небольшое расстояние отделяет меня от Хьюго. Я стал пробираться в обход лесов, позади лучей света — так проходят позади водопада. Я не хотел, чтобы Хьюго первым меня заметил. По мере моего продвижения город, казалось, расступался и как на вертящейся сцене появлялись все новые улицы, храмы и осененные колоннами рынки. Я шел в каком-то забытьи, по самой кромке освещенного пространства, между каскадом ярких красок с одной стороны и мглистыми сумерками — с другой. Марс и тот казался заколдованным: скользящий призрак, чьи ноги плавно двигались, не касаясь земли. А голос оратора все звучал, изливая в непрерывном потоке страстный протест и призыв. Я начал улавливать слова. Он говорил: «Это, товарищи, и есть путь к избавлению от капитализма. Я не говорю, что это единственный путь, но я утверждаю, что лучшего пути нет». Я замер на месте. Как знать, марксизм, конечно, мог уже сейчас в корне изменить подход к древней истории, но все же это прозвучало странно. И тут меня озарило — оратор был не Катилина, а Лефти.

Голос умолк, и толпа очнулась. Тихий ропот

усилился до рева, эхом отдававшегося от фасадов искусственного города, люди кричали, аплодировали, оборачивались друг к другу. Тут и там среди них попадались римляне в тогах, но в большинстве это были, видимо, техники и монтеры в синих комбинезонах либо в рубашках без пиджаков. Потом из-за толпы появилось длинное полотнище, натянутое между двух шестов, и, когда несущие плакат немного повернули его, я разобрал написанные огромными буквами слова «ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗМА». И в ту же минуту я увидел Хьюго.

Он стоял один, немного в стороне от толпы, в ярком сиянии юпитеров, стоял на ступенях храма, на краю города, и через головы людей смотрел на Лефти. Свет падал на него с разных сторон, так что он не отбрасывал тени, и от белизны этого света лицо его казалось неестественно бледным, словно его намазали мелом. Он в задумчивости сжимал и разжимал руки — может быть, по инерции продолжал аплодировать. Я хорошо помнил эту его характерную позу — плечи ссутулились, шея вытянута вперед, глаза зорко бегают по сторонам, губы чуть шевелятся. Потом он стал кусать ногти. Я стоял как пригвожденный к месту. Лефти опять заговорил, и сейчас же вокруг его голоса

сомкнулась глубокая тишина.

Хьюго почувствовал мой взгляд и слегка повернулся в мою сторону. Нас разделяло каких-нибудь двадцать шагов. Я выступил из тени на свет, и он увидел меня. С минуту мы смотрели друг на друга. Я не улыбнулся, не двинулся с места. Мне казалось, что я смотрю на Хьюго из другого мира. Торжественная печаль опустилась между нами, как занавес, и мне уже не верилось, что он меня видит, до того явственно я видел его. Потом Хьюго с улыбкой поднял руку, и Марс начал рваться и тащить меня к нему. Тоска волной хлынула мне в сердце. После благородства молчания и разлуки слова. Какая пошлость! Я улыбнулся, как автомат, и попробовал что-нибудь прочесть в лице Хьюго. Что оно выражало? Дружелюбие, презрение, безразличие, досаду? Лицо было непроницаемо. Я поднялся по ступеням и стал рядом с ним.

Хьюго закончил улыбку и приветственный жест не спеша, но и не слишком медленно и снова повернулся лицом к толпе. При этом он указал на Лефти, точно хотел сказать: «Нет, вы только послушайте!»

— Хьюго! — сказал я вполголоса.

— Ш-ш!

— Хьюго, мне нужно с вами поговорить. Куда

нам можно пойти?

— Ш-ш, — сказал Хьюго. — После. Я хочу послушать. Это колоссально. — Он искоса бросил на меня строгий взгляд и выразительно замахал руками. Лефти довел до конца длинный период, и по толпе пробежал негромкий ропот одобрения.

— Хьюго, — сказал я громко и внушительно, — я должен вас предостеречь…

Снова стало тихо. Хьюго укоризненно покачал головой, приложил палец к губам и приготовился слушать Лефти.

Я продолжал, понизив голос, стараясь вбить каждое слово ему в уши:

— Сэди вас обманывает, она…

— Она всегда обманывает, — сказал Хьюго. — Прошу вас, Джейк, замолчите. Поговорим после.

Мной овладело отчаяние. Я сел на ступеньку у ног Хьюго. Мистер Марс сел рядом со мной. Свет юпитеров впивался в мой левый глаз, голос Лефти колол мне голову, как шило.

— Спросите себя, что вы по-настоящему цените, — говорил Лефти. — Вы помните поговорку: где достояние, там и сердце.

Я вдруг почувствовал: все, что я делал за последнее время, лишено смысла. Анна уезжает в Америку, Сэди и Сэмми делают что хотят и ничто

их не остановит, Мэдж обманута, я нашел Хьюго, а он не хочет со мной говорить. Не хватает еще, чтобы меня арестовали и посадили в тюрьму за кражу Марса. Я обнял его за шею, а он в ответ ласково лизнул меня за ухом.

Лефти, как видно, завелся на добрый час. Он в самом деле был выдающимся оратором. Говорил он просто, но не сбивчиво. Речь его была цветиста и, однако, упорядочена, не лишена красот, но не лишена и силы. Хотя из всего сказанного им я мог впоследствии припомнить лишь несколько ключевых фраз, но в то время у меня создалось впечатление, что он развивает свои тезисы последовательно и логично. Он ухитрялся сочетать интимный тон народного проповедника с эффектной и зажигательной манерой трибуна. Речь его, окрыленная искренностью и душевным жаром, падала сверху, как копье, чистое и пронзающее. Тысяча человек слушала его, затаив дыхание, не отрывая от него глаз. Некоторое время я наблюдал за ними. Потом по краю толпы прошла легкая рябь. Напротив нас, позади оратора, стояло несколько щитов с лозунгами. И вот эти щиты начали тихонько покачиваться, как пробки на потревоженной поверхности пруда. В той стороне, что была ближе к главным воротам,

кое-где произошли мелкие стычки. Но почти никто не оглянулся. Всеобщее внимание было приковано к Лефти.

Я поднял голову и посмотрел на Хьюго. Он стоял словно в трансе. Я сидя повернулся вокруг своей оси, спиной к митингу, и заглянул в улицы искусственного города, которые от избытка света горели избытком красок. А дальше была чернота. Я вздохнул. Потом опять взглянул на Хьюго. Отчаяние уступило место злости, и я почувствовал, как во мне нарастает нервная потребность действовать, действовать во что бы то ни стало, которая всегда овладевает мной в периоды неудач. Я снял руку с шеи Марса. За спиной у нас двустворчатая дверь вела в храм. Оглянувшись через плечо, я удостоверился, что дверь настоящая и ведет в настоящее помещение. Потом я стал изучать стойку Хьюго. В дзюдо такой предварительный осмотр бывает очень полезен. Определяешь, где центр тяжести противника и куда нажать, чтобы он сразу потерял равновесие. Я перебрал в уме несколько вариантов и решил, что лучше всего подойдет одна из разновидностей броска О-Со-то-Гари, как мы его называем. Потом я не спеша поднялся на ноги.

Став на верхней ступени, я громко сказал: «Хью-

го!» Он обернулся вполоборота ко мне. В ту же секунду я схватил его правую руку пониже локтя и резко рванул ее влево, тем самым повернув его к себе лицом. Одновременно я правой ногой подцепил его под правое колено. Всем телом я описал плавную дугу вокруг своего левого бедра, а правой рукой ухватил Хьюго за пояс и, приподняв, с силой крутанул его вслед за собой. Почувствовав, что он в моей власти, я сделал шага три назад, и мы вместе влетели в дверь и покатились внутрь храма. Дверь за нами захлопнулась, но Мистер Марс успел в нее проскочить и уселся перед ней, как на страже.

Мы с Хьюго встали с пола, и он потер те места, которые особенно пострадали. Внутри храма было темно, свет просачивался только сквозь узкую решетку под крышей. Храм был пуст, если не считать деревянного ящика, на который Хьюго вскоре и сел. Я же уселся рядом с Марсом у дверей и скрестил ноги. Мы посмотрели на Хьюго. Марс явно сомневался, какую позицию ему занять в отношении этого человека, и взглядом просил у меня подсказки. Временами он принимался тихо ворчать, словно хотел остаться хозяином положения, никого при этом не обидев. Я достал из кармана пачку сигарет и закурил, ожидая, что

скажет Хьюго.

— Зачем вы это сделали, Джейк? — спросил Хьюго.

— Я же сказал — мне нужно с вами поговорить.

— Но не следовало действовать так грубо. Вы чуть не сломали мне шею.

— Ерунда. Я прекрасно знал, что делаю.

— Что вы хотите мне сказать? — Хьюго, казалось, вполне смирился с положением пленника.

— Очень многое, — сказал я, — но прежде всего вот что. — И я быстро выложил ему все, что мне было известно о планах Сэди.

— Спасибо, что сообщили мне об этом, — сказал Хьюго. Он не выказал ни большого удивления, ни даже особенного интереса. Потом он добавил: — Вы, я вижу, привели с собой Мистера Марса. — Это его как будто тоже не удивило.

Я хотел ответить, но тут снаружи донесся глухой нарастающий шум.

Топот бегущих ног мешался с гамом и криками. Тряслась земля, храм заходил ходуном.

— Что это? — спросил я. Марс залаял.

— Объединенные националисты грозили, что сорвут митинг, — ответил Хьюго. — Наверно, это они. А следом пожалует полиция.

Не успел он сказать это, как вдали прозвучал пронзительный свисток.

— Пойдем посмотрим, — сказал Хьюго.

Мы вышли из храма. Жуткое зрелище представилось нашему взору. Толпа, за несколько минут до того такая смирная, распалась на клубки дерущихся людей. Куда ни глянь, везде кипела драка. Вся масса колыхалась, как гигантская «схватка» в регби, и время от времени какой-нибудь человек прыгал в самую ее гущу с лесов или с одного из кранов с камерами, раскидывая во все стороны и врагов и друзей. Из хаоса тумаков, пинков и зуботычин подымался неумолчный рев, в котором гневные возгласы неотличимы были от криков боли. А юпитеры все так же бешено изливали свой свет на эту картину, раздувая до астрономических цифр счет компании «Баунти Белфаундер» за электроэнергию и с предельной отчетливостью показывая разъяренные лица участников битвы. Лефти по-прежнему стоял на колеснице, и нам издали было видно, как он, не переставая жестикулировать, открывает и закрывает рот, а вокруг него, как вокруг тела Гектора, кипели самые ожесточенные стычки. И длинное полотнище, провозглашавшее «Возможности социализма», вздымалось и опадало

вместе с прибоем. То один, то другой его конец опускался, когда один из несущих плакат падал под натиском врагов, но другие руки вмиг подхватывали плакат, и напоминание снова трепетало над полем боя.

Полицейские свистки заливались уже у самых ворот студии. Медлить было нельзя. Даже когда мне не ясно, на чьей я стороне, я норовлю ввязаться в любую драку; а тут я твердо знал, кому сочувствую, и не сомневался в симпатиях Хьюго.

— Которые где? — спросил я его.

— Боюсь, что различить их нет возможности.

Раз так, то разумнее всего было поспешить на выручку единственному человеку, чья ориентация безусловно была нам известна, то есть Лефти. Я сказал это Хьюго и пустился в путь, крепко держа на сворке Марса, который проявлял явное желание кого-нибудь укусить. Хьюго последовал за мной. Мы с трудом пробирались сквозь дерущуюся толпу в сторону колесницы. Шум стоял оглушительный; а позади нас, на фоне темнеющего неба, сверкали очертания Вечного города, чуть покачиваясь взад и вперед, потому что земля дрожала от топота тысячи ног.

До Лефти мы добрались нескоро. Несколько раз, чтобы отстоять свое право продвижения, нам

пришлось применить насилие к лицу или лицам, это право оспаривавшим. И мы били наотмашь, в надежде, что наши удары достаются преимущественно нечестивым. Я отделался царапинами, Хьюго же кто-то поставил синяк под глазом, что прибавило ему злости. Когда мы уже подбегали к колеснице, Лефти, до тех пор сопротивлявшийся попыткам врагов стащить его наземь, внезапно с яростным воплем прыгнул на одного из обидчиков, и оба покатились по земле. В ту же секунду к ним подскочили два хулигана, судя по всему приятели недруга Лефти, и ему пришлось бы плохо, если бы мы с Хьюго не ринулись в эту кучу головой вперед, словно пловцы в теплое море. Марса я незадолго перед тем отпустил, и он прыжками носился вокруг нас, без разбора цапая за ноги кого попало. Схватка, в ходе которой мне удалось ловко сбить с ног нескольких человек, применив два-три особенно редких и изящных захвата ногой, длилась всего несколько минут. Лефти дрался, как дикая кошка, а Хьюго, больше чем когда-либо напоминая медведя, стоял столбом, расставив ноги, и размахивая руками, точно мельница. Что до меня, то я предпочитаю возможно быстрей свалить противника на землю. Враг обратился в бегство. Мы подняли Лефти

— вид у него был немного потрепанный.

— Спасибо! — сказал он. — А-а, Донагью, рад вас видеть. Я и не знал, что вы здесь.

— Я не знал, что вы знакомы с Лефти, — сказал Хьюго.

— А я не знал, что *вы* знакомы с Лефти, — сказал я.

Но обсуждать эти интересные открытия было некогда.

— Вот они! — сказал Лефти.

Мы оглянулись на ворота: к месту битвы, ни на минуту не утихавшей, двигался большой отряд полиции, пешей и конной.

— Черт! — сказал Лефти. — Теперь начнут хватать всех подряд, и в первую очередь меня, а мне это сейчас очень некстати. Там, сзади, есть какой-нибудь выход?

Мы отступили на улицы Рима, куда уже вторглись небольшие кучки сражающихся, заинтересованных, впрочем, не столько в том, чтобы смыться, сколько в оскорблении друг друга действием. Мы нырнули под кирпичную арку.

— По-моему, здесь не пройти, — сказал Хьюго. — Все упирается в стену.

Город оказался намного меньше, чем представлялось снаружи. Мы очень быстро добрались до

городской стены. Выложенная из поддельного красного кирпича, высокая, увенчанная сторожевыми башнями, она казалась неимоверно толстой. Она охватывала постройки сплошным полукругом. Лефти ударил по ней кулаком.

— Не старайтесь! — сказал Хьюго. Стена была гладкая, как стекло, и слишком высокая — не перелезешь.

— Западня! — сказал Лефти. Арена шумела как-то по-новому, раздавалась полицейская команда, усиленная рупорами. Мы растерянно озирались по сторонам.

— Что же делать? — спросил я Хьюго.

Он глядел перед собой стеклянными глазами. Потом медленно повернул ко мне свою массивную голову. Шум продолжался, и первые полисмены уже вбегали под арку.

— Положитесь на меня, — сказал Хьюго. Он порылся в кармане и извлек какой-то небольшой пакетик. — «Домашний детонатор Белфаундера, — сказал он. — Лучшее средство для корчевания пней и очистки кроличьих садков». Пакетик заканчивался острием, которое Хьюго и вонзил в подножие стены. Потом он достал спичечный коробок. Через минуту послышалось яростное шипение. — Отойди назад! — крикнул Хьюго.

Раздался взрыв, и в стене как по волшебству появился проем футов пяти в диаметре, сквозь который мы увидели окутанный сумерками пустырь, два-три навеса из рифленого железа, а дальше — низенький заборчик и рекламу бульона «Боврил». За забором проходила железная дорога. Пока я вбирал все это в сознание, Лефти одним прыжком обошел нас и грациозно, как цирковая собака сквозь обруч, проскользнул в проем, а минуту спустя перемахнул через забор, и, постепенно уменьшаясь, замелькал на путях под мигающими красными и зелеными огнями. — Живо! — сказал мне Хьюго. Но нас подстерегала новая беда. От силы взрыва что-то, видимо, сдвинулось в конструкции города — все сооружение начало угрожающе подрагивать и покачиваться. Я поднял голову и, словно во сне, увидел, что мраморно-кирпичные стены шатаются, будто пьяные, а кругом все громче потрескивает, рвется и ломается. — Черт, не выдержало! — сказал Хьюго. — Ну ничего, тут только пластмасса и сухая штукатурка.

Выкрики полицейских звучали, казалось, одновременно со всех сторон. Колонны медленно клонились к земле, триумфальные арки осыпáлись, оседали и наконец складывались, как

шапокляки. Грозный гул напоминал землетрясение. На минуту я окаменел; потом рванулся к стене. Но было поздно. Стена стала заваливаться прямо на нас. Видеть, как на тебя обрушивается пятьдесят футов кирпичной кладки, — это хоть кого смутит, даже если тебе сказали, что это всего лишь пластмасса и сухая штукатурка. С кошмарным грохотом стена посыпалась вниз. Я швырнул Марса наземь и сам распластался рядом с ним, одной рукой вцепившись в него, другой прикрывая затылок. Еще секунда — и под апокалипсический грохот стена обвалилась на нас.

Наступила тьма, что-то с силой ударило меня по плечу. Я лежал, вдавившись в землю. Где-то по-прежнему раздавались крики и треск. Я попробовал встать, но не мог — что-то не пускало. Обезумев от ужаса, я стал барахтаться из последних сил и вдруг понял, что уже сижу, а вокруг меня беспорядочные груды разнокалиберных обломков. В отчаянии я стал искать глазами Марса и скоро увидел, что он выбирается из-под кучи мусора. Он отряхнулся и как ни в чем не бывало подошел ко мне. Надо полагать, что, работая в кино, он привык к таким передрягам. Мы обозрели окрестность.

Все изменилось. Рим принял горизонтальное

положение, от развалин его поднималось громадное облако пыли, густое, как туман, пронизанный сиянием юпитеров. На арене, напоминавшей известную картину «Битва при Ватерлоо», маячили черные фигуры — одни верхом, другие на крышах машин, третьи выстроившиеся в ровные каре. Громкоговоритель неразборчиво что-то выкрикивал. На переднем плане было больше признаков только что отшумевшей битвы. Земля здесь была усеяна туловищами без ног, половинами торсов, головами без плеч, но все они тут же на глазах быстро срастались в целехоньких людей, вытаскивая недостающие части тела из-под плоских кусков декораций, которые лежали плашмя, наподобие огромной колоды карт, одни все еще подделываясь под кирпич и мрамор, другие — кверху изнанкой, испещренной названиями фирм и пометками декоратора. Пока я стряхивал с себя мусор и пыль, Хьюго поднялся из земли, как кит из морских глубин, грузными плечами легко раздвигая обломки. Он встал на ноги, и остатки городской стены дождем посыпались с него. Секунду я видел его силуэт на фоне неба, потом он метнулся в сторону железной дороги, пересек пути прыжками спугнутого буйвола и исчез во мраке.

Я кое-как поднялся на ноги и хотел последовать за ним, но тут, как на грех, проявил инициативу Марс. Всюду из-под кусков декораций, как потревоженные мокрицы, выползали полисмены. Возможно, в несложной душе Марса это пробудило какие-то воспоминания; во всяком случае, вызвало мощный рефлекс. Он, очевидно, так привык вызволять людей из подобных переделок, что, увидев одновременно столько подходящих объектов для спасения, не выдержал. Он бросился к ближайшему полисмену и, ухватив его за плечо, стал энергично вытаскивать на свет божий. Я допускаю, что и сам мог бы превратно истолковать этот жест; полисмен же безусловно усмотрел в нем злостное нападение и стал яростно сопротивляться. Сначала я наблюдал за ними спокойно, но потом, опасаясь за Марса, решил вмешаться. Я оттащил пса, пытаясь объяснить полисмену, что, на мой взгляд, намерения у Марса были самые добрые, а вовсе не агрессивные, как можно было вообразить. Полисмен ответил невежливо, и я, чтобы не затягивать дискуссии, повернулся, крепко ухватил конец галстука, все еще свисавшего с ошейника Марса, и приготовился, невзирая на поезда, последовать за Хьюго.

Каково же было мое смятение, когда я обнару-

жил, что между мной и железной дорогой через весь пустырь протянулся редкий, но непрерывный полицейский кордон! Поезда плюс полиция — это уже слишком! Однако сейчас важнее всего было уйти подальше от пострадавшего полисмена, поэтому я вместе с Марсом пустился бежать в надежде найти проход между стеной и полицией. Такового не оказалось, и скоро, завершив круг, я увидел двор перед главными воротами, где укрощенные бунтовщики смирно стояли, сбившись в кучки, а выход преграждала стена полицейских мундиров и нечеловеческой силы голос повторял: «Никого не выпускать». Тут я подумал, что едва ли полиция захочет арестовать поголовно всех и, поскольку совесть моя чиста, лучше спокойно подождать, пока меня отпустят, а не носиться без толку взад и вперед, привлекая к себе внимание. Когда я взглянул на Марса, мне стало ясно, что я выбрал не самый подходящий момент для встречи с блюстителями закона.

Я решил, что хватит бегать — нужно подумать. Но и думая, я, хоть и шагом, все приближался к главным воротам, там возле служебных построек сгрудилось больше всего полицейских.

Я заговорил с Марсом.

— Ты меня втравил в эту историю, — сказал я

ему. — Теперь выручай.

Я завел его в тень какого-то дома и огляделся. В конце одного из проулков виднелись ворота. Они были раскрыты настежь — во двор как раз въезжал отряд конной полиции. За воротами, вытянув шеи, толпились зеваки и щелкали фотовспышки репортеров. А у самых ворот стояло несколько полицейских, от которых дома заслоняли поле сражения, так что они, вероятнее всего, не видели моих недавних подвигов. Я повернулся к Марсу. Решительная минута настала.

Я погладил Марса, заглянул ему в глаза, внушая, что он должен сосредоточиться перед серьезнейшим заданием. Он ответил мне вопросительным взглядом.

— Умри! — сказал я. — Умри! — Я надеялся, что это слово имеется в его лексиконе. Так и оказалось. Мгновенно ноги у Марса подкосились, тело обмякло и он осел на землю, раскрыв пасть и закрыв глаза. Это было так убедительно, что я даже загрустил. Но тут же взял себя в руки и быстро оглянулся на ворота. Никто нас не видел. Я опустился на колени и, приподняв Марса, взвалил его на плечо. Он весил не меньше тонны. Под его тяжестью я прямо врос в землю. Потом, упершись рукою в стену, медленно поднялся. Голова Марса

с высунутым языком болталась у меня на груди, задние ноги били меня по пояснице. Я тронулся с места.

Приближаясь к воротам, я попал в орбиту внимания не только полисменов, но и толпившихся снаружи зевак. По толпе пробежал сочувственный ропот. «Ой, бедная собачка!» — запричитали женщины. Марс и правда являл собою жалкое зрелище. Я, сколько было сил, ускорил шаг. Полисмены преградили мне дорогу. Им ведь было приказано никого не выпускать.

— Осади! — услышал я.

Я не остановился и, подойдя к ним вплотную, выкрикнул чуть не со слезами в голосе:

— Собака ранена! Мне нужен ветеринар! Тут совсем близко есть один, я знаю.

Я до смерти боялся, как бы Марсу не наскучила эта игра. Наверно, ему было до крайности неудобно — мое плечо упиралось ему прямо в живот. Но он терпел. Полисмен заколебался.

— Нужна немедленная медицинская помощь! — твердил я.

Толпа гневно зароптала.

— Да пропустите вы беднягу, пусть полечит своего пса, — сказал кто-то, и, видимо, то был глас народа.

— Ладно, проходите, — сказал полисмен.

Я вышел в ворота. Толпа расступилась со словами уважения и сочувствия. Едва я оставил ее позади и увидел перед собой широкую ленту Нью-Кросс-роуд, неогороженную, свободную от полиции, как почувствовал, что больше не могу.

— Очнись! Оживи! — сказал я Марсу. Я опустился на колено, он соскочил с моего плеча, и мы со всех ног помчались по улице. Вслед нам, постепенно замирая вдали, неслась гомерический хохот.

Глава 13

Протекло немало часов — так по крайней мере казалось моим ногам, — а мы все еще шли по Старой Кентской дороге. Чувство торжества, владевшее мной после хитроумного побега, успело смениться унынием — я вспомнил, что у меня нет денег и продвигаться к северу можно только пешком. Был момент, когда я готов был взять такси, предоставив расплачиваться Дэйву, и то обстоятельство, что сегодня Дэйв уже заплатил один раз за мое такси и у него может не оказаться наличных, не остановило бы меня, если только мне удалось бы найти такси; но до этих южных пустынь такси не добираются, и я уже давно перестал о них мечтать. Можно было бы запросить о помощи по телефону, но я по глупости истратил последний пенс на завтрашний номер «Независимого социалиста», который уже продавали в толпе, валившей из какого-то кино. В газете было сообщение о митинге на студии «Баунти Белфаундер» и несколько снимков побоища. Эффектное фото — мы с Марсом выходим из главных ворот — снабжено было подписью «Четвероногая

жертва полицейского произвола». Кабаки уже закрылись, дорога была пустынна. Та толпа у кино была последним признаком жизни. Даже Марс приуныл; голова и хвост у него повисли, и он плелся за мной, не поднимая глаз. Наверное, он был голоден. Я-то сам проголодался зверски. Я с грустью вспомнил свиную котлету, которую мы оставили на лестнице у Сэмми. Мораль: не топчи ногами пищу, если можно положить ее в карман.

Через мост Ватерлоо мы тащились уже далеко за полночь. У меня было ощущение, что я прожил неимоверно длинный день, и, добравшись до северного берега, я решил, что дальше идти не могу. Ночь опять выдалась безоблачная, воздух был как парное молоко, и мы постояли, глядя на реку, не потому, что хотелось полюбоваться ее красотой, но потому что нуждались в отдыхе. Ноги у меня ныли, словно я много веков подряд не снимал неудобной обуви, все тело покалывало, тянуло, ломало, так что внешний мир почти перестал для меня существовать. Мы с Марсом устало заковыляли вниз по ступеням.

Если вы пытались когда-нибудь уснуть на набережной Виктории, то знаете, в чем состоит главная трудность — скамьи там разделены попо-

лам. Железный подлокотник на самой середине не дает человеку вытянуться во весь рост. Не знаю, случайное это явление или же это один из элементов кампании по борьбе с бродяжничеством, которую ведет Совет Лондонского графства. Как бы там ни было, это очень неудобно. Имеется несколько вариантов. Можно попытаться использовать подлокотник вместо подушки, можно лечь на спину, перекинув ноги на другую его сторону. Наконец, можно скорчиться на одной половинке скамьи. Это очень неловкая поза даже при таком маленьком росте, как у меня; но если человек вообще спит неспокойно, это все же, очевидно, наименьшее из зол, и я поступил именно так. Прежде чем отойти ко сну, я обернул ноги листами «Независимого социалиста» и обвязал их галстуком и носовым платком. Газета — плохой проводник тепла, это известно каждому бродяге. Я только пожалел, что не хватило денег на два экземпляра. Я улегся. Марс занял вторую половину скамьи. Мы уснули.

Я проснулся. Ночь все еще длилась. Звезды успели совершить большой переход. Я озяб, все тело затекло. Большой Бен пробил три. Только три часа! Я застонал. Полежал немного, мучаясь от мурашек в онемевших ногах. Попробовал их

растереть, но тут же решил, что не стоит трудиться — очень уж больно. Я распрямился и сел, чувствуя себя самым несчастным человеком. И вдруг вспомнил про Марса. Он был на месте — крепко спал, временами тихонько всхрапывая. Я смотрел на него, дрожащий и одинокий, безлюдная мостовая тянулась в обе стороны под высокими фонарями, бросавшими мертвенный свет на неподвижные листья платанов и ряды пустых скамеек под ними, таких же неудобных, как наша. Мост Ватерлоо навис над рекой, голый, как мост на картине, на который никто никогда не ступит. Я встал, и кровь моя больно и трудно потекла в ноги.

Марс был весь — воплощение сна. Сперва мне стало обидно, что он может так мирно спать, когда я не сплю и мерзну. Потом вспомнились рассказы о жертвах кораблекрушений, которых спасали и согревали своим телом преданные собаки. Возможно даже, что меня навел на эту мысль один из фильмов с участием самого Марса. Я с трудом растолкал Марса и заставил его освободить мне местечко рядом с ним. И правда! Все тело его, от носа до хвоста, излучало живительное тепло. Мы немножко повертелись, устраиваясь поудобнее, и наконец нашли нужную позу:

я уткнулся лицом в мохнатую шерсть на шее Марса, он уперся поджатыми задними ногами мне в живот. Он облизал мне нос. Наверно, ему показалось, что это льдинка. Я не глядя протянул руку и погладил его по голове. И, уже засыпая, вспомнил, как в детстве страстно хотел иметь собаку и как старшие внушали мне, что желание это сумасбродно и неприлично, так что мало-помалу оно поблекло, обратившись в тайную мечту, а годам к восьми сменилось не менее сильным желанием стать обладателем машины марки «Астон Мартин».

Часов в шесть утра нас согнал со скамьи полисмен. Почему-то именно в этот час человек становится угрозой закону и порядку. Я узнал это позднее в те дни, когда мне везло еще меньше, чем сейчас. Передохнув на Трафальгар-сквер, где полиция тоже не поощряет людей в лежачем положении, мы с Марсом добрались до лавки миссис Тинкхем как раз к открытию. И там, под негодующими взорами десятка ощетинившихся, выгнувшихся дугою кошек, герой «Мести красного Годфри» вылакал большую миску молока, а я взял взаймы фунт стерлингов. На Голдхок-роуд Финн отворил мне дверь и тут же уложил меня в постель, с которой сам только что встал. Я опять

уснул и проспал долго.

* * *

Проснулся я днем, часа в два. Проснулся с тупым и тяжелым сознанием, что праздник кончился и впереди куча неотложных дел. Я вылез из постели. Шел дождь. Я посидел, наблюдая это явление природы. Перемены погоды всегда застигают меня врасплох — стоит ей какое-то время продержаться в одном настроении, как я уже не могу вообразить, что она может быть другой. Так и теперь — я совсем забыл, что бывает дождь. Я отворил окно и минуты четыре дышал диафрагмой. Делается это так: набрав в легкие как можно больше воздуха, нужно положить руки на нижние ребра и медленно раздувать диафрагму; задержать дыхание, пока не досчитаешь со средней скоростью до восьми, и потом не спеша, с тихим присвистом выпустить воздух через рот. Проделывать это слишком долго не следует — можно потерять сознание. Диафрагмальному дыханию меня научил один японец, утверждавший, что благодаря ему обрел новую жизнь; и хотя я не могу сказать того же о себе, но могу рекомендовать это как безвредное и, пожалуй, даже полезное упражнение, особенно для столь

легко поддающихся внушению субъектов, как я.

Я оделся и осторожно высунул голову за дверь, поглядеть, нет ли поблизости Финна. С Дэйвом я не спешил свидеться — я боялся услышать от него бестактные слова по поводу эпизода с Марсом. Финн понял, что я встал, и сейчас же явился. Я попросил его пойти купить Марсу конины, но оказалось, что он это уже сделал. Финн не любит собак, но по натуре отзывчив. Он вручил мне пачку писем. Только одно из них представляло некоторый интерес с точки зрения этой повести — в конверт вложен чек на шестьсот тридцать три фунта и десять шиллингов. С минуту я обалдело смотрел на чек, не понимая, кто мог так странно ошибиться. Потом извлек из конверта напечатанный на машинке листок с перечнем имен: Маленькая Ферма, Питер, сын Алекса, Хэл Эдэр, Дагенхем, Святой Крест, Грач Королевы. Имена точно из учебника истории. Внизу Сэмми приписал от руки: «Бросил и подобрал! В следующий раз советую поставить на Птицу Лиру». Я покраснел. Заметив это, Финн вышел из комнаты. Возможно, он решил, что письмо было от Анны. Но от Анны письма не было.

Поскольку Сэмми проявил такое благородство, мне не терпелось договориться насчет Марса.

Я решительно зашагал в гостиную, где Дэйв сидел за пишущей машинкой, а Финн стоял, в задумчивости прислонясь к косяку. Дэйв писал для журнала «Психология» статью о различии в сходстве. Над этой статьей он работал уже довольно давно — писал ее, сидя перед зеркалом, то изучая свое отражение, то рассматривая свои руки. Он несколько раз пытался объяснить мне свою концепцию, но пока что я даже еще не уловил самой сути проблемы. Когда я вошел, он перестал стучать и глянул на меня исподлобья. Финн тихонько опустился на стул, словно занял место в заднем ряду зала суда. Марс, отдыхавший на коврике у камина, бурно меня приветствовал, после чего я немедля приступил к делу.

— Допустим, что идея была неудачная, — сказал я, — но теперь важно решить, как быть дальше. Я хочу, чтобы вы с Финном помогли мне написать письмо.

Дэйв потянулся. Я понял, что он не позволит себя торопить — ничего не пропустит.

— Какой же ты дилетант, Джейк! — сказал он.

Я обиделся.

— Не будем отвлекаться, — сказал я. — Мне кажется, первым делом нужно осведомить Старфилда, в чьих руках находится Марс и с какой

целью он был уведен. Скрываться нет смысла. Когда мы изложим наши условия, Сэмми догадается, кто ему пишет.

— В ответ на это, — сказал Дэйв, — я имею сделать два замечания, Во-первых, мне не нравится это «мы». Я собаку не крал. Во-вторых, мы с Финном, разумеется, уже сообщили Старфилду по телефону, кто ее похитил.

— Зачем? — спросил я в крайнем изумлении.

— Затем, чтобы не дать Старфилду поднять на ноги полицию; это должно бы быть понятно всякому шантажисту, даже не слишком талантливому. Наше сообщение, очевидно, достигло цели — это явствует из того, что ты до сих пор на свободе. А ты, я вижу, позаботился бы о том, чтобы твой портрет попал во все газеты.

Я сел. Видя, как Дэйв упивается моей бедой, я перестал опасаться, что порчу ему жизнь своими выходками.

— Ценю твою заботу, — сказал я холодно. — Но ты упустил из виду, что, поторопившись со своей информацией, лишил меня возможности предложить Сэмми Марса в обмен на рукопись. Теперь он уже сто раз успел заказать с нее фотокопию.

— Наивный ты человек, — сказал Дэйв. — Ты что же думаешь, он этого раньше не сделал? На

таких, как Старфилд, день и ночь работают сотни машинисток. Он ни на час не оставит важный документ в одном экземпляре.

— По тому, как он говорил, я уверен, что еще вчера днем у него был только один экземпляр.

— Неизвестно, — сказал Дэйв. — А уж полиция наверняка могла тебя зацапать. Когда ты научишься избегать такси?

Я не считал, что меня было бы так легко изловить, но не стал спорить.

— Ну что ж, — сказал я, — раз уж ты проявил такую заботу обо мне, придется нам изменить формулировку. Теперь мы предложим Марса в обмен не на рукопись, а на документ, гарантирующий мне компенсацию за ее использование.

— Бред, — сказал Дэйв. — Ясно, что ты ничего не продумал. — Он отодвинул машинку и освободил перед собой место на столе. — Необходимо проанализировать положение, — сказал он. — Разберем его в двух аспектах: во-первых, какие у тебя есть возможности, и, во-вторых, как ты их можешь использовать. Не выясним первое, нет смысла рассматривать второе. Нужно рассуждать логически, Джейк. Верно?

— Верно, — сказал я. Так, должно быть, чувствовали себя жертвы Сократа. Нечего было и

надеяться ускорить разбирательство.

— Первое распадается на два вопроса, — сказал Дэйв. — А — насколько срочно Старфилду нужна собака, и Б — в какой мере Старфилд действовал юридически неправомочно в отношении твоего перевода. Итак, что ты можешь сказать по пункту А? — Дэйв посмотрел на меня, притворяясь, будто ждет от меня точных сведений.

— Ничего не могу сказать.

— Как! — воскликнул Дэйв, изображая изумление. — Значит, собака может не понадобиться Старфилду еще много недель, а то и месяцев? А может, он вообще еще не решил, будет он ее снимать или нет?

— Я прочел в какой-то читательской анкете, — сказал Финн, — что публике осточертели фильмы про животных.

— Во всяком случае, — сказал Дэйв, — мы не можем утверждать с уверенностью, что Старфилд будет торопиться. А пока что он вполне может оставить собаку у тебя. Подумай, сколько он на этом сэкономит! Как ты говорил, Финн, сколько мяса в день ей требуется?

— Полтора фунта в день, — отвечал Финн.

— Десять с половиной фунтов в неделю, — сказал Дэйв, — не считая остального.

Мы все оглянулись на своего плотоядного пленника. Он крепко спал.

— Сегодня он сожрал два фунта, — сказал Финн.

— Но он будет тревожиться за собаку, — сказал я. — Захочет увидеть ее целой и невредимой.

В обращенном на меня взгляде Дэйва читалась жалость.

— Чем ты можешь его запугать? — сказал он. — Отрубишь ей хвост? Даже если б это не было написано у тебя на лице, твоя Сэди отлично знает, что ты и мухи не обидишь, не говоря уже о собаке.

Он был прав. Мне и самому начинало казаться, что мой дебют на поприще шантажа был не слишком удачен.

— Возможно, конечно, — продолжал Дэйв, — что собака понадобится им очень скоро, но это под вопросом. Итак, с пунктом А покончено. Перейдем к Б. Ты закрепил за собой право на перевод произведений Бретейля?

— Нет, конечно. Просто я на каждую книгу заключал договор с издателем.

— Так! — сказал Дэйв. — Значит, если чьи-нибудь интересы и под угрозой, то не твои, а издателя. Но давай разберемся — что именно ему

может угрожать?

Я запустил руку в волосы. Что бы я сейчас ни сказал, все покажется детским лепетом!

— Послушай, Дэйв, — сказал я, — произошло вот что: они украли мою рукопись и покажут ее мистеру Прингсхейму, будут уговаривать его сделать из нее фильм.

— Совершенно верно, — сказал Дэйв. — Но пока они ее никак не использовали. Если бы перевод был опубликован, они могли бы купить его в любом магазине.

— Но он не опубликован. Они просто стибрили рукопись.

— Уголовщина — это особый вопрос. А вот нарушения авторского права пока что, видимо, не было. Этот американец, который не знает французского, просматривает твою рукопись, только и всего. Если они решат делать фильм, то о подробностях будут договариваться с тем, кому принадлежит право экранизации, очевидно, с автором.

— Не знаю, не знаю, — сказал я в отчаянии. — Но кража-то налицо.

— И это еще не ясно. С точки зрения морали — да, но как ты это докажешь? Твоя приятельница Мэдж отдала рукопись Старфилду. Старфилд ска-

жет: он и не подозревал, что тебе это может быть неприятно. Опрошенная как свидетельница, твоя Мэдж скажет то же самое, да еще адвокат ответчика вытянет из нее все подробности насчет того, насколько близко она была с тобой знакома.

Я живо представил себе эту сцену.

— Так, — сказал я. — Да, да, все так.

— Можно подводить итог? — спросил Дэйв.

— Валяй, — согласился я с горечью.

— Собака им едва ли нужна, во всяком случае в ближайшее время. А потом, после того как американец просмотрит книгу, они вежливенько вернут тебе рукопись и попросят вернуть им собаку. Если ты откажешься, они обратятся в полицию. Какое обвинение ты можешь им предъявить? Американец не будет знать, чей перевод, ему до этого дела нет. Если будешь настаивать, только запутаешься. Бесспорно только одно — что ты украл собаку.

— Но как же так, — сказал я, — если они не боятся, что их обвинят в мошенничестве, почему они до сих пор не заявили в полицию? Ведь ты говоришь, что, если б они заявили, мы бы уже об этом знали.

— Неужели ты не понимаешь? — презрительно поморщился Дэйв. — Им просто тебя жалко. Стар-

филд вполне мог напустить на тебя полицию. Но твой друг Сэди рассмеялась, сказала, что ты прелесть, и тебя отпустили с миром.

Эта гипотеза взбесила меня тем сильнее, что я сейчас же оценил ее как вполне вероятную.

— Ты блестяще доказал, что я дурак, — сказал я. — На том и кончим. Я иду гулять.

— Ничего подобного. Мы еще не обсудили пункт второй.

— Поскольку у меня, как выясняется, нет возможностей диктовать условия, вопрос об использовании этих возможностей как будто отпадает?

— Что у тебя нет возможностей диктовать условия, еще не доказано, хотя и очень похоже на правду. Но у тебя есть собака. Как ты намерен с ней поступить? Отослать обратно Старфилду?

— Ни за что! — воскликнул я. — Это уж если ничего другого не останется.

— Прекрасно, — сказал Дэйв. — Тогда обсудим пункт второй. — Он сидел в непринужденной, задумчивой позе, точно вел семинар со студентами, но по весело блестящим глазам было видно, что он от души наслаждается. — Кое-что предпринять все же можно, — сказал Дэйв, для разнообразия сменив черные краски на розовые. — Есть шанс,

что собака им нужна теперь же, а может, они и в самом деле беспокоятся о ее благополучии и предложат тебе что-нибудь за немедленную ее доставку. Обратиться к тебе с выгодным предложением — это, вероятно, лучшее, что они могут придумать, если их тревожит момент с кражей рукописи. А тревожит он их или нет — это может зависеть от неизвестного фактора, то есть от поведения и настроения твоей Мэдж.

Но тут я оказался большим пессимистом, чем Дэйв.

— Это безнадежно. Ведь я только хотел помешать им использовать рукопись. А раз тут ничего не поделаешь, я лучше начну обдумывать, что мне говорить на суде.

— Вздор, — сказал Дэйв. — Непременно поторгуйся, хотя бы ради престижа. Ты мог бы сыграть на благородных чувствах этого Старфилда.

Я поморщился. Еще раз быть обязанным благородству Сэмми? Нет, хватит!

— Уж лучше Сэди, — сказал я.

— Ну так напиши ей. Письмо сочиним вместе. Но сначала нужно решить, в каком качестве ты пишешь — как пострадавшая сторона или просто как шантажист. И помни, с кем мы имеем дело. Сдается мне, что, если собака им понадобится, они

не станут ни торговаться, ни заявлять в полицию — они узнают, где она находится, и пришлют за ней четырех крепких молодчиков с машиной.

Нас прервал громкий стук в парадную дверь.

— Полиция! — сказал Финн.

Я подумал, что скорее это молодчики Сэмми. Мы переглянулись. Марс зарычал и ощетинился. Стук повторился.

— Сделаем вид, что нас нет дома, — прошептал Финн. Марс оглушительно тявкнул — раз, другой, третий.

— Теперь не скроешься, — сказал Дэйв.

— Посмотрим через стекло, — предложил я. — Надо выяснить, сколько их там.

Я был готов сражаться за Марса, если, конечно, это не полиция. Мы на цыпочках вышли в прихожую. Сквозь матовое стекло двери смутно вырисовывалась всего одна фигура.

— Остальные в засаде, на лестнице, — сказал Финн.

— А, к черту! — сказал я и открыл дверь.

— Две телеграммы для Донагью, — сказал рассыльный.

Я взял телеграммы, и он рысью побежал вниз. Финн и Дэйв весело смеялись, я же, разрывая первую телеграмму, весь дрожал от смутного

страха. Сейчас я отовсюду ждал беды. Я перечел текст несколько раз. Потом вернулся в гостиную. Телеграмма гласила: «Срочно вылетай Париж отель Принц Киевский важный разговор точка все расходы оплачены точка перевожу тридцать фунтов Мэдж».

— Что там такое? — спрашивали Финн и Дэйв, следуя за мной по пятам. Я показал им. Вторая телеграмма и была переводом на тридцать фунтов.

Мы уселись.

— Это зачем же? — спросил Дэйв.

— Понятия не имею.

И в самом деле, что еще придумала Мэдж? Все это казалось мне фантастикой. Все, кроме тридцати фунтов. Они-то были вполне реальны — как найденная утром вещица, доказывающая, что это все тебе не приснилось. Мэдж в Париже. Что она там делает? Любопытство уже сжигало меня, как лихорадка. Я мгновенно перебрал в уме десяток вариантов, один неправдоподобнее другого.

— Я, конечно, поеду, — проговорил я задумчиво. Телеграмма от Мэдж пришлась кстати со всех точек зрения. Не то чтобы затея с шантажом мне надоела, но развивалась она как-то неинтересно и в дальнейшем не сулила ни приятных, ни особенно острых ощущений. Лучше всего, пожалуй,

от нее вообще отказаться. Меня и всегда-то было нетрудно подбить на поездку в Париж, а сейчас, когда там Анна, и подавно. Вернее, Анна *может быть* там. Нет, она безусловно там, решил я, до того явственно был отмечен ее присутствием образ Парижа, возникший перед моим внутренним взором; в воображении я уже гулял с Анной по Елисейским полям, а теплый ветерок парижской вечной весны навевал, подобно лепесткам цветов, обещание близкого счастья.

— А нам за тебя расхлебывать эту кашу? — Дэйв стал даже заикаться от возмущения. — Ты крадешь, ты шантажируешь, а в самый трудный момент преспокойно смываешься в Париж и краденое имущество оставляешь нам, чтобы его тут нашла полиция?

— Все расходы оплачены, — сказал Финн.

— Я ненадолго, — сказал я. — Всего на один день. Только узнаю, что от меня нужно Мэдж. Если что стрясется, телеграфируй, и через несколько часов я буду здесь.

Дэйв немножко успокоился.

— А подождать нельзя? — спросил он.

— Дело, видимо, очень срочное. А может быть, и денежное. — Это я заключил из слов «все расходы оплачены».

Дэйв задумался.

— Ну ладно, — сказал он после того, как мы еще попререкались. — Может, наскребешь денег, чтобы внести, когда тебя будут отпускать на поруки. Но, во-первых, надо решить, какое написать письмо, а во-вторых, изволь оставить нам денег — кормить твоего зверя, да и на случай осложнений.

— За деньгами дело не станет, — сказал я, с тайным удовлетворением вспоминая про чек, полученный от Сэмми.

И вдруг ужасная мысль пронзила меня, как пуля. Узнав, кто украл Марса, Сэмми тут же приостановит платеж и по этому чеку. Я вскочил со стула.

— Ну, что еще? — сказал Дэйв. — Ты мне действуешь на нервы.

Насколько хватит благородства Сэмми? Настолько не хватит, нет. Или все зависит от того, сильно ли он обозлился? Я представил себе его гостиную в том виде, как мы ее оставили, и застонал. Надежды не было, разве что он просто забыл о чеке.

— Ты сам звонил Сэмми? — спросил я Дэйва.

— Да, Из автомата, разумеется.

— Он был очень зол?

— Как тигр.

— Говорил что-нибудь?

— Да, я и забыл тебе передать. Он сказал: «Передайте Донагью, женщину я ему уступаю, а денежки оставлю себе».

Я чуть не заплакал. И тут мне пришлось все им рассказать. Я принес чек, и мы долго его рассматривали. Так смотрят на мертвое тело любимой. Финн сказал, что никогда еще не видел чека на такую большую сумму. Даже Дэйва прошибло.

— Теперь уж мне необходимо ехать в Париж! — сказал я. Раз меня лишили моих кровных денег, надо было немедля принять меры.

Финн тем временем изучал выписку из счета Сэмми.

— Остается еще Птица Лира, — сказал он. — Этого он у нас не отнимет.

— Но ведь она еще не победила, — сказал Дэйв.

— Вы тут следите по газетам, — сказал я. — У меня в банке около шестидесяти фунтов. Ты сколько можешь выложить, Финн?

— Десять фунтов.

— А ты, Дэйв?

— Не валяй дурака, — сказал Дэйв.

В конце концов мы договорились сообща поставить на эту лошадь пятьдесят фунтов. Мы еще не

совсем оправились от потери шестисот тридцати трех фунтов и десяти шиллингов.

Затем мы стали обсуждать письмо. Я по-прежнему утверждал, что обращаться нужно к Сэди. Инсинуация Дэйва не давала мне покоя, и я с грустью вспоминал слова Сэди, что я милый. Будь у меня больше времени, я задумался бы над тем, не повлияло ли это на мое решение. Но сейчас некогда было разбираться в мотивах. Если для того или иного поступка есть основания, не следует отступать только потому, что не все основания одинаково хороши. Я решил не вдаваться в психологические тонкости. Сэди умнее, чем Сэмми, и в этой авантюре она, несомненно, играет первую роль. К тому же у нее никто не срывал занавесок, ее гостиную не переворачивали вверх дном. Что Сэди, возможно, все еще ко мне неравнодушна, это к делу не относится. Впрочем, меня это нисколько не радовало, мне не терпелось уехать.

Итак, было решено, что Дэйв от моего имени напишет Сэди письмо, в котором попросту предложит обменять Марса на официальное признание моих прав на перевод и соответствующую компенсацию за его использование. О сумме компенсации мы долго спорили. «Ты чего добиваешься, — приставал ко мне Дэйв, — возмещения

гонорара, оплаты издержек или мести?» Финн считал, что уж шантаж так шантаж и нужно просить максимум того, что можно получить, если держать Марса у себя, да еще намекнуть, что здоровье его может пошатнуться. Он предлагал требовать пятьсот фунтов. Дэйв считал, что нужно требовать только гонорар, который, возможно, причитается мне за прочтение перевода до напечатания. Он сказал, что понятия не имеет, сколько это может составить, и что, строго говоря, причитается эта сумма не мне, а издателю, но, принимая во внимание обстоятельства дела и из престижных соображений, я могу требовать пятьдесят фунтов. Я же считал, что мне причитается не только гонорар, но и компенсация за кражу рукописи, и скромно назвал сумму в двести фунтов.

Мы сошлись на сотне. Мне казалось, что это недостаточно, но я уже всеми помыслами был в Париже и готов был согласиться на что угодно. Я подписался на нескольких листах бумаги, на одном из которых Дэйв обещал напечатать письмо, после того как составит его по разработанному нами плану. Он хотел, чтобы я подсказал ему какие-нибудь ласкательные обращения или интимные штрихи, чтобы письмо вышло похоже

на подлинное, но я настоял, что оно должно быть безличное и деловое. Очень неохотно я оставил Дэйву незаполненный чек. А потом поспешил на вокзал Виктории, чтобы поспеть к ночному пароходу — ради экономии, а также потому, что в самолете я чувствую себя всегда неуютно.

Глава 14

Морские путешествия располагают к раздумью. Правда, переезд через Ла-Манш не назовешь морским путешествием в обычном смысле слова. Один из элементов плавания на теплоходе — это ни с чем не сравнимый запах; а ночной паром тем и отличается, что на нем качательные ощущения, неотъемлемые от теплохода, сочетаются с обонятельными ощущениями, неотъемлемыми от поезда. Вот в таком-то dérèglement de tous les sens[11] я теперь лежал, думая о Хьюго.

Нельзя сказать, чтобы мое свидание с Хьюго прошло успешно; но, с другой стороны, нельзя было назвать его и неудачным. Я сообщил Хьюго нужные для него сведения, мы обменялись вполне дружелюбными словами. Мы даже пережили вместе опасное приключение, в ходе которого я как-никак не осрамился. В каком-то смысле лед между нами был сломан. Но сломать лед не всегда означает похоронить прошлые обиды. После встречи с Хьюго у меня не было ни одной свободной минуты, и я не успел навести

---

[11] Примечания: 11
Расстройство всех чувств *(франц.)*.

порядок в своих впечатлениях. Теперь я сгреб их в одну кучу и стал перебирать. Мне живо вспомнилось, как Хьюго впервые возник передо мной, как он стоял один на верхней ступени храма, точно самодержец всероссийский. Сейчас, лежа на мерно вздымающейся подушке, я снова вызывал в памяти его образ, исполненный таинственности и силы. Более чем когда-либо я был убежден, что мы еще не разделались друг с другом. Неизвестно, с какой целью перепутаны нити наших судеб, но клубок еще не распутан. Эта мысль завладела мной с такой силой, что я уже стал жалеть о вынужденном отъезде в Париж, который, пусть только на день, отсрочил возможность нового свидания с Хьюго.

Что совсем не стало ясным после нашей встречи — с этой точки зрения она была безусловно неудачной, — так это теперешнее отношение Хьюго ко мне. Откровенной враждебности он, правда, не выказал. Держался в общем скорее равнодушно. Но хороший это признак или дурной? Я подробно припоминал выражение лица Хьюго, тон его голоса, даже его жесты и сравнивал их с впечатлениями прежних лет, но ни к какому выводу не пришел. Окончательно ли я опротивел Хьюго — на этот вопрос я пока не мог ответить. И

тут я вспомнил про «Молчальника» и невольно пожалел, что Сэди и Сэмми не нашли для своей конспиративной беседы другого места, кроме как кухня Сэди. Уж лучше бы я унес свою книгу и не услышал того, что услышал, это избавило бы меня от многих неприятностей, и прошлых и будущих; в глубине души я не придавал серьезного значения тому, что предостерег Хьюго, это был не более как дружеский жест. Что касается книги, то она фигурировала в моем сознании не только как casus belli[12] между мной и Хьюго, но и как созвездие мыслей, которые я уже не мог больше исключать из своей вселенной — такое притворство было бы слишком нечестным. Я должен пересмотреть все, что написал. Но где достать книгу? Мне пришло в голову, что у Жан-Пьера мог сохраниться экземпляр, который я послал ему, когда книга вышла, и который он, по всей вероятности, даже не открывал. С Жан-Пьера мои мысли перешли на Париж, прекрасный, жестокий, нежный, тревожащий, чарующий город. С этими мыслями я уснул и во сне видел Анну.

К Парижу я всякий раз приближаюсь с замиранием сердца, даже если побывал там совсем

---

[12] Примечания: 12
Повод к войне *(лат.)*.

недавно. Каждый приезд в этот город — предвкушение, каждый отъезд — разочарование. Есть какой-то вопрос, который только я могу задать и на который только Париж может ответить; но сформулировать этот вопрос мне до сих пор не удалось. Кое-что, правда, я здесь узнал, например, что у моего счастья печальный лик, такой печальный, что я годами принимал его за горе и гнал от себя. Но все же Париж остается для меня незавершенным аккордом. Это единственный город, который я способен очеловечить. Лондон я слишком хорошо знаю, а остальные города недостаточно люблю. С Парижем я встречаюсь, как встречаются с любимой женщиной, но в конце, когда все слова уже сказаны. Alors, Paris, qu'est ce que tu dis, toi? Paris, dis mois ce que j'aime.[13] Ответа нет, только старые стены отзываются печальным эхом: Paris.

Сойдя с поезда, я не ощутил жгучего желания увидеть Мэдж. Мне хотелось отдаться во власть привычных чар; в жизни так мало минут можно назвать священными. Какие бы мысли ни породило во мне свидание с Мэдж, я займусь ими позже, это еще успеется. Я медленно шел по

---

[13] Примечания: 13

Ну, что скажешь, Париж? Париж, скажи мне, что я люблю *(франц.)*.

направлению к Сене, в твердой уверенности, что где бы ни проходила черта между видимостью и реальностью, то, что я испытываю сейчас, для меня реально. Образ Мэдж побледнел, как утренняя свеча. Был тот ранний час, когда в сточные канавы Парижа текут, завихряясь водоворотами, таинственные ручьи, направляемые кусками старой мешковины. Ясный утренний свет чуть подкрасил серые фасады домов на набережной, они казались мягкими и пористыми, как глазурь на пирожном. Некоторые подробности не способна удержать даже самая нежная память. Убаюканные, закрытые ставнями дома с высокими лбами. Я долго стоял, облокотясь на парапет, глядя в зеркало Нового моста, чьи полукруглые арки вместе со своими отражениями образуют безупречные «О», так что не разобрать, где арка и где отражение, до того неподвижна поверхность Сены той стеклянной неподвижностью, какой Темза с ее приливами и отливами никогда не достигает. Я стоял и думал об Анне, благодаря которой этот город обогатился для меня целой россыпью новых подробностей, когда я, знавший его много лет, впервые водил ее по парижским улицам.

Наконец мне захотелось позавтракать. Я по-

шел в сторону отеля, где жила Мэдж, и по дороге уселся в уличном кафе неподалеку от Оперы, Здесь я начал примечать более прозаические черточки огромного города, и через некоторое время мое внимание привлекла какая-то суета на тротуаре, рядом с кафе. Там, словно в ожидании чего-то, стояли несколько мужчин без пиджаков. Я разглядывал их с ленивым интересом и вскоре сообразил, что они появились из соседнего книжного магазина. Чего это они ждут, подумал я. Они всматривались в конец улицы, возвращались в магазин, опять выходили на тротуар и ждали, ждали. Я повернулся, чтобы взглянуть на магазин, и понял, что происходит. Центральная витрина была пуста, а поперек ее гигантскими буквами было написано «Prix Goncourt».[14] Каждый год, когда присуждаются крупные литературные премии, издатели книг-претендентов готовятся к тому, чтобы в мгновение ока выпустить произведение победителя конкурса новым, огромным тиражом. Затем десятки тысяч экземпляров на всех парах доставляются в книжные лавки, чтобы еще до того, как новость потеряет свою остроту, публика могла насытиться литературным

[14] Примечания: 14
«Премия имени Гонкуров» *(франц.).*

произведением, удостоенным высокой награды. Готовясь к этому событию, всякий книжный магазин с претензией на интеллектуальность заранее освобождает свою главную витрину, и когда победитель примчится со скоростью экстренного выпуска газеты, ему уже обеспечен тут радушный прием.

Я пил кофе, наблюдая эту сценку и размышляя о несхожести французских и английских литературных нравов, как вдруг послышался скрежет тормозов и у тротуара резко затормозил грузовик. Мужчины без пиджаков облепили его, а уже в следующее мгновение выстроились цепочкой и начали быстро передавать по ней в магазин пачки книг. Через дверь мне было видно, как другие продавцы в это время поспешно устанавливают в пустой витрине картонные полки, которые через несколько минут заполнит от края до края, монотонно и победно повторяясь, имя автора и название книги-победителя. Вся сценка напоминала своей четкостью и быстротой полицейский налет. С веселым интересом я следил за тем, как пустеет грузовик, в то время как витрина у меня за спиной уже заполнялась множеством белых томиков. Я оглянулся, чтобы рассмотреть книгу поподробнее, и перестал улыбаться.

По всей витрине, назойливое, как несмолкающий крик, бежало имя; Жан-Пьер Бретейль; а ниже, повторяясь параллельно — заглавие: «Nous les vainqueurs», «Nous lesvainqueurs», «Nous les vainqueurs». Я вскочил с места, еще раз прочел слова «Prix Goncourt». Сомнений быть не могло. Расплатившись по счету, я подошел и остановился перед витриной. И снова стал читать одно и то же десять раз, сто, пятьсот раз. Жан-Пьер Бретейль. «Nous les vainqueurs». Пирамида книг росла у меня на глазах, ни один голос не нарушал согласного хора. Наконец вершина ее стала сужаться. Вот уже последняя книга заняла свое место на самом верху, и продавцы высыпали на улицу посмотреть, как выглядит витрина снаружи. Имя автора и заглавие поплыли у меня перед глазами, я отвернулся.

Только теперь меня неприятно поразило, что все мои чувства заглушила душевная боль. Боль такая глубокая, что сперва я даже не мог ее объяснить. Я пошел куда глаза глядят и попробовал разобраться в своих ощущениях. Разумеется, меня очень удивило, что Жан-Пьер получил премию Гонкуров. Жюри этого конкурса, эта плеяда громких имен, может быть, и не непогрешимо, но грубой или нелепой ошибки оно никогда

не допустит. Что они короновали Жан-Пьера в минуту буйного помешательства — эту версию можно было сразу отбросить. Эту книгу я не читал. Оставалось сделать вывод. И чем больше я думал, тем ясней понимал, что вывод может быть только один: Жан-Пьер написал наконец хорошую книгу.

Я остановился посреди тротуара. Что со мной творится? Почему меня так уязвило, что Жан-Пьер добился удачи? Я зашел в кафе и заказал рюмку коньяку. Сказать, что я завидовал, значило бы упростить ситуацию. Я испытывал ужас и негодование, словно столкнулся с чудовищным нарушением законов природы; такое чувство мог бы испытать человек, если бы его излюбленную теорию неожиданно разбил по всем пунктам орангутанг. Я раз и навсегда зачислил Жан-Пьера в определенную категорию писателей. А он втихомолку менял кожу, исподволь оттачивал свое мастерство, добивался большего благородства мысли, большей чистоты эмоций — нет, это было нестерпимо! В воображении я уже наделял его книгу всеми возможными достоинствами, и чем дальше, тем сильнее ярость и страдание овладевали мной, не оставляя места ни для чего другого. Я заказал вторую рюмку. Жан-Пьер не

имел никакого права тайком от всех превратиться в хорошего писателя. Я чувствовал себя так, будто стал жертвой обмана, мошенничества. Годами я работал на этого человека, тратил свои знания и чувства, перекладывая его макулатуру на наш чудесный английский язык; а теперь он, без всякого предупреждения, вдруг заявляет о себе как настоящий писатель. Я словно воочию увидел Жан-Пьера — его пухлые руки, короткие седые волосы. Как совместить представление о хорошем писателе с этим образом, который был мне так давно, так хорошо знаком? Это был процесс болезненный, словно отречение от самых заветных взглядов. Человек, которого я считал всего лишь партнером в сделке, оказался соперником в любви. Одно было ясно: раз на Жан-Пьера нельзя больше смотреть просто как на источник доходов, с ним вообще нельзя больше иметь дело. К чему тратить время на переписывание его сочинений, вместо того чтобы творить самому? Я не буду переводить «Nous les vainqueurs». Ни за что. Ни за что.

Только в десять часов я вспомнил про Мэдж. Я взял такси и поехал к ней в отель, пока я ехал, моя ярость перешла в бесшабашную решительность, мускулы напряглись, гордо поднялась голова. В

отель «Принц Киевский» я вошел не робко, не бочком, как сделал бы в другое время. Я вошел с независимым видом, нагоняя страх на портье и швейцаров. Такова сила мечущих пламя человеческих глаз, что этим людям даже не пришлось притворяться, будто они не замечают кожаных квадратиков на локтях моего пиджака, — по-моему, они и в самом деле не заметили. Я повелел, чтобы меня провели к Мэдж, и не успел оглянуться, как уже стоял у ее двери. Дверь распахнулась, и я увидел Мэдж: она полулежала на кушетке, в позе, явно принятой уже довольно давно, в ожидании моего прихода. Дверь за мной неслышно затворилась, как за владетельным принцем. Я сверху глянул на Мэдж и почувствовал, что никогда еще не был так рад ее видеть. Под моим взглядом все ее великосветское величие растаяло, и я прочел по ее лицу, какое глубокое волнение, облегчение и радость она испытала при моем появлении. Я испустил торжествующий клич и коршуном налетел на нее.

* * *

Потом нужно было что-то говорить. Еще входя, я поразился новой перемене в Мэдж, но впечатление это сразу заслонили другие. Теперь же, пока

она пудрила нос, я сидел и осознавал эту перемену. Платье на ней было строже, изящнее, чем прежние, и устрашающе безупречного покроя, прическа преобразилась совершенно. Исчез волнистый английский перманент, теперь волосы облегали ее голову тугими фестонами. Она казалась стройнее, пикантнее; даже движения у нее стали более изящными. Кто-то явно потрудился над ней, притом кто-то, понимающий в этих делах побольше, чем Сэмми. Она украдкой следила за мной, подкрашивая губы — нежные и гордые губы женщины, знающей, что она желанна; и когда я потянулся поцеловать ее, повернула голову и царственным движением подставила мне искусственно цветущую и благоухающую щеку. Наблюдать эти стремительные перемены было страшновато — точно видишь, как движутся звезды или вертится земля.

— Мэдж, ты красива до умопомрачения, — сказал я. Мы сели.

— До чего я рада тебя видеть, Джейки, просто сказать не могу. Правда. Знаешь, сколько времени я не видела ни одного человеческого лица?

Я уж и то подумывал: интересно, какие лица Мэдж видела за последнее время; но об этом я еще успею ее расспросить. Нам много, очень много

нужно было сказать друг другу.

— С чего мы начнем? — спросил я.

— Ох, милый! — И Мэдж крепко обняла меня. Мы не начинали еще сколько-то времени.

— Слушай, — сказал я наконец. — Прежде всего давай установим, что именно известно и тебе и мне: например, что Сэмми — мерзавец.

— Ах, боже мой! — сказала Мэдж. — Я так измучилась из-за Сэмми.

— Что же произошло?

Я уже видел, что Мэдж не намерена сказать мне правду — она обдумывала, как увильнуть.

— Ты не понимаешь Сэмми. Это несчастный, запутавшийся человек. — Так обычно женщина говорит о мужчине, который ее бросил.

— И поэтому ты решила подарить ему мой перевод? — спросил я.

— Ах, *это*! Это я сделала для тебя, Джейки. — Она сверлила меня своими большущими глазами. — Я думала, если что-нибудь из этого выйдет, Сэмми сможет тебе помочь. Но как ты узнал, что рукопись у него?

Тут я выборочно изложил ей свои похождения. Все, что касалось Сэмми и Сэди, явно ей не понравилось.

— Ну и парочка! — сказала она.

— Но про планы Сэмми ты же, наверно, знала?

— Понятия не имела. Узнала только два дня назад.

Это была ложь — отдавая Сэмми рукопись, она хотя бы в общих чертах должна была знать, что́ он затевает; но в то время она, конечно, воображала, что женская партия в этом дуэте принадлежит не Сэди, а ей самой. Поначалу, возможно, и Сэмми так думал. В тот день, когда мы с ним занимались спортом, он, казалось, говорил о Мэдж с неподдельным интересом. Возможно, Сэмми и вправду запутался. А вот несчастный ли он — этого я не знал, да и знать не хотел.

— Ответь-ка мне на несколько вопросов, — сказал я. — Для какого это важного разговора ты меня вызвала?

— Это длинная история, Джейк, — сказала Мэдж. Она налила мне рюмку и стояла, задумчиво глядя на меня. На лице ее появилось скрытное, кошачье выражение женщины, которая сознает свою власть и чувствует себя Клеопатрой. — Хочешь иметь триста фунтов сейчас и полтораста в месяц еще какое-то время?

Обдумывая ответ, я любовался Мэдж в новой роли.

— При прочих равных условиях — да, — сказал

я. — Но кто будет платить?

Мэдж медленно прошлась по ковру. Исходивший от нее сценический накал заполнил всю комнату. Она спокойно повернулась ко мне, точно актриса, знающая, что поворачивается не как-нибудь, а невозмутимо.

— Брось, Мэдж, — сказал я, — давай начистоту. Ты не на пробе.

— Один человек, — начала Мэдж, старательно выбирая слова, — который заработал очень много денег в Индокитае на перевозках или чем-то там еще, хочет вложить эти деньги в создание англо-французской кинокомпании. Это будет очень крупное предприятие. Те, кто стоит во главе его, подыскивают талантливых людей. Само собой разумеется, — добавила Мэдж, — я тебе все это сообщаю строго конфиденциально.

Я глядел на нее в изумлении. Да, она явно шагнула вперед за то время, что мы не виделись. Где она нахваталась таких слов, как «предприятие» и «конфиденциально»?

— Это очень интересно, — сказал я. — Надеюсь, что и ты удостоилась благосклонного внимания искателя талантов. Но при чем тут я?

— При том, — сказала Мэдж, — что ты можешь писать сценарии. — Она налила себе рюмку.

Каждое движение было до тонкости рассчитано.

— Поверь, Мэдж, я ценю твою доброту. Я ценю все, что ты для меня делаешь. Но такую работу с ходу не примешь. Сценарий требует особых навыков, тут нужно долго учиться. И сейчас такую сумму, какую ты упомянула, мне может предложить только сумасшедший. Да и я вовсе не уверен, что хотел бы за это взяться. Ce n'est pas mon genre.[15]

— Перестань притворяться, Джейк, — перебила Мэдж; видимо, ее уязвило то, что я сказал раньше. — У тебя ведь эти деньги так и пляшут перед глазами. Сейчас я тебе скажу, что надо сделать, чтобы их получить.

Я и правда волновался.

— Налей мне еще рюмку, — сказал я, — и объясни, как ты намерена протащить меня туда.

— Тебя и тащить не надо. Все получится совершенно естественно благодаря Жан-Пьеру.

— О господи! А какое отношение имеет к этому Жан-Пьер? — В это утро мне просто некуда было деваться от Жан-Пьера.

— Он член правления, — сказала Мэдж. — Вернее, будет им, когда все будет подписано. И

---

[15] Примечания: 15
Это не в моем духе *(франц.)*.

знаешь, что мы ставим в первую очередь? — Это было сказано тоном человека, выбрасывающего главный козырь. — Английский фильм по его последнему роману.

Мне стало нехорошо.

— Какому? «Nous les vainqueurs»? — спросил я.

— Вот-вот. Тот, что получил какую-то там премию.

— Знаю. «Prix Goncourt». Я видел в магазине, по дороге сюда.

— Фильм получится замечательный, правда?

— Не знаю, не читал. — Я упорно смотрел на ковер. Давно мне так не хотелось плакать.

Я поймал на себе внимательный взгляд Мэдж.

— Что с тобой, Джейк? Ты плохо себя чувствуешь?

— Я чувствую себя превосходно. Расскажи мне еще что-нибудь.

— Джейк, — сказала Мэдж, — ты подумай, как все чудесно получилось! Просто ты еще не видел книги. На Эрлс-Корт-роуд мы о таком и мечтать не могли. Даже не верится, что это Жан-Пьер. Все как нарочно сошлось, одно к одному.

Я понимал, что все сошлось как нарочно.

— Мэдж, — сказал я, — я не умею писать сценарии. Я ничего не смыслю в кино.

— Милый, это ровно ничего не значит да и не в этом дело.

— А я думал, что именно в этом.

— Ты не понимаешь. Все уже устроено. Место за тобой.

— Ты им распоряжаешься?

— То есть как?

— Ты можешь предоставить его кому захочешь?

Мы поглядели друг на друга.

— Так, — сказал я и уселся поудобнее. — Подлей мне еще, будь добра.

— Джейк, не ломайся!

— Я хочу внести ясность. Ты предлагаешь мне синекуру?

— Я не знаю, что это такое, но, наверно, да.

— Синекура — это когда получаешь деньги ни за что.

— Но разве не этого ты всегда хотел? — спросила Мэдж.

Я заглянул в янтарную глубину рюмки.

— Может быть, и так, а сейчас не хочу. — Я и сам не знал, правду ли говорю. Это покажет будущее.

— Да и почему «ни за что»? — сказала Мэдж. — Мало ли какая может быть работа. Книгу нужно перевести, это ты бы все равно сделал.

— Ты прекрасно понимаешь, что это совсем другое.

— Ты должен радоваться не знаю как, что он наконец-то написал приличную книгу. Все ее хвалят. Особенно после того, как он получил эту самую премию.

— Я больше не буду переводить Жан-Пьера, — сказал я.

Мэдж уставилась на меня как на помешанного.

— Это почему? На Эрлс-Корт-роуд ты вечно ныл, что приходится попусту тратить время на такую гадость.

— Верно, — сказал я, — но тут своеобразная логика. Из этого еще не следует, что, переводя хорошую вещь, я тоже не сочту это пустой тратой времени.

Я встал, подошел к окну, выглянул на улицу. И услышал: что Мэдж идет следом за мной по толстому ковру.

— Джейк, не надо, — проговорила она у меня над ухом. — Такой случай больше не представится. Вначале, может быть, будет мало работы, но потом сколько угодно. И брось, пожалуйста, эти глупости насчет Жан-Пьера.

— Тебе не понять. — Наши взгляды встрети-

лись.

Помолчав, Мэдж сказала:

— Твоя приятельница уехала в Голливуд.

Я взял руку Мэдж, вялую и безответную.

— Не в том дело, — сказал я, — и кстати, не называй ты Анну моей приятельницей. Мы с ней не видались несколько лет, если не считать одного раза на прошлой неделе.

— Да? — недоверчиво протянула Мэдж.

— А кроме того, она *не* уехала в Голливуд. — Я только сейчас ощутил это с полной уверенностью. — Тебе же это еще не известно, так?

— Точно не известно, но мне говорили. Да и все уезжают в Голливуд, если представляется возможность.

Я жестом выразил свое презрение к миру, столь нелепо устроенному. Но я уже успел проявить излишнюю горячность, и мне захотелось переменить тему.

— А какое положение эта ваша новая компания займет по отношению к «Баунти — Белфаундер»? — спросил я.

— Какое положение? Она просто сотрет его с лица земли. — В словах Мэдж звучало неприкрытое злорадство. Я пожал плечами. — И пожалуйста, не притворяйся, будто это тебя огорчает, — ска-

зала Мэдж. — Напротив, ты окажешь большую услугу своему другу Белфаундеру. Он ничего так не жаждет, как потерять все свои деньги.

Это меня удивило. Значит, Мэдж вращается в кругах, где обсуждают Хьюго.

— Для этого ему не нужна моя помощь, — сказал я и отвернулся.

Меня захлестнула какая-то смятенная усталость. Мне предложили кучу денег, и я не мог объяснить, почему я от них отказываюсь, если только мое поведение означало отказ. Но что гораздо важнее, мне предложили ключ от мира, где наживать деньги легко, где той же сумме усилий соответствуют неизмеримо более весомые результаты — как вес предмета меняется при перенесении из одной среды в другую. Что до совести — с этим я бы через несколько месяцев справился. Со временем я сумею разбогатеть в этом мире не хуже других. Надо только зажмуриться и войти. Почему же это казалось так трудно? Я терзался. Ведь я отказываюсь от сущности ради тени. То, что я выбираю, — пустота, которую я и описать толком не в силах.

Мэдж наблюдала за мной с возрастающей тревогой.

— Мэдж, — сказал я, чтобы что-то сказать, — а

что будет с «Деревянным соловьем»?

— Об этом не беспокойся. Кто-то действительно подъезжал насчет него к Жан-Пьеру от имени Сэди, но он их отшил. А теперь он передал право на экранизацию всех своих книг нашей компании.

Вот здорово, подумал я. Я улыбнулся Мэдж, и в ответ она тоже улыбнулась с облегчением.

— Значит, Сэди и Сэмми получили по носу?

— Вот именно, — сказала Мэдж.

Я вспомнил, как обидно мне тогда было за Мэдж, и тут же смекнул, что она, вероятно, начала обманывать Сэмми еще до того, как узнала, что Сэмми обманывает ее. Одним скачком до отеля «Принц Клевский» не доберешься. Это было так смешно, что я расхохотался, и чем больше я думал об этом, тем громче хохотал, так что мне пришлось даже сесть на пол. Мэдж сперва тоже засмеялась, но потом осеклась и резко одернула меня: «Джейк!» Я успокоился.

— Значит, придется все-таки Сэмми снимать фильмы с животными, — сказал я.

— Тут Сэмми тоже не повезло, подсунули ему кота в мешке. Только не кота, а собаку.

— Это как понимать?

— «Фантазия-фильм» надула Сэмми. Ты знаешь, сколько лет Мистеру Марсу?

Печальное предчувствие сжало мне сердце.

— Нет, не знаю, — сказал я. — Сколько?

— Четырнадцать. Он долго не протянет. Он уже в последнем фильме еле-еле доиграл. «Фантазия-фильм» уже не хотела его больше снимать. А тут им заинтересовался Сэмми, они его и продали, а возраст утаили. Сэмми не догадался посмотреть его зубы.

— У собак возраст по зубам не определишь.

— В общем, Сэмми и тут нарвался.

Это мне было безразлично. Я думал о Марсе. Марс — старик. Он больше не будет работать. Не будет больше переплывать вздувшиеся реки, перелезать через высокие заборы, сражаться с медведями в пустынных лесах. Силы его идут на убыль, и никакая смекалка ему уже не поможет. Он скоро умрет. Это открытие дополнило меру моей печали, и вместе с тем решимость моя окрепла.

— Не пойду я на это, Мэдж, — сказал я.

— Ты с ума сошел! Но почему, Джейк, почему?

— Я и сам не вполне понимаю. Знаю только, что для меня это была бы смерть.

Мэдж подошла ко мне ближе. Глаза у нее были твердые, как агат.

— Но ведь это настоящая жизнь, Джейк, —

сказала она. — Хватит тебе витать в облаках, проснись! — И она больно ударила меня по губам. Я отпрянул. Минуту она выдерживала мой взгляд, и в глазах ее медленно собирались слезы. Потом я принял ее в объятия. — Джейк, не бросай меня, — проговорила она мне в плечо.

Я повел ее к дивану. Я был полон спокойствия и решимости. Опустившись на колени, я взял обеими руками ее голову, отбросил волосы со лба. Ее лицо поднялось ко мне, как примятый цветок.

— Джейк, — сказала Мэдж, — мне нужно, чтобы ты был со мной. Для этого все и делалось. Понимаешь?

Я кивнул. Провел рукой по ее гладким волосам и дальше, по теплой шее.

— Джейк, скажи что-нибудь!

— Не могу я на это пойти, — сказал я. Она, Мэдж, запущена на орбиту, и кто знает, какую параболу ей предстоит описать, прежде чем она вернется на землю. Я ничем не мог ей помочь. — Я ничем не могу тебе помочь, — сказал я.

— Ты мог бы просто быть рядом. Больше ничего и не нужно.

Я покачал головой.

— Послушай, Мэдж. Я постараюсь объяснить. Я мог бы сказать тебе, что слишком тебя люблю, а

потому не могу стоять в сторонке, пока ты спишь с мужчинами, которые помогают тебе стать звездой. Но это была бы неправда. Если бы я любил тебя больше, мне, возможно, именно этого бы и хотелось. Все дело в том, что я должен жить своей, а не чужой жизнью, а моя жизнь лежит совсем в другой стороне.

Мэдж взглянула на меня сквозь настоящие слезы. Она сделала последнюю ставку.

— Если это из-за Анны, ты же знаешь, я не против. То есть я, конечно, против, но это неважно. Я просто хочу, чтобы ты был рядом.

— Ничего не выйдет, Мэдж. — Я поднялся. Сейчас я нежно ее любил. Через несколько минут я уже сбегал вниз по лестнице.

Глава 15

Я пересек улицу и, как слепой, направился к Сене. Я налетал на прохожих, несколько раз чуть не угодил под машину. Ноги у меня дрожали. Дойдя до Сены, я присел на скамью и снял пиджак. Оказалось, что рубашка вся промокла от пота. Я расстегнул ворот, провел руками по груди и под мышками. Я не отдавал себе отчета в своем поступке, знал только, что сделал что-то значительное — вроде как совершил убийство в пьяном виде. Я посидел, глядя по сторонам, и Париж постепенно успокоился, как отражение в воде, которое перестает колыхаться, когда улягутся волны. Наконец оно стало гладким как стекло. Так что же я сделал?

Отказался от суммы, составляющей — если предположить, что меня продержали бы полгода, прежде чем выгнать, — примерно тысячу двести фунтов. Отказался от легкого перехода из мира перманентного безденежья в мир постоянных денег. А что я получу взамен? Ничего. Сейчас мой поступок казался мне совершенно бессмысленным. Тогда, у Мэдж, я как будто понимал, почему

не могу поступить иначе. Теперь же, хоть убей, не мог бы этого объяснить. Я встал и побрел по железному мосту. Часы на здании Французской Академии показывали десять минут первого. Я шел, и мне открывалась великая истина: на свете нет ничего важнее денег. Как я не понимал этого раньше? Мэдж права — это и есть настоящая жизнь. Это — «единое на потребу»; а я их отвергнул. Я чувствовал себя Иудой.

Я остановился поглядеть на Париж. Увидел его мягкие краски, четкие, но неяркие в лучах июльского солнца. Рыболовы удили рыбу, фланеры фланировали, на ступенях, спускающихся к Сене, лаяли собаки, которых уговаривали искупаться. Почему-то люди обожают смотреть, как их собаки купаются. Из-за зеленых деревьев поднимались башни Нотр-Дам, нежные, как любовники, поднимающиеся с травы. «Париж», — произнес я вслух. Вот и опять что-то ускользнуло у меня между пальцев. Только теперь я отлично знал, что именно. Деньги. Средоточие жизни. Отвергать жизнь — единственное подлинное преступление. Я мечтатель, преступник. Я в отчаянии заломил руки.

Подходя к левому берегу, я почувствовал страшную жажду и в ту же секунду сообразил,

что у меня почти нет при себе денег. Уезжая из Лондона, я сунул в карман какую-то мелочь, оставшуюся от последней поездки. Я думал занять денег у Мэдж, но, обладая хотя бы каплей эстетического чувства, не станешь занимать пять тысяч франков у человека, от которого только что отказался принять тысячу двести фунтов. К тому же я просто забыл об этом. Я выругался. До самого бульвара Сен-Жермен я прикидывал, как мне быть. А потом ощутил другую потребность, столь же дорогостоящую, — поделиться с кем-нибудь своим горем. Я сопоставил эти потребности со своими финансами и одну с другой. Перевесила вторая. Я пошел в почтовое отделение на углу Дюфур и отправил господам Гелману и О'Финни телеграмму: «Наотрез отказался принять сумму минимум тысячу двести фунтов Джейк». Потом я пошел в «Белую королеву» и заказал перно — это хоть и не самый дешевый аперитив, но с самым высоким содержанием алкоголя. Мне стало немножко легче.

Там я просидел долго. Сначала я упорно думал о тех деньгах. Я рассматривал их со всех точек зрения. Менял их на франки. На доллары. Переводил из одной европейской столицы в другую. Как скряга, помещал их под высокие проценты.

Бесшабашно тратил на самые дорогие вина и самых дорогих женщин. Я купил «Астон Мартин» последней марки. Снял квартиру окнами на Хайд-парк и увешал ее стены картинами «маленьких голландцев». Я возлежал на полосатой тахте возле бледно-зеленого телефона, а магнаты кино слали мне по проводам лесть, мольбы и восхваления. Очаровательная кинозвезда, кумир трех континентов, лежавшая у моих ног, как пантера, наливала мне второй бокал шампанского. «Это Г.К., - тихо говорю я ей, прикрыв трубку ладонью, — вот надоел!» Я беру со стола орхидею и бросаю ей; и когда она, обвив меня своими гибкими руками, начинает приподниматься, чтобы лечь рядом со мной, я отвечаю Г.К., что у меня совещание и пусть договорится с моим секретарем — дня через два-три я буду рад с ним встретиться.

Наскучив этой игрой, я стал думать о Мэдж и о том, кто же это поселил ее в отеле «Принц Клевский» и невидимо присутствовал при нашем свидании. Может, тот самый человек, что владел в Индокитае пароходами или чем-то там еще? Я представил его себе. Седой и грузный, овеян всеми ветрами, обожжен тропическим солнцем, ум и властность написаны на лице — лице старого

француза, немало повидавшего на своем веку. Он мне понравился. Перед его богатством бледнеют мечты любого стяжателя. Годы, минувшие с тех пор, как он со страстью гонялся за деньгами, уже исчисляются десятками. Теперь деньги ему больше не нужны: он любил их, боролся за них, ради них страдал и заставлял страдать других; купался в них так долго, что они залили ему золотом и глаза и мозг; и, наконец, устал от них и стал разбрасывать, состояние за состоянием. Но деньги не покидают человека, который много ради них перенес. И он смирился. Теперь он живет с ними, как с состарившейся женой. Он возвратился во Францию, утомленный и ко всему равнодушный — ведь он удовлетворил все свои желания и убедился, что удовлетворение всегда одинаково преходяще. Вяло и безразлично он будет наблюдать, как организуется его кинокомпания, будет участвовать в пьесе, где все актеры, кроме него, сходят с ума от одного запаха денег.

А может быть, покровитель Мэдж — какой-нибудь ловкий делец-англичанин: человек средних лет, с богатым опытом в области кино. Скажем, не добившийся успеха режиссер, решивший применить свой талант в кинопромышленности и большими деньгами вознаграждающий себя

за утрату прекрасной мечты, которая все равно будет преследовать его до могилы, так что он всякий раз будет злиться, присутствуя на съемках и видя, как другие мучаются над проблемами, что вдохновляли его в двадцать пять лет, а в тридцать заставляли проводить бессонные ночи и наконец довели до отчаяния. Где познакомилась с ним Мэдж? Возможно, на одной из тех вечеринок у «киношников», о которых упоминал Сэмми в тот день, когда советовал мне «не спускать с них глаз — не то пиши пропало».

А может быть — эта сокрушительная мысль родилась только сейчас, — может быть, приятель Мэдж не кто иной, как Жан-Пьер? Думать об этом было противно, но притворяться, что это невозможно, не имело смысла. Сам я не знакомил Мэдж с Жан-Пьером, несмотря на ее неоднократные просьбы. Я инстинктивно опасался последствий. Для некоторых англичанок всякий француз, так сказать ex officio[16] окружен романтическим ореолом, и я, очевидно, подозревал, что Мэдж принадлежит к их числу. Однако Мэдж могла познакомиться с Жан-Пьером и без моего ведома. Я вспомнил, что в разговоре со мной она

[16] Примечания: 16
По долгу службы *(лат.).*

называла его просто по имени; и хотя она могла перенять это от меня или от своих теперешних знакомых, не исключено, что она в самом деле избрала Жан-Пьера на роль своего благодетеля. По моим представлениям на роль сердцееда он не подходит, но у женщин странные вкусы.

Я еще повертел эту мысль в голове, а потом отставил. Из трех моих гипотез самой вероятной, безусловно, была вторая. А еще через некоторое время я почувствовал, что все это мне вообще безразлично. Одна рюмка перно немного оживила меня, вторая оживила еще больше. Над моим умственным ландшафтом проглянуло солнце, и сноп лучей озарил наконец истинный облик того, что побудило меня принять такое, казалось бы, бессмысленное решение. Не в том суть, что я не желал проникать в мир, где жила Мэдж, и участвовать в ее игре. Я уже успел так засорить свою жизнь компромиссами и полуправдами, что мог бы и дальше идти по этой дорожке. Извилистые ущелья лжи издавна меня отпугивают, и все же я то и дело в них вступаю, возможно потому, что смотрю на них как на короткие дефиле, снова выводящие на солнце, хотя это, вероятно, и есть единственная непоправимая ложь. Меня не прельщала роль пажа, которую предназначила

мне Мэдж, но и это я мог бы стерпеть, потому что искренне симпатизировал Мэдж, а также из-за финансовой выгоды — если б на карту не было поставлено ничего другого. Я сказал Мэдж, что дело не в Анне, и, кажется, это была правда. К чему меня обяжут или не обяжут отношения с Анной — это еще было неизвестно. Тут я все предоставил судьбе. Если Анна достаточно сильна для того, чтобы притянуть меня к себе через все препятствия, значит, так тому и быть и в конце концов препятствия будут преодолены. А пока Мэдж не на что жаловаться. Нет, суть не в том.

Когда я спросил себя, в чем же все-таки суть, перед глазами у меня отчетливо возникла витрина, которую я видел утром, и в ней анонс «Prix Goncourt». Что касается премии как таковой, мне на нее плевать, это всего лишь ярлык. Важно то, что сделал Жан-Пьер. Вернее, даже не это. Даже если «Nous les vainqueurs» окажется не лучше других книг Жан-Пьера, это тоже не так уж важно. Главное — это видение моей собственной будущности, что мелькнуло тогда передо мной и теперь властно мне повелевало. Зачем мне писать сценарии? Когда я сказал Мэдж, что это не в моем духе, я не думал о том, что говорю; и, однако, это была правда. Дело моей жизни лежит

в другой стороне. У меня есть своя дорога, и, если я по ней не пойду, она так и останется нехоженой. Долго ли еще я буду медлить? Вот это главное, а все остальное — тени, годные лишь на то, чтобы отвлекать и вводить в заблуждение. На что мне деньги? Да бог с ними совсем. В ярком свете этого видения они сморщились, как осенние листья, из золотых стали бурыми и рассыпались в прах. Когда пришли эти мысли, глубокое удовлетворение наполнило мою душу, и я тут же решил отправиться на поиски Анны.

Но сейчас главное затруднение состояло в том, что мне нечем было заплатить по счету. Как-то незаметно для себя я проглотил целых четыре рюмки перно, что составляло несколько сот франков. Пятидесяти франков мне не хватало, даже без чаевых. Я уже подумывал, не сказать ли хозяину, чтобы записал долг на Жан-Пьера — он постоянный клиент «Белой королевы», — как вдруг на горизонте появился некий всемирно известный прихлебатель, мой старый знакомый. С радостным блеском в глазах он устремился ко мне, а через несколько минут я имел удовольствие выудить у него билет в тысячу франков, в котором даже он не решился мне отказать, памятуя о сотнях рюмок, выпитых им за мой счет не

меньше чем в трех столицах. Я облегчил его карман, и тем самым немного успокоил его совесть.

Мое убеждение, что Анна в Париже, было, в сущности, построено на песке. Тем не менее оно было крепко, и я, свернув с набережной, поспешил к телефону. Первым делом я позвонил в «Club des Foux»[17] — веселый, но изысканный кабачок, где Анна дебютировала несколько лет назад. Но там о ней ничего не знали. Вернее, знали, что недавно она была в Париже, но здесь ли она еще и где о ней справиться этого никто не мог сказать. Потом я позвонил нескольким людям, которые могли ее встретить, но все отвечали то же самое, только один сказал, что она вчера отплыла в Америку, если только он не спутал: возможно, это была Эдит Пиаф. Тогда я стал обзванивать гостиницы — сначала те, где мы останавливались с Анной, на случай, что ее привели туда сентиментальные соображения, потом отели рангом повыше, которые, насколько я знал, были ей известны, — на случай, если комфорт перевесил сантименты либо сантименты вызвали обратную реакцию. Все было напрасно. Никто ее не видел, никто не знал, где она. Я махнул рукой и, безутешный, побрел

[17] Примечания: 17
Клуб сумасшедших *(франц.)*.

по улице. Было очень жарко.

Если Анна в Париже, что она тут делает? Может быть, она не одна. Если так, мое дело дрянь. Нужно исходить из предпосылки, что Анна одна. Если она не в компании певцов или актеров, что она тут делает в полном одиночестве? Зная ее характер, я мог без труда ответить на этот вопрос. Сидит в каком-нибудь полюбившемся ей местечке и размышляет. Или очень медленно прохаживается по улице где-нибудь в пятом или шестом округе. Конечно, она могла поехать на Монмартр; но она всегда жаловалась, что там слишком много лестниц. Или на кладбище Пер-Лашез, но мне не хотелось думать о смерти. Если обойти все наши любимые места на левом берегу, кой-какая надежда отыскать ее все же есть. А не то — пойти напиться. Я купил бутерброд и пошел в сторону Люксембургского сада.

Я направился прямо к фонтану Медичи. Там никого не было; но дух этого места тотчас завладел мною, и я не мог уйти. Давным-давно, когда мы с Анной были в Париже, мы приходили сюда каждый день; и сейчас, постояв минуту в молчании, я проникся уверенностью, что, если подождать, она придет. В журчании одинокого фонтана есть что-то завораживающее. Он шепчет о том, что

делают вещи, когда их никто не видит. Словно слышишь никому не слышные звуки. Невинное опровержение теории епископа Беркли. Пятнистые платаны сомкнулись кольцом. Я медленно подошел ближе. Сегодня по зеленым ступеням бежали только тоненькие струйки и отраженный высокий грот лишь чуть-чуть колыхался в воде, на которой плавало, подобно лотосам, несколько листьев. На нижней ступени пили голуби, окуная головки в воду. А над ними неподвижно лежали любовники, она — в позе отброшенной робости, открывающей безупречное тело, он поддерживает ее голову так бережно, что это движение даже не назовешь чувственным. Так они лежат, окаменев под одноглазым взором огромного, источенного дождем и зноем, засиженного голубями темно-зеленого Полифема, который увидел их из-за нависшей над ними скалы. Я простоял там долго, облокотясь на мраморную урну и размышляя об изгибе ее бедра. Правая нога ее подогнута, левая вытянута, и эта чистая округлая линия поднимает восприятие на высшую ступень, сливая воедино созерцание и вожделение — изгиб женской ноги. Так она лежит, вся — ожидание, но вся покой, в великолепной наготе, чуть улыбаясь с закрытыми глазами. Я ждал долго, но

Анна не пришла.

Тогда я стал вспоминать, что́ больше всего нравилось Анне в Париже. Ей нравились хамелеоны в Зоологическом саду. Я пошел смотреть хамелеонов. Они медленно передвигались по своей клетке, с поразительной неторопливостью свивая и развивая длинные хвосты, едва заметным движением протягивали вперед одну длинную лапу за другой, хватаясь и перебираясь с ветки на ветку. Косящие глаза их подолгу смотрели в одну точку, потом один какой-нибудь тихонько поворачивался под другим углом. Они мне очень понравились. Вот это — истинный темп жизни, говорили они мне, с почти невыносимой медлительностью вводя в действие то одну, то другую лапу и снова застывая в неподвижности. Я смотрел на них, и время замедлило свой ход, почти остановилось; здесь я тоже простоял долго, каждая секунда растягивалась в минуту, и стиралась грань между движением и покоем. Анна не пришла.

Я поспешил прочь из сада и бегом пустился по набережной. Забегал подряд во все церкви — святого Юлиана, святого Северина, святого Жермена, святого Сульпиция — на случай, что в одной из них сидит Анна, откинув голову, по-

глощенная какой-нибудь печальной мечтой. Никого. Я заглянул в сад позади Нотр-Дам, где кажется, что собор несется подобно кораблю и где мы не раз кормили воробьев. Потом перешел на правый берег и заглянул в сад с водопадиком позади Большого дворца — тот, что не запирают на ночь. Никого. Потом вошел в церковь святого Евстахия и побродил среди леса разнородных колонн. На этом я кончил. День уже клонился к вечеру. Вокруг крытого рынка мыли из шлангов тротуары. Фрукты и овощи неслись вместе с водой по сточным канавам. Я купил хлеба и сыра, и сквозь толпы толстух, грызущих концы длинных батонов, которые они тащили домой, ноги понесли меня обратно, в сторону квартала Сен-Жермен. Образ Анны, неотступно стоявший у меня перед глазами, немного побледнел, и я стал замечать, что город богаче обычного расцвечен флагами, а над переулками протянулись от дома к дому гирлянды флажков. Что-то празднуют. И вдруг я вспомнил, что сегодня — четырнадцатое июля.

Добравшись до кафе «Липп», я почувствовал, что не прочь посидеть там. Я сел и заказал вермут. Утренние события уже отодвинулись очень далеко, и так же далека была минута прозрения, последовавшая за ними. Если я что-то и ощущал

теперь в связи в этим, так только идиотскую тупую боль — то ли сожаление об упущенных деньгах, то ли просто результат того, что я в неурочный час приналег на аперитивы. Но тоска по Анне не притупилась. Где она сейчас? Может быть, в какой-нибудь полумиле от меня, сидит на кровати в номере гостиницы и смотрит на раскрытый чемодан. Я представил себе ее печально склоненную голову и почувствовал, что эта мысль невыносима. Нет, конечно же, она в море, стоит, облокотившись на поручни, и глаза ее уже полны Америкой. Трудно было решить, которая из этих картин хуже.

Я не просидел в кафе «Липп» и нескольких минут, как услышал выкрики официанта: «Мсье Донагу, мсье Донагу!» Это меня не удивило — мое имя не раз выкликали на террасах кафе по всей Европе. Я помахал рукой. Официант подбежал ко мне с телеграммой. Почему-то я успел вообразить, что телеграмма от Анны, из Нью-Йорка. Я схватил ее. Она была из Англии от Дэйва — он знал мое пристрастие к кафе «Липп» и, очевидно, послал ее сюда в слабой надежде, что она меня здесь застанет. Телеграмма гласила: «Не грусти Птица Лира победила сегодня двадцать к одному».

Париж уже начинал дрожать от праздничного

возбуждения. Я пошел по бульвару Сен-Жермен. Пиджака я не надевал, но мне все еще было жарко, хотя день незаметно сменился вечером. Я дошел до того места, где сидит среди акаций Дидро, с вполне понятным осуждением глядя издали на кафе «Флора». Потоки прохожих пересекались на тротуаре, над шумом машин стоял смутный гул голосов и смеха. Весь Париж высыпал на улицы. Дойдя до Одеона, я увидел, что кафе выплеснулись до середины мостовой, а на улице Старой комедии уже танцевали под аккордеон. Еще было светло, но уже зажглись гирлянды разноцветных фонариков. Я присел на скамью и стал смотреть.

Если вы, подобно мне, тонкий ценитель одиночества, рекомендую вам такой опыт: побыть одному в Париже четырнадцатого июля. В этот день город распускает по плечам свои пышные волосы, которые лето умастило теплом и благовониями. В Париже у каждого мужчины есть женщина, но в этот день каждый мужчина там — султан. В этот день люди слетаются стайками и с громким щебетом порхают по городу, как яркокрылые птицы. Развеваются флаги, рвутся шутихи, хлопают пробки, взмывают к небу выпущенные из клеток голуби, и чем дальше, тем все больше веселья. Никто не остается в стороне, вот

уже весь город обратился в сплошной праздник. Быть одному среди этого карнавала — ни с чем не сравнимое переживание. Я решил не пить. Я знал, что после нескольких стаканов мою отрешенность замутит сентиментальная грусть. Нет, хладнокровно и спокойно наблюдать картины бесшабашного разгула, с бледной улыбкой отмахиваться от назойливых женщин и от пестрого серпантина, которым вас норовят опутать враги одиночества, — вот какое удовольствие выбрал я себе на этот вечер и не намерен был допустить, чтобы столь редко выпадающие нам минуты созерцания испортила жалкая тоска по женщине, которую я не могу найти.

Исполненный столь добрых намерений, я встал со скамьи и, пробравшись среди танцующих, пошел по улице Дофин. Меня тянуло к реке. У реки народу было еще больше, голоса, как летучие мыши, метались в густо настоенном вечернем воздухе. Меня охватило чувство ожидания. Ноги сами несли меня, независимо от моей воли. Я шел к Новому мосту. Еще не стемнело, но уже горели прожекторы. Башня Сен-Жак отливала золотом, как на гобелене, тонкий палец Сент-Шапель таинственно возникал из крыш Дворца Правосудия, и на ней было отчетливо видно каждое

острие, каждый цветок. Высоко в воздухе повис нахальный луч Эйфелевой башни. В поплавке «Любезник» кричали, смеялись, бросали что-то в воду. Я отвернулся. Мне нужно было увидеть Нотр-Дам. Я пересек площадь Дофин и снова ступил на берег у моста Сен-Мишель. Мне хотелось посмотреть, как выглядит моя любимица из-за реки. Выбравшись из сутолоки, я прилип к стене и загляделся на жемчужные башни, за которыми уже скапливалась тьма. Любопытный эффект — эта церковь так изумительно красива, что не кажется большой. Так бывает и с женщинами. Я приближался, пока не увидел под ней отраженную в гладкой воде вторую, дьявольскую, непрестанно подрагивающую Нотр-Дам, словно череп в зеркале, где должна отражаться голова. Тихо-тихо освещенное отражение набухало и дробилось, поглощенное собственным ритмом, невзирая на толпы, что стремились теперь в обе стороны по всем мостам.

Я склонился над парапетом. Прохлады не было, но стало темнеть — синева сгущалась все больше. Проехал на повозке оркестр аккордеонистов, за ним бежала толпа. Какой-то человек в бумажном колпаке подскочил ко мне и бросил мне в лицо пригоршню конфетти. На мосту Сен-Мишель пе-

ли студенты. Прошла группка людей, они несли впереди флаг. Я стал склоняться к мысли, что, пожалуй, стоит все-таки выпить. Вот как опасно одиночество. Вдруг высоко над головой послышалось шипение и взрыв, замерший в тихом шелесте. Я поднял голову. Начался фейерверк. Когда первые звезды стали медленно спускаться и гаснуть, из тысячи глоток вырвалось восхищенное «А-а-ах!» и все застыли на месте. Взлетела вторая ракета, потом третья. Я чувствовал, как толпа у меня за спиной густеет по мере того, как люди выходят на набережную, откуда лучше было смотреть. Меня прижали к парапету.

Я боюсь толпы и был бы рад уйти, но даже пошевелиться не было возможности. Тогда я смирился и стал смотреть на фейерверк. Зрелище было очень красивое. Ракеты взлетали то поодиночке, то букетами. Одни взрывались с оглушительным треском и разлетались дождем крошечных золотых звезд, другие раскрывались с тихим вздохом и рисовали в небе почти неподвижный узор из больших разноцветных огней, которые потом опадали медленно-медленно, словно связанные вместе. Потом вверх устремлялись одновременно шесть или семь ракет, и на секунду небо казалось из края в край усыпанным золотой пылью и об-

летевшими цветами — как пол в детской после веселой игры. У меня затекла шея. Я тихонько растер ее, опустив голову, и окинул бездумным взглядом толпу. И тут я увидел Анну.

Она была на том берегу, на острове, стояла в углу Малого моста, у самой лестницы, ведущей к воде. Прямо над ней горел уличный фонарь, и лицо ее было отчетливо видно. Это, несомненно, была она. Я смотрел на нее, и внезапно лицо ее озарилось, как у святой на картине, а тысячи окружающих ее лиц ушли в тень. Я не мог понять, почему сразу ее не заметил. Минуту я стоял окаменев, потом попытался выбраться из толпы, но об этом нечего было и думать. Сплошная людская масса притиснула меня к парапету. Я даже повернуться не мог, не то что пробиться сквозь эту живую стену. Оставалось только ждать, когда кончится фейерверк. Я прижал рукой сердце, готовое выскочить из груди, и впился глазами в Анну.

Одна она или с кем-нибудь? Трудно было сказать. Понаблюдав за ней минуты три, я решил, что она одна. Она стояла неподвижно, глядя ввысь, и какой бы громкий ропот восторга ни исторгала у толпы та или иная особенно эффектная ракета, даже не поворачивала головы, чтобы

поделиться своей радостью с окружающими. Да, она, несомненно, была одна. Я ликовал. Но в то же время терзался страхом — как бы не потерять ее, когда толпа начнет расходиться. Мне хотелось крикнуть, но воздух был полон разноголосого гула — она бы нипочем не услышала. Я только жег ее взглядом и мысленно кричал во весь голос.

Потом она сдвинулась с места. Толпа на том берегу была не такая густая. Анна сделала два шага и остановилась. Я застыл от ужаса. Но она, к великому моему облегчению, стала спускаться по ступеням к воде, прямо напротив меня. Тут я увидел ее с головы до ног. На ней была длинная синяя юбка и белая блузка. В руках ни пальто, ни сумочки. Взволнованный до исступления, я выкрикнул ее имя. Но с тем же успехом я мог послать стрелу в ураган. Тысячи, десятки тысяч голосов поглотили мой возглас. На ступенях, любуясь фейерверком, сидели и стояли люди, и Анна спускалась медленно. На полпути она задержалась, подхватила сзади юбку невыразимо изящным и характерным движением, которое я хорошо помнил, и продолжала спускаться.

У самой воды она нашла свободное местечко, села, поджав под себя ноги, и опять, подняв голову, стала смотреть на ракеты. Река была черная

под ночным небом и блестела — черное зеркало, в которое каждый фонарь отбрасывал столб света и небесный пожар время от времени ронял кусок золота. Цепочка людей на берегу ясно отражалась в нем. Опрокинутая в воде Анна не шевелилась. Я подумал: так же ли четко и мое отражение в воде, которая поднималась тут, у левого берега, до самого парапета? Я стал махать руками в надежде, что либо я сам, либо мой двойник привлечет внимание Анны. Потом достал коробок спичек и зажег две-три спички у самого своего лица. Но в этом море огней мой крошечный огонек едва ли можно было заметить. Анна все смотрела вверх. Пока я махал, шлепал руками по воздуху и проделывал всевозможные наклоны и повороты, как нелепая марионетка, она сидела тихо, словно заколдованная принцесса, закинув голову, обхватив руками колено; а звезды дождем лились с неба прямо на нее. Что-то со стуком упало на парапет возле моей руки. Я машинально протянул руку, и в ней оказалась палка от одной из ракет. Когда снова вспыхнул сноп света, я прочел на ней фамилию: Белфаундер.

С минуту я изумленно глядел на палку, а потом, старательно прицелившись, швырнул ее в воду, прямо в отражение Анны, и тут же стал кричать и

махать руками. Отражение разбилось, по зеркалу от моста к мосту пролегли длинные морщины. Анна опустила голову; и пока я тянулся к ней, так что чуть не полетел вниз головой в реку, она пристально следила за палкой от ракеты, которая очень медленно плыла в сторону моря, являя собой наглядное доказательство того, что и текущая вода может дать безупречное отражение. Потом кто-то позади меня сказал: «C'est fini!»[18] — и я почувствовал, что нажим на мою спину ослабел.

Замерев, я ждал, что будет делать Анна. На том берегу, у обоих мостов, люди уже поднимались по лестницам. Анна медленно встала и отряхнула юбку. Вот она нагнулась, потерла щиколотку. И двинулась обратно к Малому мосту. Я стал пробираться в ту же сторону. Я видел, как она поднимается, потом потерял ее из виду. Я рванулся на мост, навстречу людскому потоку. Голоса и смех шумели, как ветер. Под яркими фонарями чьи-то лица вплотную придвигались ко мне, расплывались в улыбку и тотчас отскакивали прочь. Перейдя на остров, я повернул к мосту Сен-Мишель. Немного впереди себя увидел золотую копну волос и пошел следом; а переходя бульвар

---

[18] Примечания: 18
Конец *(франц.)*.

дю Пале, убедился, что впереди меня в толпе действительно идет Анна. Тревога моя немного улеглась. Если очень постараться, я мог бы ее догнать, но я отдался на волю потока и решил подождать, пока толпа немного поредеет. Так мы прошли остров из конца в конец.

Анна перешла по Новому мосту на правый берег, и мы оказались на тротуаре возле Лувра, где было гораздо менее людно; а когда мы миновали скопление народа у Моста Искусств, нас разделяло всего каких-нибудь полсотни шагов и Анна была ясно видна мне на фоне подсвеченного фасада. Я заметил, что она чуть прихрамывает — может быть, ей жали туфли; но шаг у нее был бодрый, решительный, и тут мне в первый раз пришло в голову, что она стремится к какой-то цели. Сейчас мне ничего не стоило ее догнать. Но что-то меня удержало. Не помешает узнать, куда она направляется. И я продолжал следовать за ней издали, пока она у Королевского моста не повернула прочь от реки.

Что видит Анна, думал я, чем полна сейчас ее золотая голова? Какая печаль или надежда заслонила от нее картину, в которую она вступает походкой сомнамбулы? Может быть, она думает обо мне? Может, для нее Париж полон мной,

так же как для меня он полон ею? Безрассудная надежда найти какое-то подтверждение этой догадке отчасти и удержала меня от того, чтобы подбежать к Анне. Когда-то одним из любимых наших с нею обычаев были ночные прогулки по саду Тюильри. С набережной, с площади Согласия и с улицы Риволи этот сад недоступен, но от улицы Поль Дерулед его отделяет только поросший травою ров и низенькая ограда. В обычные ночи на этом уязвимом участке дежурит полицейский патруль, и эта опасность придает Тюильри острую прелесть запретного, заколдованного сада. Но сегодня, надо полагать, правила соблюдаются не так строго. Анна повернула к Тюильри, и сердце у меня подскочило — так, вероятно, было с Энеем, когда Дидона повернула к пещере. Я прибавил шагу.

Улица струилась светом. Справа высилась арка Каруссель, в своих неповторимо совершенных пропорциях существующая как бы вне реального мира, а позади нее перспективу замыкал огромный полукруг Лувра, различимого до мельчайших подробностей в ослепительных огнях иллюминации. Слева уже тянулся причудливый сад — металлическая зеленая трава под желтыми фонарями, цветы, кичащиеся своими красками и

тихие, точно цветы из сна, которые раскрываются, оставаясь неподвижными. Немного отступя от ограды начинались деревья, за деревьями новый взрыв света возвещал площадь Согласия, а дальше, высоко на холме, ярко освещенная Триумфальная арка выступала из черной тьмы, и в центральном ее пролете трепетал огромный, до самого свода, трехцветный флаг.

Анна, все так же прихрамывая, уже шла по траве между белых статуй, разнообразящих эти лужайки лбами в лавровых венках и мраморными спинами в изящных поворотах. Она подошла к ограде возле бронзовых пантер, как раз там, где мы так часто перелезали в сад. Поднимаясь по травянистому откосу, она подоткнула свою длинную юбку, и я увидел, как над оградой мелькнула ее белая, обнаженная до бедра нога. Когда я в свою очередь перескочил через ограду, она шла всего в тридцати шагах от меня между цветущих куртин. Чуть дальше лужайка кончалась, начинались деревья. На фоне их она казалась заблудившейся девочкой из сказки. И вдруг она остановилась. Я тоже остановился. Мне хотелось продлить очарование этих минут.

Анна нагнулась и сняла туфлю. Потом вторую. Я стоял в тени куста, изнывая от жалости к ее

бедным, усталым ногам. Зачем это несмышленое дитя вечно носит слишком тесные туфли? Я смотрел на нее, а ночные запахи, поднимаясь от земли, клубились вокруг меня, точно облако, Анна примерилась белой ногой к прохладной траве. Она была без чулок. Потом очень медленно пошла по травянистой кромке, неся туфли в руке. Как баржа на буксире, я тоже сдвинулся с места. Сейчас мы вступим в рощу. Уже совсем близко росли ряд за рядом каштаны, листья их были четко очерчены в рассеянном свете крошечные листья парижских каштанов, уже в июле золотисто-бурые по краям. Она вошла в рощу.

Здесь трава кончилась, под ногами был мягкий песок. Анна без колебаний ступала по нему босыми ногами. Я шел за ней. Пройдя немного, она остановилась, оглядела деревья и, выбрав одно из них, засунула туфли в углубление между корнями. Потом, освободившись от своей ноши, пошла дальше. Это растрогало меня до глубины души. Я улыбался в темноте, мне хотелось смеяться и аплодировать. Поравнявшись с тем местом, где Анна оставила туфли, я невольно задержался и посмотрел, как они лежат, полускрытые от глаз, прижавшись друг к другу, как два крольчонка. И, повинуясь неодолимому желанию, поднял их

с земли.

Я не склонен к фетишизму, мне куда приятнее обнимать женщину, чем ее туфли. И однако сейчас, взяв их в руки, я весь задрожал. Я шел, держа по туфле в каждой руке, неслышно ступая по песчаной аллее. Пока я наклонялся, чтобы поднять туфли, Анна свернула в сторону. Теперь ее белая блузка маячила подобно бледному флагу по диагонали от меня. Мы находились в самой густой части рощи. Я заспешил. После этой долгой погони я уже не сомневался, что она думает обо мне, ждет меня. Это — свидание. Точно какая-то физическая сила гнала меня вперед. С нашим объятием замкнется круг годов и начнется золотой век. Я стремился вперед, как сталь за магнитом.

Я нагнал ее и раскрыл объятия. «Alors, cheri?»[19] произнес нежный голос. Женщина, обернувшаяся ко мне, была не Анна. Я пошатнулся, как от удара ножом. Белая блузка ввела меня в заблуждение. С минуту мы смотрели друг на друга, потом я отвернулся. Я прислонился к дереву. И тут же бросился бежать, поглядывая то вправо, то влево. Анна должна быть где-то рядом. Но в роще было очень темно. Через минуту я очутился у ступеней Залы

---

[19] Примечания: 19
Что, милый? *(франц.)*.

для игры в мяч. За железной решеткой горела огнями площадь Согласия, где в громкой мешанине из музыки и голосов танцевали тысячи людей. Шум этот разразился надо мною внезапно. Я отпрянул, будто мне швырнули в лицо щепотку перца, и ринулся назад, под деревья.

Я бежал и громко звал Анну. Но теперь роща была, казалось, полна статуй и влюбленных. Каждое дерево расцвело шепчущейся парой, каждая просека дразнила меня каменным изваянием. Повсюду мелькали стройные призраки, скупой свет, проникавший сквозь листву, косо падал на мертвенно бледные лица. Шум площади Согласия эхом отдавался в верхушках деревьев. Я больно ударился плечом о толстый ствол. Понесся вдоль колоннады к какой-то неподвижной фигуре и встретил ее мраморный взгляд. Я огляделся, еще раз попробовал крикнуть. Но мой голос запутался в бархате ночи, как удар кинжалом в складках плаща. Никакого толку. Я пересек главную аллею, решив, что Анна могла уйти в другую часть рощи. Из темноты вынырнуло удивленное мужское лицо, я споткнулся о чью-то ногу. Я стал бегать кругами, как собака, потерявшая хозяина.

Наконец я остановился в полном изнеможении и отчаянии и тут увидел, что все еще держу в

руках туфли Анны. Надежда вспыхнула снова. Я круто повернул и побежал назад, туда, где мы вступили под деревья. Найти точное место было нелегко — один ряд деревьев был в точности похож на другой. Когда мне показалось, что я узнал нужное место, я стал искать дерево с углублением между корнями. Я нашел их множество, но ни одно не было похоже на то дерево, под которым Анна оставила туфли. Как видно, я не там вошел в рощу. Я вернулся на лужайку, попробовал другое место, но уже без всякой уверенности. Тогда я решил, что остается одно — подождать, может быть, Анна вернется. И я стоял, прислонившись к дереву, изредка, с каждым разом все печальнее, окликая Анну, а мимо меня, шепчась в темноте, проходили пара за парой. Меня стала заливать усталость, и я опустился на землю под деревом, все еще не выпуская из рук туфли. Не знаю, сколько протекло времени, постепенно печальная тишина пала на меня, как роса. Я перестал звать и ждал молча. Похолодало. Теперь я знал, что Анна не придет.

Наконец я поднялся и растер затекшие ноги. Я вышел из сада Тюильри. Улицы были усеяны брошенными игрушками. Вздымая волны разноцветной бумаги, усталые люди расходились

по домам. Праздник кончился. Я влился в общий поток и, продвигаясь вместе с другими в сторону Сены, все думал о том, с какими мыслями и по каким улицам, может быть совсем близко отсюда, Анна бредет босиком к себе домой.

Глава 16

Я ждал, чтобы зашло солнце. Уже несколько дней, как я вернулся на Голдхок-роуд. Солнце очень медленно передвигалось по белой стене больницы, и карниз, опоясавший стену на уровне моих глаз, отбрасывал длинную тень. Тень все вытягивалась, меняя направление, и голова моя поворачивалась на подушке следом за нею. В полдень белая стена блестела, но к вечеру блеск погас, и свет, теперь более мягкий, шел как бы изнутри бетона, обнажая малейшую неровность. Изредка между стеной и моими окнами пролетала птица, но мне всегда казалось, что это игрушка на веревочке, а не живая птица, которая, миновав белую стену, полетит дальше и, может быть, сядет на дерево. На стене больницы ничего не росло. Я пытался вообразить, что на карнизе поселились растения — влажные плети с длинными листьями-пальцами, свисающие из щелей, расцвеченные пятнистыми цветами. На самом деле там не было ничего, и даже воображению стена противилась, оставаясь гладкой и белой. Еще два часа, и солнце зайдет.

Когда зайдет солнце, я, может быть, усну. Днем я не давал себе спать. Дневной сон — это проклятье, после него просыпаешься разбитый и уничтоженный. Солнце его не терпит. Оно забирается вам под веки и насильно их раздвигает; а если вы завесите окна черными шторами, подвергает вашу комнату осаде, так что вы, не выдержав духоты, с безумными глазами, шатаясь, добираетесь до окна и срываете шторы, и тогда вам открывается страшное зрелище — ослепительный дневной свет за окнами комнаты, где вы только что спали. Для человека, засыпающего днем, имеются свои, особые кошмары — короткие нервные сны, которые умещаются в считанные минуты тревожного забытья и, прорываясь в сознание, тотчас смешиваются с каким-нибудь ужасом яви. Таковы эти пробуждения — словно проснулся в могиле: открываешь глаза и лежишь замерев, стиснув руки, дожидаясь, когда заговорит, назовет себя эта мука; а она еще долго давит тебе на грудь, не произнося ни слова.

Я боялся уснуть. Чуть подступала дремота, я старался принять менее удобное положение — это было нетрудно, поскольку я лежал на походной койке Дэйва, таившей в себе в этом смысле бесчисленные возможности. Койка была

из тех, у которых холст натянут на жесткую раму, опирающуюся на четыре стальные ножки в форме W. Там, где ножки соединяются с поперечинами рамы, поддерживающей холст, торчат кверху жесткие шишки. Мне всегда удавалось устроиться так, чтобы одна из этих шишек впивалась мне в ребра либо в спину. И я лежал, весь скрючившись, пока дремота не рассеивалась и не сменялась болезненным оцепенением, которое — я это знал по опыту — может длиться очень долго, не переходя в черноту сна.

Мою подушку подпирал рюкзак Дэйва, в который была затиснута слипшаяся масса из годами не вынимавшейся обуви и старой одежды, и, когда подушка, соскользнув, падала на пол, я лежал головой на рюкзаке, вдыхая исходивший от него аромат застарелого пота. Видеть окно мне было необходимо. Солнце все двигалось по стене.

Марс был где-то поблизости. Он лежал так тихо, что время от времени я начинал искать его глазами — не ушел ли; и неизменно он оказывался на месте и отвечал на мой взгляд. Иногда он порывался лечь со мной рядом, но я пресекал эти попытки. Его теплая шерсть пахла сном, это меня страшило. Тогда он растягивался на полу возле кровати, и я лениво трепал его по загривку.

Послонявшись со скучающим видом по комнате, он ворча укладывался где-нибудь в дальнем углу. Потом я снова слышал, как его когти стучат по линолеуму все ближе, ближе, и он совал мне в лицо свою длинную морду и глядел на меня с выражением такой человеческой тревоги, что я сталкивал его и ерошил ему шерсть на спине, чтобы убедиться, что он всего лишь собака.

Меня беспокоило, что он мало бывает на воздухе. Правда, Дэйв утром и вечером водил его погулять на лужайку Шепердс-Буш, и там он, по словам Дэйва, носился как угорелый, пока не наступало время возвращаться домой. Но для такого большого пса этого, конечно, было недостаточно, а через несколько дней у Дэйва начинаются занятия на летних курсах, и тогда он сможет уделять ему еще меньше времени. Я все думал: может быть, Марс тоскует? И недоумевал: ведь если нельзя утверждать, что он сознает свою тоску, то можно ли утверждать, что он тоскует? Я решил при случае спросить об этом Дэйва.

Днем Дэйв много бывал дома, я издали слышал стук его пишущей машинки. Потом наступала тишина. В полдень и вечером он приносил мне поесть. Мы не разговаривали. Под вечер он иногда отворял дверь и смотрел на меня. Я видел

его где-то очень далеко, словно в перевернутый бинокль. Гораздо позже я вспоминал, что дверь затворилась и Дэйв ушел. Он не впервые видел меня в таком состоянии. Я ворочался с боку на бок. Койка скрипела и ходила ходуном. Я был в рубашке и кальсонах и, хотя день стоял солнечный, укрылся двумя одеялами. Озноб пронизывал меня до костей. Я нащупал на полу подушку и опять пристроил ее к рюкзаку. Я отвернулся от окна. В комнату солнце не заглядывало, но в свете, отражавшемся от стены больницы, все вырисовывалось неестественно четко, как будто в пространстве прибавилось лишнее измерение, и каждый предмет невыносимо резал глаз своей отчетливостью. Я лежал, глядя на свои ботинки и гадая, куда девался Финн.

Из Парижа я вернулся пятнадцатого утром. На Голдхок-роуд меня встретили Дэйв и Марс, и Дэйв рассказал, что накануне они с Финном провели вторую половину дня в Сэндаун-Парке, где Птица Лира удружила нам всем, победив с таким фантастическим выигрышем. Ставку они делали на ипподроме, и Дэйв, получив что им причиталось, тут же отдал Финну его долю — двести десять фунтов. Эту сумму, большей частью купюрами по пять фунтов, Финн рассовал по всем карманам,

какие только у него нашлись. Сделал он это молча, с выражением человека, застегивающего на себе парашют перед опасным прыжком. После этого он, все так же молча, некоторое время тряс Дэйву руку. А потом повернулся и исчез в толпе. Вечером он не вернулся на Голдхок-роуд, и Дэйв предположил, что он мог уехать ко мне, но на следующее утро я сам вернулся из Парижа и, не увидев Финна, справился о нем. С тех пор он не появлялся. Я пока еще не беспокоился всерьез. Скорее всего, Финн запил. На моей памяти он уже однажды залился вот так, на трое суток, и домой его привезла машина «скорой помощи». Я не допускал мысли, что с ним произошло несчастье. Однако мне очень хотелось его увидеть.

Сейчас же по приезде я написал одному знакомому в «Club des Foux» с просьбой по возможности узнать, где Анна, и сообщить мне, но ответа не получил. Так же безуспешно я пытался связаться с Хьюго; его домашний телефон молчал, а из студии ответили, что он уехал за город. Дэйв показал мне копию письма, которое он отправил Сэди, — искусное сочетание дружеских увещеваний и угроз. Но Сэди пока тоже не подавала признаков жизни. Я написал Жан-Пьеру, поздравил его с успехом. А потом улегся на походную койку. День,

на который у меня было назначено свидание с Лефти, наступил и прошел. После этого он два раза звонил мне, но Дэйв отвечал, что я болен, как оно, вероятно, и было.

Теперь уже почти всю стену больницы покрыла тень. Остался только золотой треугольник у верхней рамы моего окна, где ее еще касалось вечернее солнце. Дэйв отворил дверь и кликнул Марса, и я слышал, как пес прыгает и лает в прихожей в предвкушении вечерней прогулки. Когда Дэйв приведет его домой, можно будет подумать о сне. Нет, пожалуй, еще рано чего доброго, я усну и снова проснусь до наступления ночи. Это было страшнее всего. Чтобы разогнать дремоту, я встал и оправил постель. Потом опять лег и лежал неподвижно, пока койка не перестала дрожать. Марс вернулся, принес с собой будоражащую свежесть внешнего мира. Он смотрел мне в лицо, его глаза и мокрый нос блестели, рыжие метины на лбу придавали ему такое выражение, будто он чего-то ждет. Он громко тявкнул.

— Молчи! — сказал я. Тревожный этот звук еще долго раздавался у меня в ушах, тишина восстанавливалась медленно, по кирпичику.

Снова настало утро, я лежал и ждал почтальона. По утрам это теперь обычное мое занятие. Часы

мои остановились, но я узнавал время по стене больницы. Вот уже скоро. Вот уже пора. И я услышал его шаги по лестнице, щелкнула крышка почтового ящика, что-то тяжелое стукнуло о его дно. Сегодня, как видно, много писем. Я слышал, как Дэйв вышел в переднюю. За весь день это была единственная минута, ради которой стоило жить. Я ждал. Тишина. Потом приближающиеся шаги Дэйва. Он заглянул в комнату.

— Тебе ничего нет, Джейк.

Я кивнул и отвернулся. Дэйв не уходил. Марс прошмыгнул мимо него в прихожую.

— Джейк, — сказал Дэйв, — ради бога, встань и начни что-нибудь делать, что угодно. Ты меня доведешь до полной неврастении. Не могу я заниматься философией, когда знаю, что ты лежишь здесь пластом.

Я промолчал.

Подождав немного, Дэйв добавил:

— Я не о себе хлопочу, Джейк. Мое дело сторона. Но тебе в самом деле нужно встать, для твоей же пользы.

Я закрыл глаза, и дверь затворилась. Потом я услышал, как Дейв повел Марса гулять. Потом Марс опять оказался в комнате, а Дэйв ушел, может быть, на свои летние курсы. Я решил встать.

Сначала я никак не мог найти свои вещи. Комната была беспорядочным скопищем разрозненных предметов. Я поймал себя на том, что собираюсь разобрать рюкзак Дэйва, и отшвырнул его ногой. Потом увидел в углу свои скомканные брюки — Марс на них спал. Они были сплошь в коротких черных волосках. Я вытряс их и надел. Потом распахнул окно, проделал дыхательные упражнения. Жара отпустила, день был прохладный, с резким, бодрящим ветром. Высунувшись из окна, я взглянул на небо и далеко, над стеной больницы, увидел бело-голубые гонки легких облаков. Марс, повизгивая от радости, плясал и подпрыгивал, норовя достать меня своими жесткими лапами. Когда он встает на задние лапы, мы с ним почти одного роста. Впрочем, я-то, как уже упоминалось, не особенно высокий. Я немножко прибрал в комнате, потом разыскал свой пиджак, и мы с Марсом вышли из дому.

Голдхок-роуд была безобразна, как никогда. Непрерывный грохот и скрежет машин терзали слух, пешеходы, запрудившие тротуары, толкались у витрин, полных дешевой посуды и банок с консервами. Мы с Марсом кое-как добрались до лужайки Шепердс-Буш, и там я сел под деревом на жесткую землю, которая пыталась родить

хоть немножко травы, но почти без успеха. Марс носился большими кругами, играл с другими собаками, но то и дело возвращался сообщить, что помнит обо мне. Я смотрел в небо. За дальние крыши с невероятной быстротой сыпались клубящиеся массы белых облаков. В небе царила гигантская, гармоничная спешка, по сравнению с которой людская суета на улицах казалась мелкой и никчемной. Я встал и несколько раз обошел лужайку под конвоем Марса. Потом повел его домой. Мне было страшно ходить с ним по улицам среди такого движения, а сворку я забыл захватить. Я позвонил Хьюго домой и в студию, — как и раньше, никакого толка. Потом снова вышел, уже один, и бродил по улицам, пока не открылись бары.

На обратном пути, очутившись перед фасадом больницы, я замедлил шаг. Больница — огромное белое бетонное здание с ровными рядами квадратных окон и плоской крышей. От главного корпуса отходят в разные стороны крылья или выступы, чем искусно нарушается монотонность линий. В углублениях между этими выступами разбиты садики — на зеленых лужайках высажены молодые деревца, которые со временем станут большими деревьями, и всякие комиссии

будут бесконечно спорить о них, разрываясь между лечебными преимуществами зелени и необходимостью дать побольше света в палаты на нижних этажах. Я постоял немного, глядя, как по квадратному двору подъезжают к главному входу и снова отъезжают машины. Потом пересек улицу, вошел и спросил, нет ли работы.

Глава 17

Потом я не переставал удивляться, как легко я туда поступил. Меня ни о чем не расспрашивали, не требовали рекомендаций. Вероятно, я внушаю доверие. До этого я ни разу не пытался получить место. Когда этим занимались мои знакомые, мне казалось, что это связано с длительными, трудными переговорами, если не с интригами. Чужие неудачи в сочетании с собственным моим нравом главным образом и мешали мне до сих пор предпринимать какие-либо поиски работы. Мне и в голову не приходило, что для получения места достаточно об этом попросить, и в нормальном состоянии я бы нипочем не стал пробовать. Вы, возможно, возразите, и не без оснований, что должность, которую я так легко получил, не требует квалификации, на нее мало охотников и при нехватке кандидатов на нее могли взять кого угодно, кроме разве полного паралитика, а моих знакомых прельщало, несмотря на все трудности, стать государственными служащими на высоком окладе, обозревателями лондонских газет, чиновниками Британского совета, преподавателями

колледжей или членами правления Би-би-си. Все это так. И тем не менее на том этапе, которого достигла сейчас эта повесть, я был поражен — притом не только самим фактом получения места, но и тем, каким толковым работником я оказался.

Я числился санитаром. Рабочий день с восьми до шести, перерыв на обед сорок пять минут, один выходной день в неделю. Я был прикреплен к отделению, куда клали больных с травмами головы и которое называлось «Корелли» — по обычаю этой больницы обозначать отделения именами богатых жертвователей: мистер Корелли был мыловар из Сицилии, сын его, однажды будучи под мухой, вел свою «ланчию» по Аксбридж-роуд и получил трещину в черепе. В благодарность за исцеление своего дитяти старший Корелли проявил достойную щедрость — отсюда и название отделения, в котором я уже проработал четыре дня.

Обязанности мои были несложны. Явившись на работу в восемь часов, я брал ведро и тряпку и мыл три коридора и два лестничных пролета. Отмывались они легко, а подбавляя в воду немного мыла, я добивался прямо-таки блистательных результатов. Затем я мыл посуду после завтрака

больных — ее к этому времени уже успевали снести в кухню. «Корелли» занимало три коридора — один на первом этаже под названием «Корелли I» и два на втором — «Корелли II» и «Корелли III». Кухня помещалась в «Корелли III», и тут-то главным образом протекала моя деятельность, а в чуланчике рядом с кухней я вешал свой пиджак и, если выдавалась свободная минута, садился просматривать газеты. Вымыв посуду, я отправлялся за молоком на главную кухню и, доставив бидоны на тележке, подымал их вместе с тележкой в служебном лифте. Это я делал с большим удовольствием. В главную кухню нужно было долго идти коридорами других отделений с причудливыми названиями; я шел быстро, встречая по дороге незнакомых людей в белых халатах, так же, как и я, спешащих по своим надобностям, и чувствовал, что мне вверено важное дело. В «Корелли III» мне разрешалось проводить операцию почти клинического значения — подогревать молоко на большой электрической плите и разливать его по кружкам, а санитарки разносили их тем больным, которым молоко не было противопоказано. Затем я нарезал хлеб и делил масло, а позже мыл кружки и блюдца и прибирал кухню.

Я изрядно побаивался своих коллег и началь-

ства и очень старался всем угодить. Санитарки были по преимуществу молоденькие ирландки без единой мысли в голове, если не считать мыслью стремление к замужеству, с ними у меня сразу установились отличные отношения. Уже на второй день они называли меня «Джейки» и ласково дразнили и тиранили. Я с интересом отметил, что ни одна из них не принимает меня всерьез как мужчину. Несмотря на наши отличные отношения, что-то держало их на расстоянии — может быть, какой-то инстинкт подсказывал им, что я — интеллигент. Со старшей сестрой отделения я тоже ладил, хотя и по-иному. Старшая сестра была столь царственная особа, столь пожилая и строгая и столь проникнутая сознанием собственного достоинства, что социальная дистанция, разделявшая нас, уже сама по себе исключала возможность каких-либо трений. Личные мои странности не могли ее раздражать, поскольку мои претензии на звание человека нимало ее не интересовали. От меня ей было нужно только одно: чтобы я хорошо работал и знал свое место; а так как этому требованию я отвечал, то она, в знак одобрения, совершенно меня игнорировала, если не считать того, что каждый день, когда мы впервые встречались в

коридоре, чуть поворачивала голову и в лице ее обозначалась едва уловимая перемена, которая, будучи спроецирована в бесконечность, могла бы превратиться в улыбку.

Выше старшей сестры в стратосферу больничной иерархии я не заглядывал. Больше всего меня затрудняли отношения с промежуточными слоями этого маленького общества. Под началом у старшей состояли три медицинские сестры, по одной на каждое «Корелли», и от них-то я получал распоряжения. Жизнь этих женщин, уже далеко не молодых, отравляла, с одной стороны, старшая сестра, деспотически их третировавшая, а с другой стороны санитарки, платившие едва завуалированной насмешкой за те страдания, каким сестры для поддержания собственного престижа считали нужным подвергать нижестоящих. Для сестер я был непонятным явлением. Они подозревали меня в каких-то кознях, не только потому, что я дружил с их врагами санитарками, но и потому, что более чем кто-либо в больнице, они догадывались о моей истинной сущности. Загадка, которую я собой представлял, их нервировала; и только для них я здесь, несомненно, существовал как мужчина. Между нами пробегал электрический ток, они старались не

встречаться со мной глазами, и, когда они давали мне распоряжения, их высокие голоса поднимались еще на полтона.

Особенно я любил сестру из «Корелли III», с которой чаще всего имел дело. Звали ее сестра Пиддинхем, а среди санитарок она ходила под кличкой Пидди. Ей было лет пятьдесят, не меньше, и она, вероятно, уже давно начала красить свои длинные седые волосы в черный цвет. Пока я работал в кухне, меня неотступно преследовали ее глаза и голос, отточенные словесной войной и профессиональной привычкой окидывать людей критическим взглядом. Это всегдашнее ее желание ко мне придраться даже сближало нас до известной степени; я был бы рад доставить ей какое-нибудь неожиданное удовольствие, например, поднести ей букет цветов, но я знал, что с нее станется истолковать это как проявление чувства превосходства и возненавидеть меня. К печальной тайне ее жизни я испытывал уважение, граничащее с ужасом. А больше я из больничного персонала ни с кем не сталкивался, если не считать мужчины по фамилии Стич (он жил при больнице на правах некоего обер-санитара, был очень глуп и от души меня ненавидел) да нескольких уборщиц, пребывавших на разных

ступенях кретинизма.

Когда наступал перерыв на завтрак, я накупал сандвичей в буфете при главной кухне и шел за Марсом. Иногда я мельком видел Дэйва, у которого все еще не стерлось с лица изумление, появившееся, когда я рассказал ему о своей работе, и я говорил себе, что стоило все это затеять хотя бы для того, чтобы преподнести Дэйву такой сюрприз. Потом я возвращался с Марсом в садик при «Корелли I» и съедал свои сандвичи. Садик этот представлял собой длинную ровную лужайку с двумя рядами вишневых деревьев. Что это вишни, я знал потому, что санитарки вечно ахали, как тут красиво весной. Я усаживался на траве под деревом, Марс носился вокруг меня, уделяя внимание то одному, то другому деревцу, а молоденькие санитарки окружали меня, как лесные нимфы, поддразнивали, уверяя, что я похож на колдуна, когда вот так сижу под деревом, скрестив ноги, они на все лады восхищались Марсом и защищали меня от Стича, который был бы рад вообще запретить мне приводить Марса в больничный садик. Я любил эти минуты.

Только во второй половине дня мне удавалось наконец хоть одним глазком увидеть больных. Этого я дожидался с самого утра. В моем представ-

лении больница по мере удаления от больных все больше теряла свою реальность. Больные были центром, по отношению к которому все остальное являлось периферией. В «Корелли» клали только мужчин с различными травмами головы. У одних было сотрясение мозга, осложненное или не осложненное трещиной в черепе, у других — более таинственные увечья. Они лежали в своих тюрбанах из белых бинтов и глазами, суженными от головной боли, следили, как я мою полы, я испытывал к ним благоговейное сострадание, как индус — к священному животному. Мне хотелось поговорить с ними, раза два я даже делал попытки, но какая-нибудь из сестер неизменно их пресекала. Санитарам разговаривать с больными не полагалось.

Чувству благоговения, которое вызывали во мне больные, способствовало еще и то, что, хотя я весь день был так близко от них, я никогда не видел их, кроме как в те часы, когда они, полные достоинства, лежали в молчании и одиночестве, праздно сложив руки и тайно общаясь со своей болью. Что в другие часы их умывают и кормят, подают им судна и снимают с обритых голов кровавые, пропитанные гноем бинты — это я знал по рассказам сестер, по грязным тарелкам и

другим, менее аппетитным предметам, которые входили в сферу моей деятельности. Когда в палатах священнодействовали врачи и сестры, двери закрывались и на них вывешивали дощечки, строго предупреждавшие: «Не входить». Лишь изредка встречал я в коридоре больного, которого везли на каталке из палаты или в палату; едва заслышав приглушенный шум резиновых колес на линолеуме, я старался выглянуть в коридор; иногда мне удавалось на минуту увидеть нового пациента, и его забинтованная голова и лицо, еще хранившее удивление, принесенное из внешнего мира, убеждали меня в том, что пациенты в конечном счете такие же люди, как и я.

После уборки палат в моей работе наступал перерыв, я удалялся в свой чуланчик, где едва хватало места, чтобы сесть, и там при свете тусклой лампочки просматривал вечерние газеты. Окна в чуланчике не было, а поскольку стены его были сплошь завешаны пиджаками и пальто, он напоминал платяной шкаф. Это меня не смущало: внутренность платяных шкафов с детства имеет для меня притягательную силу, очевидно по причинам, известным психоаналитикам. А вот тусклый свет мне определенно не нравился, и на второй же день я ввернул лампочку посиль-

нее, приобретенную за собственный счет; однако на третий день Стич ее конфисковал и заменил прежней. Пока я сидел там, углубившись в «Ивнинг стандард», смутные звуки внешнего мира долетали до меня, как шум битвы, далекой и давней. В газетах часто мелькала фамилия Лефти; однажды ему была посвящена целая передовица, написанная с таким расчетом, чтобы создать впечатление, будто этот человек — серьезная угроза общественному порядку и одновременно мелкий уличный агитатор, недостойный даже презрения. Я прочел также, что через день или два независимые социалисты организуют в Западном Лондоне грандиозный митинг, — по этому поводу редактор и призывал патрициев одновременно к пренебрежению и решительным мерам. Гомер К.Прингсхейм устроил в Лондоне пресс-конференцию, на которой заявил, что английская и американская кинематографии могут многому друг у друга поучиться, а затем отбыл на Итальянскую Ривьеру. Другие фамилии, которые я искал, мне пока не попадались.

Этот час я тоже любил. Усталость сочеталась к этому времени с другим ощущением, дотоле мне почти незнакомым, — что я что-то *сделал*. После той умственной работы, какой я до сих

пор занимался, у меня всегда оставалось такое чувство, будто я не достиг ничего: оглядываешься потом на свою работу, а она просвечивает, как пустая шелуха; но объясняется ли это характером умственной работы как таковой, или же тем, что я сам никуда не гожусь, — этого я никогда не мог решить. Когда утрачиваешь живую связь с той идеей, что содержится в работе, сама работа кажется в лучшем случае сухой, а в худшем — омерзительной; если же продолжаешь ощущать эту связь, то вся работа окажется заражена переменчивостью и пустотой современных идей. Возможно, впрочем, если бы у меня самого были сколько-нибудь стоящие идеи, они не казались бы такими уж пустыми. Интересно, не говорил ли себе время от времени Кант, когда задумывал переосмысление системы Коперника: «А может быть, все это вздор?» Хотелось бы думать, что так оно и было.

Новые попытки найти Хьюго я решил отложить до конца недели. Чувство предопределенности, так странно покинувшее меня в те дни, когда я лежал на походной койке Дэйва, теперь вернулось, и я был убежден, что неведомые боги, которые так тесно переплели наши судьбы — мою и Хьюго, — доведут свою работу до конца.

По этому поводу я пока не очень-то волновался. Больше меня тревожило отсутствие писем из Франции, а еще больше, пожалуй, Финн, от которого по-прежнему не было ни слуху ни духу. Дэйв как-то сказал, что пора бы навести о нем справки, но это исключалось по той простой причине, что справляться было негде. У Финна, насколько мы знали, не было в Лондоне знакомых, кроме нас, и мы не могли даже построить никакой теории относительно его местонахождения. Дэйв предложил заявить в полицию, но это я отверг. Если Финн где-нибудь спивается насмерть, это его личное дело, и последним, пусть и меланхолическим проявлением дружеских чувств будет оставить его в покое. И все же я очень тревожился и все эти дни много думал о Финне.

Еще одной неразрешенной проблемой оставался Марс, из-за него я тоже временами начинал волноваться. Сэди и Сэмми все еще не давали о себе знать, и молчание это начинало действовать мне на нервы. Порой меня подмывало пойти к Сэди и все с ней обсудить. Но я побаивался этого разговора — отчасти потому, что в глубине души побаивался Сэди, особенно теперь, когда чувствовал себя перед ней виноватым, отчасти же потому, что совсем не жаждал расстаться с Мар-

сом. Я не хотел, чтобы Марс на старости лет попал в руки Сэмми, который, как я подозревал, ни во что не ставил жизнь — даже человеческую, — если из нее нельзя извлечь выгоды. Поэтому я бездействовал и выжидал.

Прошло еще два дня. Дело шло к вечеру, работать оставалось каких-нибудь полчаса. Благодаря моему исключительному прилежанию вся работа, в сущности, была уже закончена, но, хоть делать было больше нечего, я не имел права покинуть здание, пока не пробьет шесть часов. Минут через десять, думал я, вымою еще раз пол в кухне — его сколько ни мой, все мало. Пока же я не спешил. Я очень устал за день; вообще я уже понял, что это и есть главный недостаток моей увлекательной работы — я страшно от нее уставал. Когда-нибудь, решил я, нужно будет подрядиться на полдня — либо сюда же, либо куда-нибудь еще. Тогда во второй половине дня я смогу немножко писать. Я даже сообразил, что если посвящать половину дня умственной работе, то физическая работа может оказаться даже очень полезной для нервов, и мне уже странно было, как я раньше до этого не додумался, ведь при таком образе жизни *что-нибудь* да будет сделано каждый день, и я навсегда избавлюсь от

ощущения никчемности, возникающего, когда мне подолгу не пишется. Но до этого было еще далеко. А пока нужно работать в больнице и ждать, когда моя судьба меня настигнет. В том, что рано или поздно это произойдет, я не сомневался, хотя в те минуты, когда стоя (потому что свет был очень тусклый) листал страницы «Ивнинг стандард», я и не подозревал, какими гигантскими прыжками она ко мне приближается.

Я прочел в газете, что грандиозный митинг, организованный Лефти, состоялся сегодня, что не обошлось без серьезных столкновений и под конец вмешалась полиция. Газета поместила несколько снимков — конные полисмены сдерживают толпу. Кто-то поджег магний, и две женщины упали в обморок. Лефти произнес речь, сводившуюся, сколько я мог понять, к безобидным и скучным соображениям касательно принципа объединения левых организаций. Речи произнесли также один известный лидер тред-юнионов, член партии, возглавляемой Лефти, и одна женщина — член парламента, не состоящая в его партии, но очень красивая.

Просматривая эти заметки, я услышал, как отворилась широкая дверь из главного коридора и по полу зашуршали колеса каталки. Привезли

нового больного. Мимо стеклянной двери моего чуланчика промелькнула Пидди, и ее черные каблуки застучали по коридору. Я приоткрыл дверь. Стич катил в мою сторону каталку, на которой под красным одеялом лежала неподвижная фигура. Встретив мой взгляд, он сердито махнул рукой в знак того, что нечего мне тут бездельничать и подсматривать. Сказать он ничего не сказал в согласии с неписаным правилом: развозя больных по коридорам, служащие должны молчать, но лицо его было достаточно красноречиво. В свой ответный взгляд я вложил всю наглость, на какую был способен, а потом перевел глаза на лицо человека, которого в эту минуту провозили мимо меня. На каталке лежал Хьюго.

Лицо его было мертвенно-бледно, глаза закрыты. Сквозь бинты, охватывавшие его голову, проступили темные пятна. Я окаменел. Каталка проехала дальше. Я отступил в чуланчик, притворил дверь и прислонился к ней. Во мне бушевали смешанные чувства. Самым сильным было чувство вины как у Гамлета, узревшего дух своего отца. Мне чудилось, будто это по моему недосмотру с Хьюго случилось несчастье. Но тут же явилось и странное удовлетворение при мысли, что едва я перестал искать Хьюго, как его ударили

по голове и доставили ко мне; видно, я все еще был обижен тем, как равнодушно он говорил со мной в студии. Но обиду тотчас заглушило раскаяние, и теперь мне нужно было одно — узнать, серьезно ли Хьюго ранен. Я вышел в коридор.

Хьюго поместили в отдельную палату в самом конце коридора. Оттуда как раз вышла Пидди. Я последовал за ней в перевязочную.

— Что там случилось с этим великаном? — спросил я. — Случай серьезный? — В этом вопросе не было ничего из ряда вон выходящего — я задавал его всякий раз, как привозили нового больного.

— Я уже говорила вам, сюда входить нельзя, — сказала Пидди. Она никогда не называла меня по имени.

— Простите, сейчас уйду. Ранение серьезное?

— Почему вы не занимаетесь своим делом? Я скажу Стичу, чтобы прибавил всем работы. — Я двинулся к двери. Когда я одной ногой уже был в коридоре, она добавила: — В него швырнули кирпич на митинге. Сотрясение мозга. Пробудет здесь дней пять.

— Спасибо! — сказал я и выскользнул в коридор. Я удостоился великой милости.

Я отправился в кухню и стал мыть пол. Явился Стич, наговорил много всяких слов, но я его не

слушал. Я соображал, что мне делать. Необходимо было повидать Хьюго. Судьба сыграла с нами очередную шутку — свела нас вместе, но в таких условиях, что мы оказались практически изолированы друг от друга. То, чем был сейчас он и чем был я, исключало всякую возможность общения. Я перебрал в уме десятки вариантов. Как на грех, завтра у меня выходной день, так что, если я хочу исхитриться и увидеть Хьюго, мне придется ждать до послезавтра, когда я во второй половине дня буду прибирать его палату. Да и то я смогу пробыть там от силы четверть часа. Возможно даже, что увечья Хьюго окажутся пустяковыми и к тому времени его уже выпишут; но если нет, я просто не в силах столько ждать: Хьюго привезли ко мне, и я должен повидать его немедля. Но как? И тут передо мной возникло новое препятствие, а именно что Хьюго без сознания.

Я мысленно выругался и стал яростно тыкать тряпкой под шкафы. Стич ушел. Я стал прикидывать, нельзя ли перенести выходной день или просто предложить завтра поработать, и тогда пробраться в палату Хьюго с утра. Это будет нелегко — утром по отделению все время рыщут врачи и сестры. Да еще неизвестно, разрешат ли мне завтра работать. Предоставят это на усмотрение

Стича, а он мигом смекнет, что мне этого хочется, и, естественно, найдет предлог, чтобы отказать. Будь у меня немножко больше времени, я бы как-нибудь подстроил, чтобы он заставил меня завтра работать в виде наказания; но сейчас уже не успеть. Мои размышления нарушила одна из санитарок — самая типичная ирландка из всех, манерой говорить она напоминала мне Финна. Я спросил ее: «Как там этот великан?» — и она ответила: «Очень громко просит есть!»

Услышав это, я принял единственно возможное решение: снова проникнуть в больницу ночью. Мысль эта внушала мне благоговейный ужас и в то же время очень меня прельщала. Я никогда не видел больницу ночью, хотя часто рисовал ее в воображении. Жуткое предвкушение тишины и безлюдья усугублялось уверенностью, что мое присутствие там в такой час равносильно святотатству. Если меня накроют, то пристрелят на месте. Пощады не будет. Но прийти нужно. Сознание, что Хьюго так близко, уже подняло во мне целую бурю чувств, и успокоить меня могло только одно средство — увидеть его.

Я убрал тряпку, снял белый халат. Мысль моя лихорадочно работала. Сейчас седьмой час. Нужно обдумать план во всех подробностях — если

потребуется подготовка, ее надо провести немедля. Как я проникну в больницу? Я представил себе это здание, и оно показалось мне неприступной крепостью. Главный подъезд не запирается всю ночь, но очень ярко освещен, это я знал, потому что проходил мимо него в разное время дня и ночи, возвращаясь к Дэйву. Будет дежурить ночной швейцар, он, конечно, задержит меня и спросит, по какому я делу. Я сочинил несколько ответов, но ни один не казался мне достаточно убедительным — если и впустит, то все равно пошлет кого-нибудь по следу. Из «Корелли I» была еще дверь во двор, где хранился уголь и велосипеды. В нее я обычно и входил. Но Стич как-то упоминал, что в десять часов ее запирают; то же самое происходит и с любой из других боковых дверей, если таковые имеются. Есть еще приемный покой, куда подъезжают машины «скорой помощи». Но там свой гарнизон, шансов проскользнуть незамеченным один на сто, и первая же ошибка станет роковой. Единственная надежда на окна, а если я решусь лезть в окно, то нужно решить в какое и теперь же пойти и открыть его.

Я надел пиджак и стал медленно спускаться по главной лестнице. Голова у меня гудела. На стене здания, обращенной к дворику с велоси-

педами, были фонари, которые не гасили всю ночь. Всякого, кто вздумал бы войти с той стороны, непременно увидели бы с улицы. На торцы поперечных выступов падал свет от уличных фонарей, а перед главным корпусом стояли фонари, окаймлявшие весь двор. Оставались садики между выступами, ночью они были погружены во тьму. Выходили туда главным образом окна палат. Воспользоваться ими нечего было и думать: даже если сейчас у меня хватит нахальства удостовериться, что одно из этих окон открыто, у меня, безусловно, не хватит нахальства на то, чтобы влезть в него в два часа ночи, рискуя, что вслед мне понесутся вопли какого-нибудь нервного пациента. Были и еще возможности — например, окно из моечной «Корелли I». Но здесь меня смущала близость ночной сестры — ее комната приходилась рядом с моечной; то же соображение относилось и к остальным окнам, выходившим в сад из служебных помещений «Корелли». Рассчитывать можно только на более безличные общественные места в районе главной кухни. Правда, в самой кухне и вблизи нее ночью рискуешь кого-нибудь встретить; но там много всяких кладовых и бельевых, куда и днем-то редко кто заглядывает, и окна их выходят

в самый дальний конец сада, где ночью царит тьма.

Спустившись с лестницы, я с нарочито небрежным видом повернул к главной кухне, Когда я что-нибудь замышляю, мне трудно бывает понять, что со стороны я выгляжу точно так же, как в любое время. Сейчас я был убежден, что моя тайна написана у меня на лице, и, встречая кого-нибудь в коридоре, старательно отворачивался. Твердым шагом я миновал дверь кухни. Верхняя половина ее была из простого стекла, и я краешком глаза видел, что внутри двигаются какие-то фигуры. Я выбрал третью дверь по коридору и юркнул в нее. Да, память меня не обманула. Это была кладовая, вдоль обеих ее стен были в десять рядов составлены железные кровати. Неслышно притворив за собою дверь, я по проходу между ними подошел к окну и увидел внизу траву и ряды вишневых деревьев. Тень от «Корелли» рассекала квадрат травы на два зеленых треугольника — темный и светлый. С минуту я стоял, глядя в сад. Потом отпер окно.

Посередине на раме была задвижка, а внизу — болт с отверстиями, чтобы окно можно было раскрыть больше или меньше. Я откинул задвижку и приоткрыл окно дюйма на два, так что

задвижка оказалась с наружной стороны. Мне нужно было, чтобы окно казалось закрытым, но чтобы я, когда придет время, мог отворить его снаружи. Через несколько минут я удостоверился, что оба эти условия соблюдены. Потом я внимательно отметил положение окна относительно деревьев. Потом вернулся к двери и прислушался — нет ли кого в коридоре. Убедившись, что путь свободен, я вышел, затворил дверь и пошел обратно, к «Корелли». Никто меня не видел. Через минуту я уже выходил на улицу.

Глава 18

Первым делом я выпил стакан виски. Сердце у меня грохотало, как армия на походе. Ясно, что в заговорщики я не гожусь. Потом я сходил за Марсом. Я повез его на автобусе в Барнс, выпил пива с сандвичами в «Красном льве» и до сумерек гулял с ним по лугу. Когда мы вернулись домой, уже почти стемнело. Я оставил Марса в квартире; Дэйва не было — он ушел на какое-то собрание. Я вышел из дому и, не разбирая дороги, побрел в сторону Хэммерсмита. Мне нужно было только, чтобы поскорее проходило время. Кабаки уже закрывались, и я постарался за последние десять минут влить в себя как можно больше виски. Я дошел почти до самой реки. Ни о чем особенном я не думал, но голова моя была полна Хьюго. Как будто Хьюго, лежа на своей койке в больнице, держал в руке конец веревочки, к которой я был привязан, и время от времени дергал за нее. А то мне еще представлялось, будто Хьюго распростерся надо мной, как большая птица. Я не радовался нашей близкой встрече, только испытывал тупое удовлетворение от того, что неизбежное наконец

свершится.

Я взглянул на часы. Полночь миновала. Я стоял на Хэммерсмитском мосту недалеко от того места, где мы выпустили Марса из клетки. Я повернулся лицом вверх по течению и среди темной массы зданий на северном берегу попытался определить место, где стоял театр пантомимы. Но было слишком темно. И тут меня охватил страх, как бы не опоздать в больницу. Я быстро зашагал обратно и на Хэммерсмитской площади взял такси. Но когда мы вернулись на Голдхок-роуд, было все еще слишком рано. Я несколько раз прогулялся взад-вперед мимо больницы. Еще не было часа, а я решил, что не буду пытаться войти раньше двух. Раз за разом я удалялся от больницы, но что-то тянуло меня назад. Пришлось давать себе задания: не поверну обратно, пока не дойду до «Семи звезд», или — постою под железнодорожным мостом, пока не выкурю сигарету. Я совсем истерзался.

В двадцать минут второго терпение мое иссякло. Но когда я подошел к больнице, мне показалось, что никогда еще здесь не было так светло. Уличные фонари горели ярче обычного, все здание было как на ладони. Подойдя еще ближе, я увидел, что в главном подъезде стоят

какие-то люди, на всех лестницах окна освещены, светятся и некоторые окна отделений. Такой иллюминации я не ожидал. Правда, садики между выступами тонули в темноте, и в «Корелли», насколько я мог заметить, не было света, кроме одного окна, наверно у ночной сестры. Но чтобы попасть в этот сад, нужно было пересечь широкую дорогу и еще газон, окаймлявший главный двор, а сюда достигал свет неутомимых уличных фонарей. От улицы дорогу отделяли низкие тумбы, соединенные цепями. Расстояние до темного сада казалось огромным.

Я выбрал место как можно дальше от главного подъезда, посмотрел в одну сторону, в другую — улица была пустынна. Тогда я разбежался, перескочил через цепь и со всех ног помчался через дорогу и дальше, прямо по траве. Бежал я очень легко, едва касаясь земли, и через минуту уже нырнул во мрак сада «Корелли». Здесь я постоял и отдышался. Я поглядел по сторонам. Никого. Гробовая тишина вокруг. Я окинул взглядом окна отделения. Светилось только то единственное, на втором этаже. Я пошел по траве, отсчитывая рукой вишневые деревья. Теперь, когда сияние фонарей осталось позади, я заметил, что ночь очень светлая. С улицы сад казался черным ко-

лодцем; но в самом саду тьма была совсем не густая, и, чувствуя, что меня могут увидеть из любого окна, я каждую минуту ждал оклика. Но больница молчала.

Снаружи все выглядело по-другому, и я не сразу опознал окно кладовой, а найдя, удивился, обнаружив, что оно довольно высоко от земли. Затаив дыхание, я потянул раму на себя. К великому моему облегчению, она отворилась легко и бесшумно. Я огляделся. Сад был неподвижен и пуст, вишенки застыли, повернувшись ко мне, как танцовщицы в живой картине. На улице тоже никого не было видно. Я отворил окно пошире и крепко вцепился пальцами в стальную полосу, которой заканчивались рамы. Но достать коленом до окна не мог, а наружного подоконника не было. Я отступил шага на два. Прыгать я не решался — боялся нашуметь. Но тут на улице мне послышались приближающиеся шаги. Мгновенно я ухватился одной рукой за нижний край окна и прыгнул. Стальная окантовка рамы резанула меня по бедру, но я уже перевалился через подоконник и подтянул ноги. Сжавшись от страха, я стоял на полу кладовой. Мне казалось, что вместе со мной в окружающую тишину ворвался оглушительный шум. Но тишина длилась.

Я притворил окно, оставив задвижку открытой. Потом пошел к двери, не столько видя, сколько ощущая в темноте по обе стороны от себя черные контуры железных кроватей. Здесь и в самом деле было темно, хоть глаз выколи. Я ощупью нашарил ручку двери, прислушался и вышел в коридор. Яркие лампы и белые стены ослепили меня. Зрачкам, расширившимся в темноте, стало больно от этого внезапного света, и я прикрыл глаза рукой. Потом я повернул в сторону «Корелли», и шаги мои глухо застучали по линолеуму. Здесь скрыться было некуда. Оставалось только надеяться, что какое-нибудь сострадательное божество оградит меня от возможных встреч.

Больница была пустынна, но она жила. Я слышал, как она бормочет и мурлыкает, словно спящий зверь, и, даже окунаясь в волну полной тишины, чувствовал биение ее огромного сердца. Проходя мимо главной кухни, я отвернулся: мне казалось, что если я поймаю на себе человеческий взгляд, то вина моя напишется у меня на лице так явственно, что сама же и закричит: «Позор!» Я дошел до главной лестницы. Она была сверкающая, пустая, бесконечная. Еле слышный звук моих шагов отдавался где-то высоко-высоко в лестничном колодце, и, подняв голову, я увидел

уходящие ввысь квадраты перил — один над другим, сначала большие, потом все меньше и меньше. В голове у меня не было теперь ни одной мысли, я даже позабыл о Хьюго, и, если бы кто сейчас остановил меня, я бы заверещал как кретин. Я дошел до дверей в «Корелли III».

Здесь я немного подождал. Ночной распорядок в отделении не был мне известен. Если дежурят санитарки, так они, наверно, внизу. А в «Корелли III», скорее всего, одни больные да ночная сестра. О ней я знал только понаслышке, и еще до того, как я задумал свою эскападу, она рисовалась мне в образе некой ночной богини, этакой Пиддингхем из мира теней. Сейчас, когда я подумал о ней, взявшись за ручку двери, меня охватила дрожь, как вопрошателя перед пещерой Сивиллы. Я тихонько отворил дверь и вступил в знакомый коридор.

В коридоре горело несколько лампочек, в палатах было темно. В кухне и в канцелярии света тоже не было, только из комнаты ночной сестры сквозь матовое стекло в верхней половинке двери ложилась на пол световая дорожка. Я боялся, что ночная сестра, которой я готов был приписать сверхъестественный дар прозрения, не говоря уже о заурядной человеческой проницательно-

сти, увидит меня через этот полупрозрачный заслон, а потому первую половину коридора одолел на четвереньках. Только миновав ее дверь, я распрямился и заскользил дальше так тихо, что даже сам не слышал своих шагов. Меня засасывало в эту неуютную тишину. Я дошел до палаты Хьюго и потянулся к дверной ручке, представлявшей собой наклонную стальную пластинку, которую нужно было, чтобы открыть дверь, нажать книзу. Я плотно обхватил ее рукой, словно понуждая к молчанию, и нажал сильным, плавным движением. Крепко прижимая ее книзу, я толкнул дверь. Она отворилась бесшумно, как во сне, словно выполняя мою невысказанную волю. Не выпуская ручки, я проскользнул в палату и другой рукой перехватил ручку с внутренней стороны. Потом плотно затворил за собой дверь и разжал пальцы. Все это я проделал совершенно беззвучно.

В палате стоял полумрак. В двери, на уровне человеческой головы, было прорезано квадратное окошко примерно полтора на полтора фута, сквозь которое проникало немного света из коридора. Я разглядел на высокой кровати красные одеяла и фигуру под ними. Из предосторожности я опустился на одно колено. Фигура пошевели-

лась, и голос Хьюго резко спросил:

— Кто это?

Я сказал:

— Ш-ш! — И добавил: — Это я, Джейк Донагью.

Минута молчания, потом Хьюго произнес:

— О господи!

Мне хотелось спрятаться в тень. Я сел на пол и ногами вперед проскользнул под кроватью на другую сторону. Пол я здесь основательно вымыл накануне, перед тем как привезли Хьюго, и теперь проехался по нему без задержки, как шайба по льду. Затем я сел, привалился к стене и подтянул колени. Я был совершенно спокоен.

Глаза Хьюго нашли меня в темноте. Я улыбнулся и склонил голову в поклоне.

— Это уж слишком, — сказал Хьюго. — Я как раз уснул.

— Говорите потише, не то ночная сестра услышит.

Хьюго понизил голос до шепота.

— Что вы меня повсюду преследуете?

Это меня задело.

— Я вас не преследую, — отвечал я тоже шепотом. — Я здесь работаю. Для меня полная неожиданность, что вас сюда привезли.

— Вы здесь *работаете?* — переспросил Хью-

го. — Что же вы делаете?

— Я санитар.

— Боже милостивый! И все равно, вы могли бы подождать до завтра.

— Днем я на работе, мне было бы очень трудно вас увидеть.

— Так, значит, сейчас вы не на работе?

— Нет.

— Значит, вы все-таки меня преследуете.

— А, подите вы к черту! — сказал я. — Слушайте, Хьюго, мне нужно с вами о многом поговорить.

— Что ж, на этот раз мне труднее от вас уйти.

Он лег на подушки, и мы посмотрели друг на друга так, как смотрят люди, когда не видят глаз собеседника.

— Чем вы так расстроены, Джейк? — спросил Хьюго. — Я это почувствовал еще на студии. Годами вы даже не пытаетесь меня увидеть, а потом вдруг начинаете гоняться за мной как сумасшедший.

Говорить можно было только правду.

— Я видел Сэди и Анну, это напомнило мне о вас.

Я почувствовал, что Хьюго закрывается, как морской анемон.

— Что вас опять свело с этими сестрицами? —

спросил он опасливо.

Говорить можно было только всю неприкрытую правду.

— Женщина, у которой я жил, выгнала меня, тогда я разыскал Анну, а она послала меня к Сэди.

Хьюго весь передернулся.

— Сэди вам говорила что-нибудь обо мне?

— Ничего особенного. — Это была первая ложь. — А вот от Анны я кое-что о вас узнал. — Мне хотелось перевести разговор на Анну.

— Да, — сказал Хьюго. — Анна говорила мне, что видела вас. Вы как-то вечером заходили в театр, ведь так? Я хотел вас повидать, очень жалел, когда Анна сказала, что вы уехали. В то время вы, очевидно, не так уж стремились меня видеть.

На подробный ответ я был неспособен.

— Я боялся с вами встретиться, Хьюго.

— Не понимаю я вас, Джейк. Я вообще не понимаю, как меня можно бояться. Я так и не понял, почему вы тогда исчезли. А мне тогда очень хотелось с вами поговорить. Ни с кем у меня не бывало таких интересных споров. Мы могли бы обсудить эту вашу вещицу.

— Какую вещицу?

— Да вашу книгу. Я не помню точно, когда она вышла, но, вероятно, уже после того, как вы

переехали из Бэттерси, иначе мы бы о ней потолковали, а я, по-моему, не обсуждал ее с вами.

Я крепко прижался затылком к стене, точно борясь с пьяным бредом.

— Вы это про «Молчальника»?

— Ну да. Местами, конечно, книга показалась мне ужасно трудной. Откуда вы взяли все эти мысли?

— От вас, Хьюго, — пролепетал я.

— Я, конечно, заметил, что отчасти это темы наших разговоров. Но звучало все совсем по-другому.

— Знаю.

— В том смысле, что гораздо лучше. Я уж не помню толком, о чем мы тогда говорили, но путаница была ужасная, правда? А у вас все так четко. Я узнал из этой книги много нового.

Я широко раскрыл глаза. Забинтованная голова Хьюго вырисовывалась на фоне освещенного окошка; выражения его лица не было видно.

— Я очень стыдился этой книги, — сказал я.

— Того, что пишешь, потом, наверно, всегда стыдишься. Я так и не набрался храбрости что-нибудь написать. Надеюсь, вы на ней хотя бы заработали. Она хорошо раскупалась?

— Не очень. — У меня мелькнула мысль, что

он надо мной смеется, но нет, Хьюго на это был неспособен.

— Вероятно, показалась слишком интеллектуальной. Публику отпугивает все самобытное. Но вас это, надеюсь, не остановило? Вы пишете сейчас какой-нибудь новый диалог?

— Нет! — чуть не крикнул я и добавил, чтобы не молчать, пока собираюсь с мыслями: — Как раз недавно мне захотелось перечитать ее и развить кое-какие положения, но я нигде не мог ее найти.

— Как жаль! Могли бы взять у меня. Я держу ее в ящике стола и время от времени в нее заглядываю. Она мне напоминает наши беседы. Я получал от них огромное удовольствие. С тех пор мозги у меня совсем заржавели.

— На прошлой неделе я заходил к вам домой, — сказал я. — Вы тогда оставили записку: «Ушел в кабак», и я искал вас по всем кабакам.

— Плохо искали. Я был совсем близко — знаете такое заведение «Король Лудд»?

— А я пошел в противоположную сторону, на восток. В тот вечер я познакомился с Лефти Тоддом.

— Да, вы ведь знакомы с Лефти. Я его видел сегодня на митинге, прежде чем мне угодили в

голову кирпичом.

— А кстати, как ваша голова?

— Ничего страшного. Только болит как проклятая. Если б не вы, она хоть болела бы во сне. Но вы не сказали мне, Джейк, почему вы тогда исчезли. Я чем-нибудь вас обидел?

— Нет, — сказал я терпеливо. — Это я вас обидел. Но теперь вижу, что произошло недоразумение. Оставим это.

Я чувствовал, что Хьюго внимательно на меня смотрит. От бинтов голова его казалась огромной.

— Ваша беда в том, Джейк, — сказал он, — что вы слишком подпадаете под чужое влияние. Вы и под мое влияние тогда подпали.

Я удивился.

— Верно. Но я не знал, что это вам известно.

— Каждый должен идти своей дорогой, Джейк, — сказал Хьюго. — Вы придаете всему слишком большое значение.

Я вдруг обозлился.

— Не знаю, что вы имеете в виду. Кой-чему вы тоже, надо полагать, придаете значение, иначе не стали бы возиться с этим театром в Хэммерсмите.

— Ах, это... — Хьюго на минуту умолк. — Это я

сделал ради Анны. Но это была глупая затея.

Я затаил дыхание. Теперь, чтобы выудить у него признание, которое я так жаждал услышать, нужно было действовать крайне осторожно; я сделал глубокий вдох, будто пробуя мысли Хьюго на запах.

— Вы хотите сказать, что ей это не доставило удовольствия? — спросил я вкрадчиво.

— Да нет, удовольствие это ей доставило, да что толку? Ложью ничего не добьешься. Не то чтобы это была настоящая ложь, ведь ситуация нам обоим была ясна. Но в каком-то смысле это все же была ложь.

Я почувствовал, что не могу уследить за его мыслью.

— Вы хотите сказать, что театр ее недостаточно увлек, что она оказалась там в некотором роде пленницей?

— Нет, ее-то он увлек, — сказал Хьюго. — Это я не увлекся. И потом, она внесла в него столько всякой восточной чепухи — где она только ее нахваталась!

— У вас и нахваталась, — сказал я, вложив в свой ответ всю язвительность, какую только можно выразить шепотом.

— Ничего подобного! Какие-то смутные идеи

она могла у меня почерпнуть, но до такого я бы никогда не додумался.

— Так зачем же вы участвовали в пантомиме, если считали, что все это никуда не годится?

— Правильно, этого не следовало делать. Но мне не хотелось обижать *ее*. К тому же у нее как будто что-то получалось.

— Да, — сказал я. — У Анны есть творческая жилка.

— Она у обоих у вас есть — и у вас, и у Анны, — сказал Хьюго.

— Почему вы сказали это таким тоном? — спросил я.

— Просто пришло в голову. А вот я ничего в жизни не создал.

— Почему вы ликвидировали театр?

— Я его не ликвидировал. Это Анна. Она вдруг решила, что все это ни к чему, и уехала!

— Бедный Хьюго! И тогда вы отдали его ННСП?

— Да, им очень нужно было помещение, я и подумал, почему не отдать.

Мне стало жаль его. Я представил себе, как он стоит в театре, совсем один, а той, что была душой этого дома, больше нет.

— Я не знал, что у вас есть политические убеждения, — сказал я. — Наверно, они родились уже

после того, как мы перестали встречаться.

— В сущности, никаких политических убеждений у меня нет. Просто идеи Лефти кажутся мне честными. — В устах Хьюго это была очень высокая похвала.

— Вы с ним работаете?

— Боже упаси! Этого я не умею. Я просто даю ему деньги, вот и все.

— Завод ваш, надо полагать, по-прежнему процветает? Я случайно узнал, что парижский муниципалитет тоже в числе ваших клиентов.

— Завод? Я его продал, разве вы не знали?

— Не знал. А почему?

— Да как вам сказать, не верю я в частное предпринимательство. По-видимому, не верю. Вообще я плохо разбираюсь в этих вещах. А если сомневаешься в своем деле, то лучше бросить, вы со мной согласны? Кроме того, пока у меня был завод, я поневоле наживал деньги, а я этого не хочу. Я хочу путешествовать налегке. Иначе никогда ничего не поймешь.

— Я всю жизнь путешествую налегке, — сказал я, — но мне это никогда не помогало что-нибудь понять. А как же кино? Или это совсем другое?

— Из кино я тоже ухожу. Сейчас создается одна новая англо-французская компания, «Баунти

— Белфаундер» в нее вольется. Желаю им удачи.

— Понятно, — сказал я, глубоко взволнованный, и добавил: — Но вы все равно останетесь богатым человеком, Хьюго.

— Очевидно, так. Не хочется об этом думать. Как-нибудь да разделаюсь с этими деньгами. Большую сумму дам Лефти. Вам тоже могу дать, если хотите.

— Странный вы человек, Хьюго. Откуда это внезапное стремление обнищать?

— Оно не внезапное. Раньше я просто трусил, да и руки не доходили. Я бы и сейчас, наверно, ни на что не решился, если бы не запутал свою жизнь до такой степени, что даже сам не могу это не замечать.

Я подумал об Анне.

— Вы очень измучились?

— Да, конечно. Чуть с ума не сошел. Но это не оправдывает моего безобразного поведения. Кстати, простите меня, ради бога, что я бросил трубку в тот день, когда звонил на Уэлбек-стрит. Я так удивился, услышав ваш голос, и мне стало ужасно стыдно.

Этого я не понял.

— Почему вам стало стыдно?

— Ну, знаете, я много чего натворил и еще соби-

рался натворить. Вы обо мне слишком хорошего мнения, Джейк. Вы фантазер!

— Ш-ш! — прошипел я, и мы оба умолкли.

В коридоре послышались шаги. Я с ужасом вспомнил, где нахожусь. Тихие шаги приближались. Возможно, нас услышали, когда мы, увлекшись разговором, повысили голос. Я придвинулся вплотную к кровати, чтобы меня нельзя было увидеть от двери. А может, нас и не услышали, просто это ночная сестра делает очередной обход. Шаги замерли возле двери Хьюго, квадрат окошка потемнел. Я вдавился лицом в красное одеяло и затаил дыхание. Мне вдруг подумалось: а что, если Хьюго выдаст меня ночной сестре? Минуту я верил, что он на это способен. Но Хьюго лежал как пласт, дышал глубоко и ровно. Через минуту-другую лицо в окошке исчезло, и шаги медленно протопали к следующей двери. Я перевел дух и поднял глаза на Хьюго, собираясь с мыслями.

Я чувствовал, что мне идет хорошая карта. Хьюго настроен общительно. Теперь надо только выбрать нужные слова, и он мне все расскажет.

Нарушив молчание, я прошептал еле слышно:

— Анна бросила петь.

Хьюго помолчал, потом сухо отозвался:

— Ну и бог с ней.

Видимо, я сделал неправильный ход. Я решил выбрать более прямую дорогу.

— Хьюго, почему вам стало стыдно, когда вы позвонили туда, а я подошел к телефону?

Хьюго ответил не сразу. Он теребил свои бинты и смотрел мимо меня.

— Я дурно вел себя по отношению к ней.

— В каком смысле? — Я выдохнул этот вопрос, стараясь свести свое присутствие до минимума. Я хотел услышать монолог. Вдали передо мной мелькнула ускользающая фигура Анны.

— Приставал к ней просто безобразно, — сказал Хьюго.

— Она вас любила? — шепнул я, чувствуя, как самый воздух дрожит мелкой дрожью.

— О нет, это было безнадежное дело. Вы знаете, — добавил Хьюго, — иногда мне казалось, что она неравнодушна к вам.

Все мускулы моего тела расслабились один за другим, как засыпающие зверюшки; я вытянул ноги. Задумавшись над картиной, которую вызвали к жизни слова Хьюго, я от души его пожалел. Но задумываться было некогда. Мне нужны были факты, а для раздумий потом времени хватит. Сейчас я ощущал в себе почти научную объек-

тивность.

— Почему вам так казалось? Ну, что она ко мне неравнодушна?

— Она много о вас говорила, расспрашивала меня о вас.

— Не завидую, — сказал я и мысленно улыбнулся. Хуже нет, как выслушивать от объекта своих симпатий расспросы об объекте *ее* симпатий, если только это не вы сами.

— Меня радовало, что я мог быть ей полезен, — сказал Хьюго до противности смиренным тоном.

Внезапно меня резануло подозрение — уж не притворяется ли он.

— Когда вы ее теперь увидите? — спросил я. — Это правда, что она уезжает?

— Не знаю. Я понятия не имею о ее планах. Она как погода. Разве можно предсказать, что сделает завтра Сэди?

— Да, только вы имеете в виду Анну, — сказал я.

— Я имею в виду *Сэди!* — сказал Хьюго.

Имена обеих женщин прозвучали, как зов охотничьего рога, что эхом отзывается по всему лесу. Четкий узор в моем мозгу внезапно раскололся, и осколки разлетались во все стороны, как вспугнутые птицы.

Я встал на одно колено и придвинулся лицом к лицу Хьюго.

— О ком мы сейчас говорили?

— О Сэди, конечно. А то о ком же?

Я впился пальцами в одеяло. Мысль, повернутая в обратную сторону, уже рисовала мне совершенно новую картину.

— Хьюго, — сказал я, — ради бога, выясним все до конца.

— Тише! — сказал Хьюго. — Вы бы еще закричали.

— Кого вы любите? Которую из них?

— Сэди, — сказал Хьюго.

— Вы уверены?

— О черт! Мне ли не знать. Из-за этой женщины я терплю все муки ада! Но я думал, вы это знаете.

— Она мне говорила, — сказал я. — Да, говорила. Но я, конечно, ей не поверил. — Я отодвинулся от кровати и сжал голову руками.

— Почему «конечно»? — спросил Хьюго. — Ведь она даже пригласила вас специально для защиты от меня. Только вы сбежали. — В голосе его была горечь.

— Она заперла меня в квартире. Этого я не мог стерпеть.

— О господи! Если б она *меня* заперла в своей

квартире!

— Я не мог ей поверить, просто не мог.

— Она говорила вам, что я вел себя по-свински?

— Да что-то упоминала о том, что с вас станется к ней ворваться.

— Если это все, что она говорила, значит, она добрая женщина. Я черт знает что вытворял. Один раз вломился к ней ночью, в другой раз проник в квартиру днем, когда она была в студии, искал писем, кое-что унес. Я просто с ума по ней сходил. Говорю вам, Джейк, я целый год жил в каком-то безумии. Потому-то мне и необходимо из всего этого выпутаться и начать сначала.

— Но, Хьюго, это же невозможно! Не может быть, чтобы вы любили Сэди!

— Это почему? — Хьюго был рассержен.

Я растерялся. Объяснить, почему это невозможно, я был не в силах и, когда невозможное стало фактом, мог только лепетать что-то бессвязное. Я чуть не сказал: «Она этого не стоит», но удержался. Да и не в этом было дело.

— Но вы же знали Анну, — сказал я. — Как можно было, зная Анну, предпочесть Сэди?

— А я вам скажу. — В голосе Хьюго послышалась ярость. — Сэди умнее.

У меня возникло смутное ощущение, точно между нами вырастает грозная стена, Хьюго тоже это почувствовал и поспешил добавить:

— Джейк, но это же глупо. Вы же знаете, каждый может полюбить кого угодно и предпочесть его кому угодно.

Мы помолчали. Я все еще не выпускал одеяла, Хьюго приподнялся на постели. Его напряженно вытянутые ноги были возле моей руки.

— И все-таки я не понимаю, — сказал я наконец. — Я не то что вообще считал это невозможным. Просто вся картина рисовалась мне по-другому. Зачем вам тогда было возиться с театром?

— Я же вам говорил. Чтобы сделать приятное Анне.

— Но зачем, зачем? — Я не мог свыкнуться с этой мыслью.

— Да не знаю, — раздраженно ответил Хьюго. — Наверно, зря. Ни к чему эти уступки не ведут. Только лжешь раз за разом.

Слова его не вызвали отклика в моем сознании. А потом меня вдруг озарило. Я встал.

— Анна вас любит.

— Ну конечно, — сказал Хьюго. — Сходит по мне с ума так же, как я по Сэди. Но я думал, вам

это известно, Джейк!

— Так оно и есть. Я все знал. Только я все понял наоборот.

Я подошел к двери, выглянул в окошечко. Увидел ряд белых дверей и красный пол. Потом оглянулся на Хьюго и только теперь ясно увидел его лицо. Он все еще был очень бледен, и, когда он, напряженно сощурившись, внимательно и тревожно взглянул на меня из-под бинтов, что-то в нем напомнило мне Рембрандта.

Я снова обошел кровать — мне не хотелось, чтобы его лицо было на свету.

— Да, я все перепутал, — сказал я, садясь. — Не то, вероятно, вел бы себя по-другому.

В чем это могло бы выразиться, я и сам не знал; я только чувствовал, что мне нанесен удар, от которого сдвинулось с места и прошлое, и настоящее, и будущее. Хьюго пристально смотрел на меня, и я предоставил ему мое лицо, но не глаза. Если он сумеет прочесть на нем правду, что ж, дай ему бог. Сам-то я еще не скоро до нее доберусь.

— Скажите мне еще что-нибудь про Анну, Хьюго, — попросил я. — Первое, что придет в голову. Мне все может пригодиться, чтобы лучше понять.

— Да я не знаю, что сказать, Джейк. Ужасно все

это грустно. Вот как бывает в жизни, а? Я люблю Сэди, которая влюблена в вас, а вы любите Анну, которая влюблена в меня. Прямо как назло.

— Ну же, Хьюго, скажите что-нибудь про Анну. Расскажите, когда все это началось.

— Давно. Я познакомился с ней через Сэди, и она сразу сделала стойку — я имею в виду Анну.

— Насчет местоимений не тревожьтесь, теперь уж я не спутаю.

— Сперва она за мной гонялась, — сказал Хьюго. — Бросила все свои дела и гонялась за мной. Я пробовал уезжать из Лондона, удирал в гостиницу она везде меня настигала. Я был вне себя.

— Мне трудно в это поверить. Я не хочу сказать, что вы это выдумали, но просто мне трудно поверить.

— Постарайтесь, — сказал Хьюго.

Я пытался узнать в этой исступленной менаде ту Анну, которую знал, холодноватую, нежную Анну, так мягко, почти по-матерински беспристрастно умевшую согласовать притязания своих поклонников. Мне было очень больно.

— Вы сказали «сперва». А потом что случилось?

— Не случилось, в сущности, ничего. Она написала мне сотни писем. Очень красивых писем.

Некоторые я сохранил. Потом она немножко образумилась, и мы стали видеться чаще. — Меня бросило в дрожь. — Мне приятно было с ней встречаться, — сказал Хьюго, — потому что я мог говорить с ней о Сэди.

— Бедная Анна! — сказал я.

— Знаю. Я с обеими поступил по-свински. Но теперь я отстраняюсь. И вам советую.

— Не знаю, что вы хотите сказать, только я и не подумаю.

— Есть ситуации, которые нельзя распутать, — сказал Хьюго. — Можно только уйти. Ваша беда в том, Джейк, что вы все хотите понять и осмыслить. Это невыполнимо. Нужно просто идти напролом. В этом и есть истина.

— А, к черту истину! — Я чувствовал себя сбитым с толку и совсем больным. — Странно, — сказал я, перебирая новости, которые только что узнал. — Я был так уверен, что театр — это ваша идея. Это было так похоже на вас. «Поступки не лгут, слова лгут всегда». Теперь-то мне ясно, что это была галлюцинация.

— Не знаю, как понимать ваше «похоже на меня», — сказал Хьюго. — Театр затеяла Анна. Я только поддержал ее. У нее была в связи с этим какая-то общая теория, только я так и не уразу-

мел, в чем она состояла.

— Теория-то и была ваша. Это было ваше отражение в Анне, точно так же, как тот диалог — ваше отражение во мне.

— Не узнаю я своих отражений. По-моему, каждый должен делать то, что умеет, и большего не нужно.

— А вы что умеете делать?

Хьюго долго молчал.

— Умею делать руками разные сложные мелочи.

— И только?

— Да.

Мы опять помолчали.

— И какой же из этого вывод?

— Я стану часовщиком.

— Кем?

— Часовщиком. Конечно, на это потребуется несколько лет. Но я уже сговорился — поступлю в учение к одному хорошему мастеру в Ноттингеме.

— Где?!

— В Ноттингеме. А чем это плохо?

— Не знаю. Но почему? Почему часовщиком?

— Я же вам сказал. К таким вещам у меня есть склонность. Помните, как ловко у меня

получались фейерверки? Только вокруг них нагромоздили много вздора.

— А вокруг часов нет вздора?

— Нет. Это старое, почтенное ремесло. Все равно как печь хлеб.

Я изумленно смотрел на неразличимое во мраке лицо Хьюго. Как всегда, на нем читалось своеобразное простодушие.

— Вы с ума сошли! — сказал я.

— Почему вы так говорите, Джейк? У каждого должно быть свое ремесло. Ваше ремесло — писательство. Моим будет делать и чинить часы, если я с этим справлюсь.

— А как же истина? — спросил я в бешенстве. — Поиски бога?

— Чего же вам больше? — сказал Хьюго. — Бог — это работа. Бог — это конкретные детали. Все это близко, под рукой. — Он протянул руку и взял с тумбочки стакан. Свет из двери блеснул на стакане и как будто зажег ответную искру в глазах Хьюго; я в темноте пытался прочесть, что в них таится.

— Ну и хорошо, — сказал я. — Ну и отлично.

— Вы всегда чего-то ждете, Джейк.

— Возможно. — Разговор начинал меня тяготить. Я решил уйти и встал с пола. — Ну, как ваша

голова?

— Получше. С вами я о ней забыл. Как вы думаете, сколько меня здесь продержат?

— Сестра сказала — дней пять.

— Ну, знаете! На это я не согласен. У меня масса дел.

— Может, вас выпустят и раньше. — Мне было все равно. Хотелось где-нибудь спокойно посидеть и переварить то, что я узнал от Хьюго. — Я пошел.

— И я с вами, — сказал Хьюго и стал вылезать из постели.

Я пришел в ужас. Я схватил его и стал заталкивать обратно. В меня уже глубоко въелась больничная этика. Больной должен выполнять указания и не смеет проявлять собственную волю.

— Сейчас же ложитесь! — произнес я громким шепотом.

С минуту мы боролись. Потом Хьюго сдался и втянул ноги обратно на кровать.

— Сжальтесь, Джейк, — сказал он. — Если вы не поможете мне уйти, меня могут тут продержать еще много дней. Вы же знаете эти больницы. Отнимают у человека одежду, и он беспомощен как младенец. Между прочим, где моя одежда?

— В шкафчике в конце коридора, — ответил я как дурак.

— Ну будьте человеком! Принесите мне вещи и покажите, как отсюда выйти.

— Вам нельзя вставать, это опасно, так сестра сказала.

— Вы только что это выдумали. Я совершенно здоров, я это знаю, и вы знаете. Мне необходимо отсюда выбраться. У меня завтра неотложные дела, и будь я проклят, если дам себя здесь заточить. Ступайте принесите мои вещи.

Неожиданно у Хьюго появился властный тон, и я с ужасом почувствовал, что готов ему повиноваться. Сопротивляясь из последних сил, я сказал:

— Хьюго, я здесь работаю. Если я вас послушаюсь, то потеряю место.

— А кто-нибудь знает, что вы здесь?

— Разумеется, нет.

— Так никто и не узнает, что это вы мне помогли.

— Нас поймают.

— Вы можете не идти со мной.

— Нет, не могу. Один вы дороги не найдете. — В душе я ругательски ругал его. Мне вовсе не хотелось рисковать из-за Хьюго, но я уже понимал,

что иду на это.

— Я вас очень прошу, Джейк, — сказал Хьюго. — Если б не срочные дела, я бы не стал просить.

— А, чтоб вам! — сказал я.

Я подошел к двери и посмотрел на часы. Начало пятого. Если действовать, так сейчас же. Я взглянул на ночное лицо Хьюго. Я уже чувствовал, что исполню все его просьбы. Я не мог иначе.

— Чтоб вам… — повторил я и взялся за ручку двери. Бесшумно отворив дверь, я постоял в коридоре, привыкая к яркому свету. Потом тихо двинулся с места. Одежда больных хранилась в особой комнате, через дверь от комнаты ночной сестры, с той стороны, откуда я шел. Каждый шкафчик там соответствовал определенной кровати в «Корелли III». Ключи от шкафчиков лежали тут же, в ящике стола. Найти одежду Хьюго будет нетрудно, только вот сама комната могла оказаться запертой. Я надеялся, что так оно и будет. «Хоть бы было заперто!» — сказал я себе, берясь за ручку двери. Дверь бесшумно подалась. Стоя в полутьме, я быстро прикинул: может, вернуться к Хьюго и сказать, что комната заперта? Ведь так могло быть. Вполне могло бы. Я поиграл с этой мыслью, не уверенный, следует ли расценить ее как соблазн. Попытался призвать на

помощь чувство ответственности и служебного долга, но было поздно. Четыре минуты назад я еще мог опереться на эти резервы, а теперь время упущено. Я уже начал помогать Хьюго. Я связал себя с Хьюго. Солгать ему значило совершить предательство. Я протянул руку к связке ключей.

Отперев шкафчик, я вещь за вещью выложил его содержимое на стол. Старая клетчатая рубашка Хьюго, совсем уже древние вельветовые штаны, сравнительно новая, пахнущая мылом спортивная куртка, егерская майка и кальсоны, дырявые носки и грязные башмаки. В карманах звякали какие-то мелкие предметы. Стараясь не дышать, я собрал одежду в охапку, сверху положил башмаки, так что почти ничего не видел перед собой. Тут я вспомнил, что не запер шкафчик и ключи болтаются в замке. Я опять сложил вещи на стол, запер шкафчик и убрал ключи в ящик. Особого значения это уже не имело — ведь исчезновение Хьюго будет замечено примерно в то же время, что и кража из шкафчика, — но я люблю все делать аккуратно. Я опять забрал вещи и пошел к двери. Мне казалось, я уже слышу, как башмаки Хьюго грохаются на пол. Но все обошлось. По коридору я шел с таким чувством, точно в спину мне нацелен автомат. Дверь в пала-

ту Хьюго оставалась приоткрытой. Я протиснулся в нее и мягко свалил всю одежду на кровать.

Хьюго уже встал и, стоя у окна в бесформенной белой хламиде, кусал ногти.

Он сказал:

— Колоссально! — и жадно набросился на свою одежду, а я бесшумно прикрыл дверь.

— Поживее! — сказал я ему. — Уходить так уходить. — Никогда еще он не внушал мне так мало уважения и сочувствия. Я заметил, что, одеваясь, он то и дело прикладывает руку к голове, и у меня мелькнула мысль, что эта эскапада, чего доброго, и вправду до добра не доведет; но это меня не интересовало — ни как предмет спора, поскольку время для споров прошло, ни как фактор благополучия Хьюго, поскольку заботу о нем уже вытеснила более острая тревога за себя. Я был до крайности зол на Хьюго за то, что из-за него изменил своему долгу, и терзался от страха, что нас поймают. Что со мной будет тогда — этого я даже не мог себе представить, и оттого мне было еще страшнее. Я весь дрожал.

Хьюго оделся и стал зачем-то прибирать свою постель.

— Бросьте! — сказал я как мог грубее. — Теперь слушайте: нам надо пройти мимо комнаты

ночной сестры, дверь там стеклянная, так что двигаться будем ползком. Башмаки вы снимите, на них только посмотришь, и то слышно, как они стучат. Идите за мной и делайте все, как я. Не разговаривайте, и ради бога, чтобы у вас ничего не выпало из карманов. Понятно?

Хьюго кивнул, округлив глаза и всем лицом излучая простодушие. Я посмотрел на него в бессильной злобе. Потом выглянул за дверь.

Ночной сестры не было видно, не слышно было ни звука. Я выскользнул в коридор, и Хьюго двинулся за мной, пыхтя и урча, как медведь. Я оглянулся, сделал страшные глаза и приложил палец к губам. Хьюго понимающе закивал. У ночной сестры горел свет, и было слышно, как она ходит по комнате. Я опустился на четвереньки и быстро прополз мимо двери, намного ниже уровня стекла. Потом оглянулся посмотреть, что будет делать Хьюго. Он колебался, явно не зная, как поступить со своими башмаками, которые держал в каждой руке. Поймав мой взгляд, он сделал вопросительное движение. Я жестом показал, что умываю руки, и пошел дальше, к дверям отделения. Потом опять обернулся и еле удержался от смеха. Хьюго зубами ухватил оба башмака за язычки и продвигался на четвереньках, горою

выставив кверху зад. Я ждал, готовый к тому, что сестра заметит это движущееся полушарие — оно неизбежно должно было попасть в поле ее зрения. Но ничего этого не случилось. Хьюго нагнал меня у двери, капая слюной в башмаки. Я покачал головой, и мы вместе вышли из «Корелли III».

Теперь укрыться было негде, оставалось только надеяться на удачу. Мы стали спускаться по главной лестнице. Хьюго, увенчанный бинтами, был воплощенным нарушением правил. Больница безмолвствовала, сосредоточив на нас свет своих ярких ламп, подобно огромному наблюдающему глазу, который словно втягивал нас в свой зрачок. Я ждал, что вот-вот грозный окрик, эхом перекатываясь сверху вниз по всем этажам, пригвоздит нас к месту, но окрика не было. Мы уже спустились и подходили к главной кухне. Я с радостью убедился, что в кухне темно — значит, там никого нет. Скоро мы будет на воле. Сердце уже билось от предчувствия успеха, мысли победно окрылились. Вышло! Всего несколько шагов отделяло нас от двери кладовой. Я оглянулся на Хьюго.

И тут впереди нас, шагах в двадцати, из-за угла показалась какая-то фигура. Это был Стич в синем ночном халате. Мы все трое застыли на месте. Стич всматривался в нас, мы всматривались в

Стича. Потом рот у него начал открываться.

— Сюда, живо! — громко сказал я. Это были первые слова, произнесенные мною вслух за несколько часов, звук их показался мне странным. Я подскочил к двери кладовой и втолкнул в нее Хьюго.

— В окно! — крикнул я ему вслед. Я слышал, как он неловко пробирается к окну, слышал торопливые шаги Стича в коридоре. Я захлопнул за собою дверь и, словно по какому-то наитию, ухватился за штабель кроватей справа от себя и с силой рванул их на середину комнаты; они покачнулись и стали заваливаться. Я перескочил на другую сторону, и слева кровати тоже пришли в движение. Как две колоды карт, составленные вместе верхними краями, они с оглушительным грохотом сомкнулись посередине прохода и накрепко его загородили. Я услышал, как по ту сторону заслона ругается Стич, и поспешил вслед за Хьюго.

Хьюго оставил окно раскрытым. Я выскочил из него с проворством Нижинского и налетел на Хьюго, прыгавшего по траве.

— Башмаки, башмаки! — жалобно выкрикнул он. Как видно, Хьюго поставил их на пол, когда вылезал из окна.

— К черту башмаки! Бегите!

Позади нас раздался грохот металла — это Стич, пытаясь отворить дверь, натолкнулся на баррикаду из кроватей. Я откинул голову, приготовясь бежать, и с удивлением заметил, что весь сад уже ясно виден в сером утреннем свете; и пока мы мчались между рядами вишневых деревьев, я думал, что нисколько не удивлюсь, если по нас откроют огонь из верхних окон.

Мы пробежали по газону, пересекли дорогу, перемахнули через цепь и помчались по тротуару к Голдхок-роуд. Повязка у Хьюго ослабла, один конец развевался за ним, точно вымпел. Прежде чем завернуть за угол, я оглянулся, но никаких признаков погони не заметил. Мы замедлили шаг.

— Ну, а теперь как ваша голова? — спросил я Хьюго (мы развили скорость не меньше двадцати миль в час).

— Болит дьявольски. — Хьюго прислонился к стене. — Черт вас возьми, Джейк, могли бы дать мне время подобрать башмаки. Это ведь не простые башмаки. Я купил их в Австрии.

— Сегодня вы покажитесь все-таки врачу, — сказал я. — Довольно у меня грехов на совести.

— Буду в Сити — зайду, я там знаю одного. — Мы

медленно шли по Голдхок-роуд.

Свет быстро набирал силу. Был, очевидно, шестой час, и, когда мы дошли до лужайки Шепердс-Буш, сквозь туман уже пробивалось солнце. Улица была пуста. Один раз мы остановились поправить Хьюго повязку, потом молча побрели дальше. Глядя на огромные ступни Хьюго, проглядывавшие через множество дырок в носках, я невольно подумал об Анне и вдруг ощутил к Хьюго какую-то смесь сострадания и злобы. Сколько мучений доставил мне этот человек! А между тем иначе быть не могло.

— Из-за вас я потерял место, — сказал я Хьюго.

— Может быть, вас не узнали.

— Очень даже узнали. Этот тип, который нас увидел, работает в «Корелли». Он мой враг.

— Жаль.

Теперь мы шли по Холленд-Парк-авеню. Было совсем светло, туман рассеялся. Солнце, только что показавшееся из-за крыш, подарило нам по черной тени. Мы шагали мимо спящих окон. Лондон еще не проснулся. Потом загрохотали первые автобусы с рабочими. Но мы все шагали пешком. Хьюго шел опустив голову, покусывая ногти и глядя себе под ноги. Я разглядывал его не спеша, как разглядывают картину или покойни-

ка. У меня было странное чувство — будто он и очень далеко от меня, и в то же время так близко, как никогда не был и не будет. Говорить мне не хотелось. Так мы долго шли и молчали. Наконец я спросил:

— Когда вы уезжаете в Ноттингем?

— Что? — Хьюго поднял голову. — А, в Ноттингем? Надеюсь, дня через два-три. Смотря по тому, как успею здесь все закончить.

Я посмотрел ему в лицо, и хотя ни одна черта в нем не изменилась, я увидел, что это лицо глубоко несчастного человека. Я вздохнул.

— У вас там есть где жить?

— Нет еще. Что-нибудь найду.

— Можно мне еще повидать вас до отъезда?

— К сожалению, я буду очень занят.

Я опять вздохнул. И тут нам обоим стало ясно, что, во-первых, нашим разговорам пришел конец и, во-вторых, что проститься нам будет нелегко.

— Одолжите мне полкроны, Джейк, — сказал Хьюго. Я дал ему деньги. Мы все шли.

— Простите, мне нужно спешить, — сказал Хьюго.

— Пожалуйста.

— Спасибо, что вызволили меня.

— Не за что.

Ему не терпелось отделаться от меня. А мне от него. С минуту мы молчали — каждый думал, что бы еще сказать подходящее к случаю. Ни он, ни я ничего не придумали. На мгновение наши взгляды скрестились. Потом Хьюго буркнул:

— Мне надо бежать. Простите.

Он пошел очень быстро, свернул на Кемден-Хилл-роуд. Я шел следом своим обычным шагом. Он свернул на Шеффилд-Террес, и когда я тоже повернул за угол, он был шагах в тридцати от меня. Он оглянулся, увидел меня и прибавил шагу; потом свернул на Хорнтон-стрит. Я сильно отстал и уже издали увидел, что он свернул на Глостер-Уок. Когда я тоже дошел до угла Глостер-Уок, его больше не было видно.

Глава 19

Начало дня застало меня в Кенсингтоне. Заполнить этот день было нечем. Я брел все вперед, заглядывая в витрины. Зашел в кафе позавтракать. На это ушло довольно много времени. Потом опять пустился в путь. Прошелся по Эрлс-Корт-роуд, постоял перед домом, где когда-то жила Мэдж. Занавески на окнах сменили. Все выглядело теперь по-новому. Я даже усомнился, тот ли это дом. Потом пошел дальше. У станции метро выпил чашку чаю. Хотел было позвонить Дэйву, но так и не придумал, что ему сказать.

Я посмотрел на часы. В больнице, в кухне «Корелли III», моют сейчас кружки и блюдца. Я зашел в цветочный магазин, купил несуразно огромный букет роз и распорядился, чтобы его послали мисс Пиддингхем. Записки я не приложил — она и так догадается, от кого цветы. Наконец открылись кабаки. Я выпил. Вспомнил, что мне, оказывается, есть что сказать Дэйву, — надо спросить, нет ли вестей от Финна. Я позвонил Дэйву, но никто не ответил. Я все острее чувствовал, как мне нужен Финн. Пришлось заставлять себя отвлекаться

от этой мысли. Я выпил еще. Время тянулось медленно.

Сперва я ни о чем конкретно не думал. Подумать было нужно о слишком многом. Я просто сидел очень тихо и давал чему-то созреть где-то глубоко внутри. Я смутно чувствовал, как бесформенные глыбы шевелятся во тьме, ниже уровня сознания и без моего участия, а потом постепенно начал понимать, что со мной творится. Мои воспоминания об Анне изменились до неузнаваемости. В каждое из них вошло какое-то новое измерение. Я забыл спросить у Хьюго, когда именно Анна с ним познакомилась и, по его гнусному выражению, «сделала стойку». Но поскольку знакомство Хьюго и Сэди состоялось уже очень давно, вполне возможно, что знакомство его с Анной пришлось на последний период наших отношений с ней, перед тем, как мы надолго расстались. Додумавшись до этого, я почувствовал, что та Анна, которую я хранил в памяти, отныне осквернена, точно у статуи выступил на лбу кровавый пот.

В моей памяти не осталось образа Анны. Она растворилась в воздухе, точно колдовское видение; но при этом по-прежнему была со мной, более ощутимо, чем когда-либо. Как будто только

теперь она обрела самостоятельное существование, перестала быть частью меня самого. Ощущение это было до крайности болезненно. Но когда я попытался сосредоточить на ней внимание, то почувствовал, что в каком-то смысле беру на себя инициативу, и, возможно, это была одна из личин любви. Анну нужно было узнавать заново. Когда можно сказать, что знаешь человека? Может, лишь после того, как постигнешь, что это невозможно, и смиришься с этой невозможностью, и, наконец, уже и не хочешь его узнать. Но тогда то, чего ты достигаешь, — уже не знание, а просто своего рода сосуществование; и это — тоже одна из личин любви.

Я стал думать о Хьюго. Он высился в моем сознании как монолит: цельный, неотесанный камень, которому доисторический человек придавал какое-то значение, навеки оставшееся неизвестным. Даже объяснения его самобытности следовало искать не в нем самом, а во мне или в Анне. Он не признает за собой никаких свершений. Человек без всяких притязаний, человек, не умеющий мыслить. Чего ради я гонялся за ним? Ему нечего было мне сказать. Я повидал его, и достаточно. Он — знак, знамение, чудо. Но не успел я это подумать, как судьба Хьюго снова

стала меня занимать. Я представил себе, как он сидит в Ноттингеме в жалкой, тесной мастерской и держит в своей огромной руке часы. Я увидел крошечные, беспокойные движения механизма, увидел колесики и камни. Все ли кончено между мной и Хьюго?

Я вышел из бара. Он находился на Фулхем-роуд. Я спокойно постоял на обочине, пока не показалось такси. Я остановил его и сказал шоферу: «Холборнский виадук». Откинувшись на подушки, я подумал, что на долгое время это последний из тех поступков, что кажутся мне неизбежными. Лондон проносился мимо меня, любимый город, такой знакомый, что я его почти не видел. Саут-Кенсингтон, Найтсбридж, угол Хайд-парка. Последний поступок, не вызывающий вопросов, не требующий обоснований. После него наступит долгая, мучительная пора раздумий. Лондон проносился передо мной, как жизнь утопающего, — говорят, она вся целиком возникает перед глазами в последнюю минуту. Пикадилли, Шафтсбери-авеню, Нью-Оксфорд-стрит, Хай-Холборн.

Я расплатился с шофером. Было уже часа три. Я постоял на виадуке, глядя вниз, в ущелье Фаррингдон-стрит. Оттуда, лениво хлопая крыльями,

вылетел голубь и медленно полетел на юг, к шпилю святой Бригитты. Солнце пригревало мне шею. Я не торопился. Мне хотелось продлить, хоть немножко продлить мой последний поступок. Меня удерживало и предчувствие боли — той боли, что приходит, когда драма окончена, трупы унесли со сцены, смолкли фанфары и занимается новый, пустой день, который будет заниматься снова и снова, насмехаясь над нашими придуманными концовками. Я вошел в подъезд.

Лестница была длинная. На полпути я остановился послушать, не кричат ли скворцы, но ничего не услышал. Они начинают галдеть ближе к вечеру. Я особенно не задумывался над тем, застану ли Хьюго дома. На предпоследней площадке я опять постоял, чтобы немного отдышаться. Дверь была закрыта. Я преодолел последний марш и постучал. Ответа не было. Постучал громче. Ни звука. Тогда я толкнул дверь. Она отворилась, и я переступил порог.

В гостиной мое появление подняло настоящий вихрь. Воздух гудел и распадался на множество черных кусков. Я в испуге схватился за дверь. И тут же понял: комната была полна птиц. Несколько скворцов, не сразу нашедших окно, как безумные летали взад-вперед, ударяясь о стены

и оконные стекла. Потом они нашли выход и исчезли. Я огляделся. Квартира Хьюго больше напоминала вольеру, чем человеческое жилье. Ковер был закапан белым пометом, дождь, попадавший в незакрытое окно, оставил на стене большие темные пятна. Как видно, Хьюго уже давно сюда не заглядывал. Я прошел в спальню. Кровать стояла голая. Гардероб опустел. Я попробовал осмыслить все это. Потом вернулся в гостиную и поднял телефонную трубку. Мне пришла странная фантазия — а вдруг на другом конце провода окажется Хьюго? Но телефон молчал. Тогда я сел на тахту. Я никого не ждал. Не знаю, сколько прошло времени. В Сити пробили часы. Им стали вторить другие. Я не считал ударов.

Взгляд мой, побродив по комнате, задержался на письменном столе. Несколько минут я смотрел на него. Потом встал, подошел поближе. Открыл средний ящик. Из-под пустых папок выглядывал «Молчальник». Я вытащил книгу. На первом чистом листе Хьюго крупными буквами написал свое имя. Я стал листать страницы. Некоторые места Хьюго подчеркнул, на полях поставил крестики и вопросительные знаки; в одном месте было написано карандашом: «Спросить Дж.». Мне стало больно, я захлопнул книгу и сунул ее в

карман. Я бегло просмотрел содержимое остальных ящиков, а потом открыл верхнее отделение стола. Оно было набито письмами и бумагами. Я стал быстро их перебирать. Я зарывался все глубже в коробки и ящички, и бумажный поток уже начал стекать со стола на пол. Того, что мне было нужно, я не нашел.

Через мои руки прошли старые письма и счета, огрызки карандашей и сургуча, спичечные коробки, скрепки всевозможных размеров, полуиспользованные книжечки с марками и недействительные чековые книжки. В одном из ящичков мне попался набор пакетиков зловещего вида, в которых я узнал «Домашние детонаторы Белфаундера», помельче тех, что помогли нам удрать из киностудии. В другом ящичке лежала нитка жемчуга — может быть, любовно выбранный подарок для Сэди, которого она теперь не получит или который вернула: как-то утром его доставили ценным письмом, и оно долго лежало на столе, потому что у Хьюго не хватало духу распечатать его. Но того, что мне было нужно, я не нашел.

Я сел, взял лист бумаги. Мне захотелось написать Хьюго письмо. Я выбрал одну из ручек Хьюго. В окно залетел скворец, увидел меня и вылетел

обратно. С парапета раздался тихий щебет. Я написал: «Хьюго». А больше и не знал, что писать. Хотел было добавить: «Пришлите мне ваш адрес в Ноттингеме», но раздумал — очень уж невыразительно это звучало и безлично. В конце концов я просто провел наискось через всю страницу волнистую линию, а внизу написал свое имя и адрес лавки миссис Тинкхем. Я положил листок в конверт, оставил его на уголке книжного шкафа и собрался уходить. Но тут я заметил что-то на стене позади шкафа — зеленую дверцу сейфа.

Я замер на месте, потом немного отодвинул шкаф от стены. Потянул за дверцу сейфа, но она оказалась заперта. Я постоял, в задумчивости глядя на нее, пока мне не стало ясно, что нужно сделать. Я вернулся к столу, достал из ящичка один из «Домашних детонаторов Белфаундера» и повертел в руках, не спеша прикидывая, насколько велика его взрывная сила, и нащупал в кармане спички. Детонатор имел форму конуса. Я провел пальцем по краю дверцы, ища щель, в которую можно было бы воткнуть острие, но дверца была гладкая, как лысина, даже петли были вделаны изнутри. Ни одной щелки, ни одного выступа, на который можно бы приладить детонатор. Тогда я взял в столе рулон липкой

бумаги и прилепил детонатор на дверце в самом, на мой взгляд, уязвимом месте, с той стороны, где был замок. С тупого его конца торчал небольшой фитиль, как синяя бумажная полоска у фейерверка. Я поднес к нему горящую спичку и, отступив в другой конец комнаты, стал спокойно ждать, что будет. Думаю, я бы не удивился и не испугался, если бы вся стена внезапно рассыпалась дождем досок и штукатурки и передо мной открылось бы небо и вид на собор святого Павла.

Яркая вспышка, треск. Я зажмурился. Комната наполнилась дымом, из-под парапета взвилась стайка скворцов. Открыв глаза, я увидел сквозь сернистый туман, что дверца сейфа откинулась и повисла на одной петле. Больше ничего не пострадало. Я заглянул внутрь сейфа. Он был разделен на две глубокие полки. На нижней были деньги, на вид очень много — пачки по фунту и по пять фунтов. На верхней я увидел то, что мне было нужно.

Там лежали две пачки писем. Я взял их в руки. Одна была тонкая, на конверте я узнал аккуратный, манерный почерк Сэди. Другая была много толще. Я быстро просмотрел ее, не развязывая. Все письма были от Анны. «Очень красивые письма», — сказал про них Хьюго. Я сжимал их в руке,

чувствуя, как во мне борются угрызения совести, торжество и отчаяние. Я сел на тахту. Теперь я *увижу* то, что не способен был вообразить. Я вытащил из пачки первый конверт.

И тут с улицы донесся шум подъезжающей машины и скрежет тормозов. Я заколебался. Я покраснел и задрожал. Не выпуская писем из рук, я влез на стул и высунулся в окно. У подъезда стоял грузовик. С минуту я смотрел на него, но никто из машины не вышел, и я слез со стула. Я поглядел на конверт и вдруг увидел темную рощу и Анну, как она босиком вступает под деревья. Пальцы мои уже вытащили письмо. Оно было на нескольких страницах. Я стал его разворачивать. И тут снова послышался шум машины. Он приближался на быстром крещендо, потом сразу смолк. Я мысленно выругался. Опять влез на стул. Глубоко внизу я увидел черный «альвис» Хьюго. Он остановился впритык за грузовиком. Замирая не то от радости, не то от страха, я смотрел на черную машину. Сердце громко стучало, меня пронизывала дрожь. Теперь мне не уйти от Хьюго.

Кто-то вышел из машины, но это был не Хьюго. На секунду я растерялся, а потом узнал светлую голову и щуплую фигурку Лефти. Я глядел, рас-

крыв рот, вцепившись в раму. Лефти стоял на тротуаре и, видимо, советовался о чем-то с двумя мужчинами, которые вылезли из грузовика. На тротуаре жестикулировали их длинные тени. Потом я разглядел на ветровом стекле «альвиса» буквы ННСП и все понял. Соскочив со стула, я заметался по комнате, как человек, ищущий, куда бы поставить ногу на горной осыпи. Схватил свою записку, адресованную Хьюго, и сунул в карман. На секунду окаменел, и тут внизу на лестнице послышались шаги. Я окинул взглядом комнату: разграбленный стол, взломанный сейф. Посмотрел на письма, которые все еще держал в руке, и сунул то, первое, письмо обратно в пачку. Я подержал их еще секунду, словно хотел положить в карман. Но не мог. Они жгли мне руки. Я снова зашвырнул их в сейф. Потом выбрал самую толстую пачку фунтовых банкнот и запихал во внутренний карман. «Это революции не достанется», — сказал я вслух и бросился к выходу.

В три прыжка я пересек площадку и влетел в кухню. На лестнице уже слышался голос Лефти. Я отворил кухонное окно и выпрыгнул на плоскую крышу. В стеклянной крыше соседнего конторского здания рамы были по-летнему открыты. Я твердыми шагами дошел до одного из таких

люков, спустился в него и очутился на пустынной площадке. Минуты через две, сойдя по лестнице, я вышел в переулок, потом вернулся на улицу, перешел на другую сторону; и когда я ленивой походкой проходил по той стороне мимо дома Хьюго, оттуда уже выносили Ренуаров.

Глава 20

Марс очень мне обрадовался. Он весь день просидел взаперти. Я накормил его, а остаток мяса завернул в бумагу и завязал. Потом я уложил в чемодан кое-что из одежды. В прихожей меня ждало несколько писем и бандероль, их я, не глядя, тоже сунул в чемодан. Я оставил Дэйву записку — поблагодарил его за гостеприимство, и мы с Марсом вышли из дому.

Мы сели в 88-й автобус. Кондуктор много чего нашел сказать по поводу Марса. Мы уселись наверху, на переднем сиденье, том самом, где я еще так недавно сидел и думал об Анне, а потом вдруг сошел с автобуса и отправился искать ее. И сейчас, когда я, гладя Марса по голове, смотрел сверху на толпы народу, запрудившие Оксфорд-стрит, мне было не весело и не грустно, только немного странно, точно я не совсем настоящий — как человек под стеклянным колпаком. События текут мимо нас, как вот эти толпы, лицо каждого видишь только минуту, самое важное важно не навсегда, а только сейчас. Работа и любовь, погоня за богатством и славой, поиски истины и сама

истина — все состоит из мгновений, которые проходят и обращаются в ничто. Но сквозь эти бесчисленные «ничто» мы движемся вперед с той поразительной живучестью, которая создает наши непрочные пристанища в прошедшем и будущем. Так мы живем — как некий дух, витающий над беспрестанной смертью времени, над утраченным смыслом, упущенным мгновением, позабытым лицом, — до тех пор, пока последний удар не положит конец всем нашим мгновениям и не погрузит этот дух обратно в пустоту, из которой он вышел.

Так я размышлял, и мне не хотелось выходить из автобуса. Но когда мы доехали до Оксфорд-Сэркус, я встал и стащил за собой Марса вниз по лесенке. Был час пик. Мы пробрались сквозь толпу и свернули на Ратбоун-Плейс. В Сохо было жарко, пыльно и, как всегда в это время дня, царило унылое и тупое безделье. Люди стояли кучками, дожидаясь, когда откроют пивные. На верхнем этаже играли на рояле. Кто-то подхватил мелодию и, уходя, насвистывал ее. Я пошел по Шарлотт-стрит. Перед глазами у меня все подрагивало и мерцало, быть может, от жары, быть может, от страха. Словно чувствуя за собой погоню, я ускорил шаг.

Голос миссис Тинкхем донесся до меня из клубов табачного дыма. Она, казалось, ждала меня. Впрочем, она ждала меня всегда. Я сел за железный столик.

— Добрый вечер, голубчик, — сказала миссис Тинкхем. — Долго вас не было видно.

— Так уж получилось, — сказал я.

Марс деликатно принюхивался к двум ближайшим кошкам. Они как будто уже свыклись с ним и только грациозно отворачивались и моргали. Они поднимались ярус за ярусом позади миссис Тинкхем, и глаза их поблескивали сквозь дым, как огни вокзала в тумане. Марс растянулся у моих ног.

Я уселся поудобнее.

— Хорошо бы выпить, — сообщил я миссис Тинкхем. — Скоро время открывать.

— Виски с содовой? — Я услышал под прилавком звон стекла, бульканье виски и шипенье содовой. Миссис Тинкхем подала мне стакан, я запрокинул голову и закрыл глаза. Где-то очень далеко чуть слышно бормотало радио, как голос из другого мира. В дверь долетали вечерние звуки Сохо. Марс мягко привалился к моим ногам. Я сделал два глотка; виски пробежало по мне, как ртуть, и я почти физически ощутил дрожь новых

возможностей. Я открыл глаза. Миссис Тинкхем смотрела на меня, Под ее рукой на прилавке что-то лежало. Я узнал свой пакет с рукописями. Я протянул руку, и она молча передала его мне.

Я положил пакет на стол. Потом извлек из чемодана пачку писем, которые принес с собой. Я сразу увидел, что одно письмо от Сэди, и отложил его в сторону.

— Можно я прочту свои письма?

— Делайте что хотите, голубчик, — сказала миссис Тинкхем. — А я буду читать дальше. Я как раз дошла до самого интересного места.

Мне не хотелось начинать с письма Сэди. Я выбрал письмо с лондонским штемпелем, надписанное незнакомой рукой, и вскрыл его. Оно было от Лефти. Я прочел его несколько раз, читал и улыбался. Лефти писал в изящном, немного риторическом стиле, со скобками, двоеточиями и точками с запятой. Первый абзац был посвящен нашей ночи на Темзе: по словам Лефти, для него это был сон в летнюю ночь; он выражал надежду, что не показал себя совершенным ослом. Видимо, он помнил, что болтал несуразицу. Дальше шли сожаления о том, что я, как он слышал, был болен. Он приглашал меня к себе, когда мне станет лучше; если я пожелаю заняться политической

работой, он будет рад, но зайти он меня просит в любом случае; ведь жизнь в конце концов — это не только политика, разве не так? Письмо произвело на меня хорошее впечатление; и хотя в искренности последних слов я сомневался, все же чувствовалось, что я имею дело с порядочным человеком.

Я сунул письмо в карман и занялся бандеролью. Уже раньше я успел заметить, что она из Франции. Я стал сдирать обложку. В ней оказался экземпляр «Nous les vainqueurs» с надписью ровным почерком Жан-Пьера в самом что ни на есть галльском стиле. Я смотрел на книгу не без волнения. Потом достал перочинный нож и разрезал первые страницы. Не успел я опомниться, как дочитал до страницы пятой. Впечатление было поразительное. Жан-Пьер всегда был искусным рассказчиком, но тут я сразу почувствовал нечто большее. Слог стал суше, манера была уверенная, ритм неспешный и плавный, Что-то изменилось. Начиная роман, как бы открываешь дверь в туманный простор; еще почти ничего не видно, но уже слышишь запах земли, чувствуешь ветер. Сейчас я почувствовал ветер с первых же страниц — ветер сильный и вкусный. Для начала неплохо, сказал я себе. Что-то изменилось, что именно — в

этом мы еще успеем разобраться. Я посмотрел на имя Жан-Пьера на обложке и впервые подумал, что, может быть, мы с ним еще потягаемся. Но, поймав себя на этой мысли, я покачал головой и отложил книгу.

Потом я взял письмо с ирландской маркой — почерк был мне незнаком. В конверте оказалась коротенькая, почти неразборчивая записка. Я долго не мог понять, что это письмо от Финна. А когда наконец разобрал подпись, то испытал досаду и огорчение. Как ни странно, я еще ни разу не получал от Финна писем. Когда нам случалось разъезжаться, мы общались по телефону либо слали телеграммы; некоторые мои знакомые даже выдвигали когда-то теорию, что Финн не умеет писать. Сейчас я прочел:

«Дорогой Джейк!

Прости, что уехал, не повидавшись с тобой. Ты тогда как раз был в Париже. Я решил, что пора возвращаться, потому что оказались деньги. Ты ведь знаешь, я уже давно подумывал о том, что нужно бы вернуться. Я буду в Дублине, и меня всегда можно найти через бар „Жемчужина“. Они, кажется, пересылают письма, а жилья у меня еще нет. Надеюсь повидаться с тобой, когда ты приедешь на Изумрудный остров. Привет Дэйвиду.

Твой П.О'Финни».

Это письмо расстроило меня чрезвычайно, и я воскликнул:

— Финн уехал в Ирландию!

— Я знаю, — сказала миссис Тинкхем.

— Знаете? — вскричал я. — Откуда?

— Он сам мне сказал.

Мысль, что Финн мог выбрать миссис Тинкхем в наперсницы, только тут осенила меня и мгновенно из возможности превратилась в вероятность.

— Он сказал вам об этом перед самым отъездом?

— Да. И раньше говорил. Он, должно быть, и вам говорил, что хочет вернуться?

— Говорил, теперь я припоминаю, но я ему не верил. — Почему-то эта фраза прозвучала знакомо. — Я болван, — сказал я. Миссис Тинкхем не стала спорить.

— У него были какие-нибудь особые причины для отъезда? — Я грустил и негодовал, что приходится расспрашивать миссис Тинкхем насчет Финна, но мне нужно было хоть что-то узнать. Я заглянул в ее старое невозмутимое лицо. Она выпускала изо рта колечки дыма; и я понял, что она ничего мне не скажет.

— Просто, наверно, потянуло домой, — сказала миссис Тинкхем. — Скорее всего, захотел повидать кого-нибудь. Ну и, конечно, религия, — добавила она туманно.

Я опустил глаза и ощутил у себя на лбу легкий нажим — пристальный взгляд миссис Тинкхем и десятка кошек. Мне стало стыдно — стыдно, что я расстался с Финном, что я так мало знал о нем, что представлял себе все так, как мне хотелось, а не как было на самом деле.

— В общем, он уехал, — сказал я.

— Вы увидитесь с ним в Дублине, — сказала миссис Тинкхем.

Я попробовал вообразить такую встречу — Финн дома, а я у него в гостях — и покачал

головой.

— Не выйдет, — сказал я и не сомневался, что миссис Тинкхем поняла.

— Никогда не знаешь, что захочется сделать, когда придет время, произнесла миссис Тинкхем тем неопределенным тоном, каким она изрекает все эти свои сентенции, может быть, исполненные глубокой мудрости, а может быть, и бессмысленные. Я быстро взглянул на нее. Радио все бормотало еле слышно, и папиросный дым висел между нами, как занавес, чуть колыхаясь в медленных волнах летнего воздуха. Она поморгала, и зрачки у нее стали узкие, как вертикальные щелки.

— Ну что ж, посмотрим, — сказал я.

— Лучше этого не скажешь, верно, голубчик? — отозвалась миссис Тинкхем.

Наконец я взял в руки письмо Сэди. Я очень нервничал. Я был уверен, что меня ждут неприятности. Марс пошевелился и обнюхал мой башмак. Я разорвал конверт. Две вложенные бумажки я отложил в сторону и развернул длинный надушенный листок, по которому узким столбиком бежали изящные строчки. Вот что писала Сэди:

«Джейк, мое золото!

Насчет этой злосчастной собаки — ты, наверно, считаешь меня свиньей, что я до сих пор не ответила, но понимаешь, твое письмо по ошибке попало в *огромнейшую* пачку писем от поклонников. (Это целая проблема. Никогда не знаешь, бросать их или нет. Один вид их сильно поднимает настроение, хотя для характера это, наверно, не очень-то полезно. О том, чтобы все это читать, нечего и думать. Мой секретарь просто сортирует их на кретинов за, кретинов против, психов, профессионалов, интеллигентов, духовных лиц и предложения руки и сердца!) Признаюсь, тон твоего письма меня чуть-чуть обидел, но потом я сообразила, что, конечно, это писал не ты. (Или все-таки ты?)

Да, так насчет собаки. Дело в том, что сейчас С. и я так заняты, что нам просто некогда возиться с этим зверем. (Ты не представляешь, какая морока ставить фильмы с животными. На съемки проникают какие-то невозможные типы в толстых пиджаках, а потом — трах! — Лига защиты бессловесных друзей подсылает шпионок, переодетых ассистентками.)

С. считает, что проще всего будет тебе оставить его у себя. То есть, конечно, в том смысле, что ты его купишь. (Прости, что пишу как делец, но деньги на дороге не валяются, а жизнь или видимость жизни страшно дорога, да еще эти типы с подоходным налогом только и думают, как бы тебя обобрать. А в общем, ты же знаешь, собака не моя, а С., я просто пишу от его имени.) 700 фунтов — и мы квиты. Эта сумма покрывает права кино, права издателей, права рекламы и пр. (Ты не представляешь, сколько в этом деле разных прав. Что там „Права собаки“!) Конечно, цена очень низкая, но С, тоже купил его по дешевке, и мы хотим только оправдать расходы. Если вздумаешь купить — свяжись с моим поверенным, прилагаю его карточку, если не забыла. Если покупать не будешь — опять-таки свяжись с ним и договорись о том, как вернуть собаку. Прости, что не занимаюсь этим сама: я *безумно* занята, готовлюсь к поездке в Штаты. Кстати, если ты решишь его купить, не забудь о рекламе. Прилагаю (тоже если не забыла) пись-

мо от фирмы, которая продает собачьи галеты (фамилию не помню). Им нужно разрешение печатать фото или что-то там еще. Сколько бы они ни предложили, проси вдвое больше.

Прости за каракули. Хорошо было повидаться. Встретимся опять, когда все утрясется. Хотя когда это будет, одному богу ведомо. Может быть, через год — через два. Память у меня крепкая и нежная.

Всегда твоя

Сэди.

P.S. У С., оказывается, есть твоя рукопись, перепечатанная на машинке, ему дала ее какая-то женщина. Я велю ему, пусть передаст ее моему поверенному, чтобы ты мог ее взять, когда зайдешь насчет собаки».

Это письмо привело меня в полный восторг. Не знаю, что в нем восхитило меня больше — доброта или хитрость. Сэди, несомненно, считала меня способным по глупости купить Марса, она, вероятно, не была уверена, известна ли мне тай-

на его возраста, она не надеялась найти лучшего покупателя в своем ближайшем, хорошо осведомленном кругу, она запросила максимальную сумму, какую я, по ее расчетам, смогу или захочу выложить, и тут же поспешила указать мне способ, как возместить расходы; а последний абзац явно шел от сердца, или как бы там ни назывался тот прохладный, но чувствительный орган, который служил Сэди вместо оного.

Я прочел приложенные документы. Карточка поверенного Сэди — я сунул ее в карман. Письмо от фирмы собачьих галет — я просмотрел его и разорвал. «Кончилась твоя общественная карьера!» — сказал я Марсу. Из кармана пиджака я извлек пачку денег, которые взял в сейфе Хьюго. Я стал их считать. Миссис Тинкхем наблюдала за мной с интересом, но ничего не спросила. В пачке оказалось ровно сто фунтов. Я опять связал их и положил в карман.

— У вас есть почтовая бумага и конверты? — спросил я миссис Тинкхем.

Она передала мне папку через прилавок.

— Денег не нужно, — сказала она. — Мне их все равно никогда не продать.

Конверты совсем пожелтели от пыли и времени. На внутренней стороне папки я произвел

короткий подсчет. Мой выигрыш от Птицы Лиры составлял шестьсот фунтов. Это, да еще сто фунтов Хьюго, да то, что лежит у меня в банке, — итого примерно 760 фунтов. Некоторое время я смотрел на эту цифру, скорее печально, нежели с сомнением. Разумеется, Марса нужно купить. Тут нечего было и колебаться и даже искать причины. Не сделать этого значило показать себя тряпкой и негодяем. Не пришло мне в голову и просить Сэди о скидке. Формально ситуация не оставляла мне никакого выбора. Надо платить, без споров и комментариев. Сейчас не время торговаться с судьбой. Одну только роскошь я себе позволю, когда деловая сторона будет улажена, — пошлю Сэди коротенькую записку, и уж тут она не станет сочинять, будто записка по ошибке попала в почту от поклонников. Подумав это, я понял, что до конца не разделался с Сэди. Мы еще встретимся. Но это дело будущего. Будущее, на мгновение оно распахнулось передо мной — край холмов и далеких просторов; и я закрыл глаза. Сэди не пропадет. Единственное, что может помочь женщине не пропасть, — это ум. Сэди умна. Хьюго был прав.

Я выписал чек. Получалось, что денег у меня остается примерно столько же, сколько было,

когда я съехал с Эрлс-Корт-роуд в начале этой повести. Я тихонько вздохнул, и на какой-то миг призрачные богатства, которые чуть не попали мне в руки, вихрем закружились вокруг меня, точно слепящая метель из пятифунтовых бумажек. Но метель улеглась, и я уже знал, что не испытываю особых сожалений. Как рыба, спокойно плавающая в глубине, я ощущал со всех сторон надежное давление собственной жизни — рваной, бесславной и, судя по всему, бесцельной, но моей. Я дописал письмо поверенному Сэди, прося его переслать мне рукопись на адрес миссис Тинкхем. Под этот материал я в любую минуту могу достать денег. А больше я переводить не буду. Я стал развязывать пакет со своими рукописями.

Я разложил их на столе, и руки у меня дрожали, как у спирита. Я стал проглядывать их, удивляясь своим писаниям. Была там поэма, кусок романа, несколько занятных рассказов. Мне показалось, что я написал их очень давно. Вещи были слабые, я это видел. Но я видел также, как бы сквозь них, возможность написать лучше, и эта возможность явилась ко мне как сила, которая придавила меня так низко и вознесла так высоко, как я раньше и вообразить не мог. Я достал «Молчальника»,

принадлежавшего Хьюго, и вид его меня порадовал. Это тоже было только началом. Был первый день творенья. Я был полон той силы, что лучше счастья, лучше безвольного желания счастья, которое женщина может вызвать в мужчине, чтобы отравить его медленным ядом. Было утро первого дня.

Я потянулся и зевнул, и Марс тоже потянулся, весь, от головы до хвоста. Я раскрыл объятия и улыбнулся миссис Тинкхем. Сквозь дым она улыбнулась мне в ответ, как чеширская кошка. Но пока я блаженно потягивался, пытаясь обнять весь мир, в голове у меня звучало странное бормотанье, словно кто-то, кого я знал, тихо шепчет мне на ухо, словно кто-то, кого я любил, пытается доверить мне тайну; и я замер, прислушиваясь.

— По радио выступает ваша знакомая, — сказала миссис Тинкхем.

— Кто?

— Фамилия Квентин. — Она протянула мне «Радио таймс» и, пока я неловко листал страницы, вдруг включила приемник на полную мощность.

Как морская волна, меня окатил голос Анны. Она пела старинную французскую любовную песню. Слова летели медленно, позолоченные ее выговором. Они медленно переворачивались в

воздухе и падали; и великолепие матового золота заполнило лавчонку, обратив кошек в леопардов, а миссис Тинкхем — в престарелую Цирцею. Я сидел замерев, глядя в глаза миссис Тинк, а она склонилась над прилавком, и ее рука застыла на регуляторе. Давно-давно я не слышал, как Анна поет, а теперь я слушал ее и видел, видел седую прядку в короне ее волос. Песня кончилась.

— Довольно! — сказал я, потому что слушать дальше у меня не было сил.

В лавке внезапно наступила тишина. Миссис Тинкхем выключила радио, и впервые с тех пор, как я здесь бывал, я услышал дыхание кошек.

В тревоге я листал «Радио Таймс», пока не нашел нужное место: «Анна Квентин выступает в „Club des Foux“ в Париже в первой из десяти передач в серии, озаглавленной „Qu'est-ce que la chanson?“[20]» Я улыбнулся, и улыбка, как солнце, пронизала все мое существо.

— Вот видите, — сказала миссис Тинкхем.

— Вижу, — сказал я, недоумевая, о чем она думает. Мы поглядели друг на друга.

— Знаете что, миссис Тинк?

— Что?

---

[20] Примечания: 20
«Что такое песня?» *(франц.).*

— Я решил поступить на работу.

Я не ожидал, что она удивится, и она не удивилась.

— А что вы умеете делать? — спросила миссис Тинкхем.

— Найду работу на полдня в какой-нибудь больнице. Это я умею. — Я по натуре консервативен. — Но сперва мне нужно подыскать себе жилье.

— А вы посмотрите на доске за дверью, — сказала миссис Тинкхем. — Там, кажется, было объявление насчет комнаты, я что-то не помню.

Я встал и вышел за дверь. Марс побрел за мной следом и остановился, привалившись к моим ногам и высматривая нормальных кошек, таких, чтобы двигались и чтобы за ними можно было погнаться. Я стал изучать доску. Она была заполнена более и менее скверно написанными открытками — их прикалывали здесь на неделю за небольшую плату. Среди них выделялась одна поаккуратнее других — сдавалась комната на первом этаже близ Хэмстед-Хит, *без мелочных ограничений*. Очевидно, это относилось к женщинам; я понадеялся, что удастся распространить льготу и на собак.

— Кто это вывесил? — спросил я у миссис Тинк-

хем.

— Чудной такой мужчина, я его толком и не знаю.

— А какой он с виду?

— Довольно высокого роста.

Я понял: чтобы выяснить, чем он чудной, мне придется побывать в Хэмстеде.

— Но вы ничего против него не имеете?

— Решительно ничего, — сказала миссис Тинкхем. — Вы бы съездили, посмотрели комнату.

— Съезжу сегодня же.

— Если негде будет спать, возвращайтесь, можете переночевать здесь.

Это была из ряда вон выходящая милость.

— Спасибо, миссис Тинкхем, — сказал я, — но где же мне здесь спать?

— Я вам постелю за прилавком, а Мэгги с котятами возьму в заднюю комнату.

— Как поживает Мэгги с котятами? — вежливо осведомился я.

— А вот, полюбуйтесь.

Сознавая, что ступаю по священной земле, я зашел за прилавок. В углу, у ног миссис Тинкхем, лежала в большой картонке Мэгги, четыре котенка, свернувшись, прильнули к ее полосатому брюху. Мэгги помаргивала, зевала и отворачива-

лась, а котята тыкались в ее шерсть. Я поглядел, пригляделся поближе, и у меня вырвалось удивленное восклицание.

— Да, вот видите ли, — сказала миссис Тинкхем.

Я опустился на колени и стал вынимать котят одного за другим. Они были круглые, как шарики, и еле слышно попискивали. Один был пестрый, другой почти белый, а два — явно сиамские. Я внимательно разглядывал их окраску, и загнутые хвосты, и злые, косящие синие глаза. Мне уже казалось, что они и пищат громче остальных.

— Значит, Мэгги наконец решилась! — сказал я. Марс просунул голову под мою руку и снисходительно обнюхивал малышей. Я положил их обратно в картонку.

— Не могу взять в толк, — сказала миссис Тинкхем, — почему эти два совсем сиамские, а два других нисколечко. Вот если бы все были наполовину сиамские…

— Ну, это просто, — сказал я. — Так всегда бывает.

— Почему?

— Да понимаете, все дело в том… — Я осекся. Я понятия не имел, в чем тут дело. Я рассмеялся, и миссис Тинкхем рассмеялась.

— Не знаю, почему это так, — сказал я. — Просто это одно из чудес нашей жизни.

1954